

ВСЁ И ВСЯ  
ВТОРАЯ СЕРИЯ

ГЕОРГИЙ  
ГЮРДЖИЕВ

ВСТРЕЧИ  
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ  
ЛЮДЬМИ

РИПОЛ КЛАССИК

## Annotation

«Встречи с замечательными людьми» – это вторая часть трилогии «Всё и Вся» и первое полное издание оригинального текста знаменитой книги. Наконец она вернулась к читателю на русском языке, на котором была первоначально написана.

В начальных главах Гюрджиев рассказывает о детстве, проведенном на Кавказе, о своем отце и первых учителях, о годах учебы и личного формирования. Следующие главы описывают его путешествия в Центральной Азии, Гималаях, Тибете и других странах Знания.

Если в первой книге серии «Рассказы Вельзевула своему внуку» Гюрджиев приглашает нас на поиски приключений внутри себя, то во второй книге поиск приводит к дальним дорогам, побережьям и пустыням. Но чем больше читатель погружается в чтение, тем больше ему становится понятно, что это одни и те же приключения, единственная цель которых есть поиск сознания.

- 
- [Георгий Гюрджиев](#)
    - 
    - [Примечание к изданию](#)
    - [Вступление для второй серии](#)
    - [Мой отец](#)
    - [Мой первый наставник](#)
    - [Богачевский](#)
    - [Мистер Х., или капитан Погосьян](#)
    - [Абрам Елов](#)
    - [Князь Юрий Любовецкий](#)
    - [Эким Бей](#)
    - [Петр Карпенко](#)
    - [Профессор Скрыдлов](#)
    - [Материальный вопрос](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

# **Георгий Гюрджиев**

## **Встречи с замечательными людьми**

© Triangle Editions, Inc., New York, 2015

© Издание. Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,  
2015

\* \* \*

## Примечание к изданию

Дело Гюрджиева многогранно, но, к какой бы форме он ни обращался, его слово всегда звучит как призыв.

Он призывает, потому что он страдает от внутреннего хаоса, в котором мы живем. Он призывает, чтобы открыть нам глаза. Он ставит нас перед вопросами: почему мы здесь? чего мы хотим? каким силам мы подчиняемся? Но прежде всего, он спрашивает нас, понимаем ли мы, кто мы есть. Он предлагает нам все поставить под вопрос. И так как он настаивает и его настойчивость вынуждает нас ответить, между ним и нами устанавливается связь, которая составляет неотъемлемую часть его дела.

На протяжении почти сорока лет этот призыв звучал с такой силой, что со всех континентов люди приходили к нему.

Конечно же фигуру Гюрджиева невозможно отделить от влияния, которое он оказывал на окружающих его людей. Поэтому совершенно оправданным является желание узнать, какова была его жизнь, по крайней мере в основных чертах.

Эта книга не является автобиографией в прямом смысле слова. Когда Гюрджиев говорит о себе, он делает это только в той мере, в которой это соответствует его истинному замыслу. Для него к прошлому стоит обращаться, только если оно может служить нам «примером». Рассказывая о своих приключениях, он дает нам не образцы для внешнего подражания, а способ быть в жизни, который проникает в нас и позволяет нам ощутить действительность другого порядка.

По возвращении из многолетних путешествий Гюрджиев работает без усталости, чтобы собрать вокруг себя людей, готовых разделить с ним жизнь, всецело направленную на развитие сознания. Он излагает им свои идеи, вдохновляет и поддерживает их поиски и ведет их к осознанию того, что опыт только тогда является целостным, когда он охватывает одновременно все аспекты человеческого бытия. В этом заключается его идея «гармонического развития человека». Эту идею он хотел положить в основу своего «Института», открыть который он пытался на протяжении многих лет в разных странах. Чтобы достичь этой цели, Гюрджиеву пришлось вести ожесточенную борьбу с трудностями, связанными с войной, революцией, эмиграцией, безразличием одних и враждебностью

других.

«Встречи с замечательными людьми» дают читателю представление об этой борьбе и о неисчерпаемой изобретательности автора, которая помогла ему выстоять.

Эта книга показывает, что жизнь учителя и все его поведение подчинены выполнению его миссии.

\* \* \*

«Встречи с замечательными людьми» были написаны на русском, но впервые опубликованы на французском языке, так как последние двадцать семь лет своей жизни Георгий Иванович Гюрджиев провел главным образом во Франции.

От этого периода до нас дошли различные версии рукописи.

Данное издание впервые берет за основу оригинальную версию текста. Это подразумевает, что все предыдущие издания на русском языке были, к сожалению, неправомерными переводами с английского или с французского.

Эта рукопись является уникальным материалом, который дошел до нас в своей оригинальной форме. Язык Гюрджиева очень самобытен; многие выражения и географические названия в тексте принадлежат эпохе двадцатых-тридцатых годов XX века, когда была написана книга.

Только глава «Материальный вопрос» доставила некоторые трудности. В нашем распоряжении была ее ранняя версия, отличная от тех источников, что легли в основу французского и английского переводов, в свою очередь различающихся между собой. Редакторам текста пришлось восполнить пробелы, переведя недостающие части с этих двух языков.

## Вступление для второй серии

Вчера истек ровно месяц, после того как я кончил последнюю главу первой серии моих писаний; именно истек тот срок течения времени, который я в последней главе первой серии<sup>[1]</sup> обещал посвятить исключительно только целям отдыха подвластных и зависящих от моего «чистого-разума» частей моего общего наличия, и во время которого я дал себе слово решительно ничего не писать, а только для ублажения этой одной из сказанных подвластных частей моего общего наличия, особенно заслужившей, «потихонечко-и-полегонечко» допивать уцелевший в старинном, находящемся волей судеб в данный момент в моем распоряжении, особым образом устроенном людьми позапрошлого века, именно людьми понявшими настоящий смысл жизни, «винном-погребце» в Приорэ старый кальвадос.

Сегодня я решил и теперь хочу, причем без самопринуждения, а наоборот, с большим удовольствием продолжать писать, конечно опять-таки с помощью всяких соответствующих сил, а также на этот раз с помощью со всех сторон притекающих к моей особе закономерных космических результатов, возникших от добрых пожеланий разных читателей всего написанного мною в книгах первой серии.

Я теперь начну тоже придавать общедоступно-понятную форму всему мною уже написанному для второй серии, на чем главным образом и зиждутся мои упования в том, что эти идеи должны явиться, как я выразился тогда, «подготовительным-строительным-материалом» для воздвижения в сознании мне подобных творений нового мира, по-моему действительного, или по крайней мере могущего быть воспринятым без импульса какого бы то ни было сомнения человеческим мышлением всякой «темности» как таковой, а не того иллюзорного мира, каковой имеется по моему мнению в представлениях современных людей; да и не только по моему мнению, но и по мнению всякого более или менее нормально мыслящего человека, если только он, имея возможность хоть немного изолироваться от воздействия установившихся ненормальных условий нашей обычной жизни, подумает об этом.

И действительно, в мышлении современных людей почти всех степеней интеллектуальности для проосознания мира имеются только такие данные, которые, в момент случайно или намеренно вызванного их действия, в общем наличии человека осуществляют исключительно только

разные фантастические импульсы, которые, постоянно способствуя автоматическому изменению в людях, так сказать, «темпов» для всяких должествующих происходят ассоциаций, как порожденных благоприобретенными данными, так и самой природой слагаемых, постепенно до такой степени дисгармонируют происходящую в них общую функционизацию, что благодаря всему этому и осуществляются в процессе нашей обычной жизни такие печальные результаты, от которых каждому мыслящему человеку при серьезном задумывании над ними, конечно в условиях упомянутой изолированности, нельзя не прийти в ужас, как например, в частности над фактом сокращения с каждым десятилетием нашей жизни.

Прежде всего для, так сказать, «размаха-мысли» или для установления соответствующего «ритма» как моего, так и вашего мышления, я хочу, немного имитируя, как это часто делал Великий Вельзевул, род мышления и даже самые выражения высоко почитаемого Им и мною, – а может быть уже и вами, храбрый читатель моих писаний, если, конечно, вы имели смелость до конца прочесть все книги первой серии, – нашего всеобщего дорогого Молла Наср-Эддина, возбудить самым началом своего этого писания такую тему, которая может послужить основанием для возникновения какого-либо нового, как он же, наш мудрый учитель, сказал бы, «тонко-философского-вопроса».

Я с самого начала уже хочу поступать так, потому что мудростью этого, теперь уже почти всеми признанного мудреца, за которым вскоре кем следует, есть уже слух, будет официально утвержден титул «Вселенский-Уникум», я намереваюсь широко пользоваться как и для этой, так и для последней серии предрешенных мною изложений.

Такою темой, могущей в будущем породить небывалый, как я выразился, «тонко-философский-вопрос», может например быть хотя бы разрешение того недоумения, которое неизбежно должно возникать в сознании каждого при чтении первых же листов этой главы, от логического сопоставления, с одной стороны, результатов данных, слагавшихся в читателях для определенного убеждения, относительно разных так называемых «медицинских-понятий», а с другой стороны, впечатления должествующего получиться от того факта что я, именно я, автор книги «Рассказы-Вельзевула-своему-внуку», при не вполне еще восстановившейся функционизации моего организма после несчастья, которое чуть не стоило мне жизни, – вследствие постоянного активного мышления в целях изложения своих мыслей в хотя бы только относительно возможно-точной передаче их другим, а следовательно непрерывного

расходования только на мозговую функционизацию, обычно аккумулируемой в общем наличии человека вообще от разных свойственных ему восприятий, энергии, – осуществил за это время свой отдых вполне удовлетворительно, благодаря главным образом употреблению в непомерном количестве алкоголя как в виде упомянутого старого кальвадоса, так и в виде разных других его прелестных, «полно-сил-мужественных-кузенов».

Безапелляционно-верный и исчерпывающий ответ на такой экспромтом поставленный «тонко-философский-вопрос» должен быть еще обусловлен вынесением мне справедливого приговора в моей личной виновности в смысле неточного выполнения взятого на себя тогда обязательства – допить весь оставшийся упомянутый старый кальвадос.

Дело в том, что в течение этого предназначенного для моего отдыха времени я, при всем моем автоматическом желании, не мог ограничиться только теми пятнадцатью бутылками старого Кальвадоса, о которых я упоминал в последней главе первой серии, а мне пришлось велелепную содержимость этих бутылок «комбинировать» с содержимостью других двухсот, тоже одной своей уже внешностью, так сказать, «очаровывающих», бутылок не менее велелепной жидкости под наименованием «старый-арманьяк» таким образом, чтобы вся эта совокупность, именно совокупность космических веществ, являющаяся для некоторых индивидуумов особенно священной, могла хватить как лично для меня, так и на всю «братию», сделавшуюся за последние годы моими неизбежными ассистентами, главным образом в таких моих «священнодействиях».

При вынесении мне такого приговора о моей личной виновности должно быть принято во внимание и то, что с первого же дня я изменил мое обыкновение пить арманьяк так называемыми «ликерными-рюмками», а стал его пить так называемыми «чайными-стаканами».

А это так я начал делать, мне кажется, инстинктивно вследствие того, очевидно, чтобы и в данном случае могла восторжествовать справедливость.

Не знаю как у вас, храбрый читатель, но «темпность» моего мышления уже установилась и я могу теперь, не насилуя себя, опять начать «мудрствовать» во всю.

Ввиду того что я намерен в этой второй серии между прочим провести и разъяснить семь изречений, дошедших до наших дней от очень древних времен через разные памятники, на которые мне пришлось во время моих путешествий случайно наткнуться и их расшифровать, в каких изречениях

нашими далекими предками формулирован смысл некоторых рельефно осязаемых аспектов объективной правды, именно таких аспектов, которые по-моему приемлемы даже современным человеческим разумением, я и начну с одного такого изречения, именно того, которое, кроме того что может хорошо послужить соответствующим фундаментом для начала предполагаемых мною последующих изложений, также явится, так сказать, «связывающим-звеном» настоящего начала с последней главой первой серии.

Это выбранное мною для начала второй серии моих писаний древнее изречение формулировано так:

«Тот только заслуживает наименования „Человек“ и может рассчитывать на что-либо свыше для него уготовленное, кто уже приобрел соответствующие данные для мочи сохранения в целости, доверенных его призору, волка и овцу».

Произведенный некоторыми современными учеными людьми, конечно не из числа водящихся на материке Европа, так называемый «психо-ассоциативно-филологический-анализ» этого формулированного нашими предками давно минувших времен изречения определенно показал, что под словом «волк» аллегорически подразумевается совокупность всей, как основной так и рефлекторной, функционизации человеческого организма, а под словом «овца» – совокупность всей функционизации чувствования, а что касается функционизации мышления человека, то согласно этому изречению она и представляется самим тем человеком, который в процессе своей ответственной жизни приобретал, благодаря своим сознательным трудам и намеренным страданиям, в своем общем наличии соответствующие данные для упомянутой мочи всегда создавать условия возможного совместного существования этих двух разноприродных и чуждых друг другу индивидуальных жизней, и через это мог рассчитывать и может быть сподобиться сделаться вместе с ними обладателем некоторых, в этом изречении упомянутых, уготовлений свыше, предназначенных вообще для человека.

Интересно отметить, что и в числе множества имеющих и автоматически употребляемых разными азиатскими племенами «поговорок» и так называемых «находчивых-разрешений-хитро-умных-задач» имеется одна, в которой играют роль тоже волк и коза, вместо овцы, которая по моему мнению очень отвечает сути этого самого изречения.

Дилемма этой «хитроумной-загадки» состоит в том, чтобы сообразить и найти разрешение, каким образом человек, в распоряжении которого находятся волк и коза, на этот раз и капуста, принимая во внимание, что без

его непосредственного наблюдения и влияния волк всегда может уничтожить козу, а коза – капусту, может перевезти их через реку с одного берега на другой при том условии, что имеющаяся у него лодка выдерживает нагрузку только его самого и одного какого-либо из трех перечисленных объектов.

А правильное разрешение этой народной загадки ясно показывает, что человек может достигнуть и этого благодаря не только своей, должествующей имется в нормальном человеке сообразительности, но что он и в данном случае должен не лениться и не жалеть своих сил, и для достижения своей цели лишней раз переправиться через реку.

Исходя из вложенного в приведенном древнем изречении смысла и беря во внимание суть правильного разрешения только что разъясненной народной загадки, если продумать это все без всяких их предвзятостей, всегда вытекающих от результатов обычного для современного человека, так сказать, «пустомыслия», то невозможно умом не согласиться и чувством не признать, что всякий именующий себя человеком должен, никогда не ленясь и придумывая постоянно всякие, так сказать, «компромиссы», бороться со своими им самим признаваемыми слабостями, чтобы достигать поставленной себе цели, сохраняя в целостности доверенных призору его разумности этих двух совершенно противоположных по своей сущности самостоятельных животных.

Кончив вчера вечером это свое, как я назвал, «мудрствование-для-размаха-мысли», сегодня утром, когда, взяв с собой конспективно написанную мною еще в первый год моей писательской деятельности рукопись, из которой я намеревался почерпнуть материал для продолжения начала этой второй серии, я пошел в парк с целью, сидя под деревьями исторической аллеи, работать дальше, я после прочтения первых же двух-трех листов, забыв все окружающее, очень глубоко задумался над тем, как продолжать дальше, и с мыслями, вызвавшими эту мою глубокую задумчивость, просидел там, не написав ни одного слова до самого позднего вечера.

Я был так углублен в эти мои мысли, что ни разу не заметил, как младшая из моих племянниц, в обязанность которой входило следить за тем, чтобы мною обычно употребляемый, особенно при всякой активной как мыслительной, так и физической работе, «аравийский-кофе» не совсем остывал в чашке, меняла его, как я узнал об этом позже, двадцать три раза.

Для того, чтобы вы могли представить себе всю серьезность причин моей такой углубленной задумчивости и понять хотя бы приблизительно

трудность создавшегося положения в моем писании, надо сказать, что по прочтении сказанных листов, когда по ассоциации в моей памяти восстановилось все содержание этой рукописи, которую я предполагал использовать для вступления к этой второй серии, мне стало совершенно ясно, что все то, над чем в течение многих бессонных ночей я, как говорится, «кряхтел», теперь, после сделанных мною дополнений и изменений в окончательной редакции книг первой серии, уже совершенно не годится.

Поняв это и испытывая около получаса состояние, которое Молла Наср-Эддин определяет словами: «чувствовать-свое-полное-до-волос-включительно-сидение-в-галоше», я сначала готов был примириться и решил составить вновь всю эту главу. Но после, когда, продолжая автоматически вспоминать всякие отдельные фразы из моей рукописи, в моей памяти между прочим воскресло то место, где – в целях объяснения, почему я с первой же главы моих писаний с беспощадной критикой отнесся к современной литературе, – приводилась речь одного пожилого персидского интеллигента, слышанная мною еще в моей ранней юности, которая по моему мнению как нельзя лучше характеризовала настоящее значение современной цивилизации, я счел невозможным лишить читателя как по этому поводу высказанных, так и вообще всяких других, так сказать, «мастерски-зарытых» мыслей в этой форме моего прежнего изложения, именно таких мыслей, которые для всякого читателя могущего расшифровать их, могут явиться в высшей степени ценным материалом для правильного понимания мною предрешированного к разъяснению в обоих последующих сериях, и сделаю их доступным достоянием всякого «ищущего-истину» человека, еще не совсем потерявшего способность здраво мыслить.

Вот это самое соображение и принудило меня всячески обдумывать, как именно сделать так, чтобы, не лишая читателя всего этого, в то же самое время употребленная мною раньше форма изложения могла соответствовать требуемой теперь форме изложения, после сделанных, как я сказал, больших изменений в книгах первой серии.

Такая резкая разница между изложенным мною тогда и требующимся теперь написать получилась оттого, что в начале этой моей вынужденной новой профессии, в течение почти двух лет, я все писал в первой редакции, т. е. когда я писал все как конспект могущий быть понятным мне только лично, с таким расчетом, чтобы весь предрешированный мною к распространению материал изложить в тридцати шести книгах и каждую книгу посвящать какому-нибудь одному специальному вопросу.

На третьем же году, когда я всему мною конспективно набросанному начал придавать уже такую форму изложения, которая была бы понятна другим, хотя бы пока что специально приучившимся к, так сказать, «отвлеченному-мышлению», то я – вследствие того, что у меня за это время увеличился навык в смысле умения, во-первых, скрывать серьезные мысли в завлекательной, легко воспринимаемой внешней форме, а во-вторых, делать всякие мысли, мною именуемые «только-с-течением-времени-ощутимые», вытекающими от других обычных, свойственных мышлению большинства современных людей, – с этих пор и изменил бывший до этого у меня принцип добиваться осуществления поставленной себе в писании цели «количественностью», на принцип достигать того же «качественностью-писаемого»; и все это конспективно набросанное начал излагать уже с расчетом распределить его в трех сериях, с таким намерением, чтобы уже по окончании подразделить каждую на несколько соответствующих томов.

Я так глубоко в этот день задумался может быть еще и потому, что в моей памяти было свежо написанное накануне мудрое изречение, советующее всегда стремиться к тому, чтобы «и-волк-был-сыт-и-овцы-цель».

В конце концов, когда начало вечереть и снизу знаменитая фонтенебловская сырость начала через посредство моих «английских-душ» воздействовать на мое мышление, а сверху разные миленькие Божьи творения, именующиеся «маленькие-птички», стали чаще на моем совершенно «гладком» черепе вызывать «охлаждающее-ощущение», в моем общем наличии возникло смелое решение не считаться ни с кем и ни с чем, а просто нравящиеся лично мне отрывки из этой рукописи, предназначавшейся прежде как вступление к одной из тридцати шести книг, приложить теперь – только немного, как говорится, отшлифовав, – к этой первой главе второй серии, вроде, как бы сказали настоящие патентованные писатели, «побочных-мыслей», и потом только, уже строго придерживаясь предрешенному мною в писании этой серии принципу, продолжать дальше.

Сделать это так будет как для меня, так и для читателя тем более хорошо, что меня это избавит от излишнего нового напряжения и без того уже переутомленных мозгов, а читатели, особенно уже прочитавшие все до этого мною написанное, благодаря введению этих «побочных-мыслей», будут иметь ясное представление между прочим и о том, какое именно объективно-беспристрастное мнение слагают на психику некоторых людей, случайно относительно правильно воспитавшихся, всякие результаты

проявления людей из числа массы составляющих теперешнюю цивилизацию.

Это вступление, предназначавшееся к тринадцатой книге, тогда мною было озаглавлено: «Почему-я-сделался-писателем», и я, объясняя в нем относительно накопившихся во мне за период моей предшествовавшей жизни впечатлений, на которых базируется мое теперешнее, не очень любезное мнение относительно представителей современной литературы, между прочим и приводил упомянутую речь, слышанную мною, как я уже сказал, еще давно, в моей молодости, когда я в первый раз был в Персии и случайно попал на собрание персидской интеллигенции, где говорилось о современной цивилизации.

Много говорил тогда мною упомянутый пожилой персидский интеллигент – интеллигент не в европейском смысле этого слова, а в том смысле, как это понимается на материке Азия, т. е. не только по образованию, но и по бытию.

Он был очень образован и, в частности, хорошо знаком с, так сказать, «европейской-культурой».

Он тогда между прочим сказал еще и так:

– Очень жаль, что период культуры нашей современности, который нами именуется и будет именоваться конечно также и людьми последующих поколений «европейской-цивилизацией», является для усовершенствования вообще человечества, так сказать, «интервальным», т. е. в цельном процессе развития человечества – пустым, пропащим, потому что люди этой нашей цивилизации, в смысле развития ума, этого главного двигателя усовершенствования, не смогут передать по наследству своему потомству ничего хорошего.

Например, одним из главных средств для развития ума человека является литература.

А что может дать литература современной цивилизации? Решительно ничего, кроме, так сказать, «развития-словоблудия».

Основной причиной такой именно несуразности в современной литературе, по-моему, является то, что главное внимание в современном писательстве постепенно само по себе сосредоточилось не на качестве мысли и точности передачи ее, а только на стремлении к, так сказать, «внешнему-лоску» или, как иначе говорится, «к-красоте-слога», благодаря чему в конце концов и получилось, как я назвал, «словоблудие».

Действительно, другой раз читаешь целый день длиннейшую книгу и не знаешь, что написавший ее хочет сказать, и только когда кончишь, потратив столько своего, и без того недостаточного для выполнения

необходимых житейских обязанностей времени, видишь, что эта вся его, как говорится, «музыка» строилась на совсем маленькой, почти ничтожной идее.

Вся современная литература по своему содержанию подразделяется на три категории писаний: первая охватывает так называемую научную область, вторая состоит из «повествований», и третья – из так называемых «описаний».

В научных книгах пишутся длинные сочинения, содержание которых обычно состоит из собрания разных старых, давно всем известных гипотез, только иначе комбинированных и приводимых в объяснение других положений.

В «повествованиях» или, как иначе говорят, «романах», которым уделяются также целые тома, по большей части описывается во всех деталях, как некий Иван Иванович или Марья Ивановна достигли удовлетворения своей «любви», именно того – постепенно переродившегося в людях благодаря их слабости и безволию, а у современного человека уже окончательно превратившегося в порок, – священного чувства, возможность естественной проявляемости которого нам дана Нашим Творцом в целях спасения души и моральной взаимной поддержки для более или менее счастливой нашей совместной жизни.

Третья категория книг современной литературы представляет собою описания путешествий, приключений, природы и животных самых разнообразных стран. Такого рода описания делают людьми, никогда нигде не бывавшими и ничего в действительности не видавшими, людьми, как говорится, «не-выходящими-из-своих-кабинетов». Они, с очень малым исключением, просто фантазируют или переписывают разные отрывки из книг, написанных такими же, как они сами, до них жившими фантазерами.

При таком своем убогом понимании ответственности и достоинств литературных произведений современные представители ее в своем все большем и большем стремлении к упомянутой внешней, ими называемой «красоте-слога» иногда свое фантазерство выражают – для получения, по их мнению, еще и «красоты-созвучия» – в форме стиха и тем еще более уничтожают и без того уже слабый смысл всего ими написанного.

Как это ни странно покажется вам, но, по моему мнению, свою большую долю вреда в современную литературу вносит имеющаяся у всякой народности, входящей в число членов, так сказать, «общего-вредофонического-концерта» современной цивилизации, своя собственная так называемая «грамматика».

Таковые грамматики в большинстве случаев составлены искусственно

и продолжают видоизменяться главным образом такими людьми из числа этих народностей, которые в смысле понимания действительной жизни и вытекающего из нее для взаимного сношения людей разговорного языка являются совершенно, так сказать, «неграмотными».

Относительно такой грамматики вообще всякого разговорного языка надо сказать, что она, как это очень определенно показывает нам древняя история, у всех народностей прошедших эпох всегда складывалась постепенно самой жизнью, согласно большего или меньшего стажа образования данной народности, соответственно климатическим и географическим условиям основного места их жизни и преимущественности формы добывания ими для себя питания.

Особенно грамматика разговорного языка некоторых народностей нашей современной цивилизации настолько искажает точность передачи смысла написанного, что для всякого читателя произведений современных литераторов, особенно для иностранца, утрачивается последняя возможность понимания даже тех маленьких мыслей писавшего, которые при другом изложении, т. е. без применения этой их грамматики, пожалуй, могли бы быть еще поняты.

Чтобы сделать понятнее эту мою последнюю мысль – продолжал говорить тогда этот пожилой персидский интеллигент, – я приведу в пример один факт, имевший место в моей собственной жизни.

Как вам известно, из всех, как говорится, «по-крови» близких мне людей остался в живых только один мой племянник по отцовской линии, который несколько лет тому назад, получив по наследству нефтяные промыслы, находящиеся в окрестностях Баку, принужден был переселиться туда.

Вот поэтому и я с тех пор стал иногда ездить в этот город, так как мой племянник, будучи всегда занят своими многочисленными коммерческими делами, не имеет возможности часто отлучаться и навещать меня, старика, здесь, на месте моей и его родины.

Район, где находятся эти нефтяные промыслы, а также и город Баку, в настоящее время принадлежит русским, представляющим из себя как раз одну из народностей современной цивилизации и тоже дающим в изобилии современную литературу.

Почти все обитатели как самого города Баку, так и его окрестностей состоят из разноплеменных, с русскими ничего общего не имеющих, людей и в своем семейном быту употребляют свои родные разговорные языки, но для внешнего взаимного сношения они принуждены пользоваться этим русским разговорным языком.

Сталкиваясь там во время моих приездов со всевозможными людьми и имея надобность в разговорных сношениях с ними для моих разных личных нужд, я решил изучить и этот разговорный язык.

В жизни мне приходилось изучать много разговорных языков, и я в этом имел уже большой навык, а потому изучение и этого разговорного языка не представило для меня большой трудности, и я, начав изучать его, скоро мог уже говорить на нем совершенно свободно, но конечно, как и все прочие местные жители, с акцентом и, как говорится, «кустарно».

Считаю нужным, как ставший теперь до некоторой степени, так сказать, «лингвистом», отметить, между прочим, что никогда невозможно думать на чужом разговорном языке, даже зная его в совершенстве, если продолжаешь говорить на родном или уже привык думать на другом разговорном языке.

Поэтому и я с самого начала, когда начал говорить по-русски, продолжая думать по-персидски, мысленно подыскивал отвечающие на мои персидские думы слова на русском разговорном языке.

И вот тут-то и обнаружилось разные, вначале совершенно необъяснимые для меня, несуразности этого современного цивилизованного разговорного языка в смысле невозможности иногда точно передавать на нем самые простые и обыденные выражения наших мыслей.

Когда я, заинтересовавшись этим, начал, будучи свободен от всяких житейских обязанностей, изучать раньше их современную грамматику, а позже еще несколько таких же самостоятельных грамматик, имеющих у других народностей современной цивилизации, я и понял, что причина замеченных мною несуразностей кроется как раз в этих их искусственно составленных грамматиках, и тогда-то во мне и сложилось то окончательное убеждение, которое я только что вам высказал, а именно что грамматики разговорных языков, на которых пишется современная литература, выдуманы людьми являющимися, в смысле осведомленности касательно всего истинного, стоящими ниже уровня обыкновенных простых людей.

Из числа множества мною с самого начала замеченных несуразностей этого цивилизованного разговорного языка, для более наглядной иллюстрации мною разъясняемого, укажу хотя бы на ту, которая и послужила первой причиной для дальнейшего моего подробного изучения этого вопроса.

Как-то раз, разговаривая на этом современном русском разговорном языке и по обыкновению при этом переводя свои выражения на персидский

лад мысли, мне понадобилось сказать часто нами, персиянами, употребляемое в разговоре выражение «мяндиарам», что по-французски значит: «je dis», а по-английски: «I say»; и вот, как я ни старался, перебирая в своей памяти, найти в этом русском разговорном языке соответствующее слово, я не мог его подыскать, несмотря на то что я к этому времени уже знал и мог свободно произносить почти все имеющиеся в этом разговорном языке слова, употребляемые как в литературе, так и в обычном сношении между собой людей всех степеней интеллектуальности.

Не находя на этом разговорном языке соответствующего слова для такого простого и часто у нас употребляемого выражения, я, конечно, прежде всего решил, что просто его еще не знаю, а после, когда я стал искать его в имеющихся у меня разных так называемых «диксионерах», а также расспрашивать у других, считавшихся знатоками этого современного цивилизованного разговорного языка, про такое русское слово, отвечающее этой моей персидской мысли, то оказалось, что в нем вовсе его не имеется, а вместо этого употребляется слово, выражающее у нас по-персидски «мян-сойлярам», что по-французски значит: «je parle», а по-английски: «I speak», т. е. «я говорю».

Так как вы, персияне, имеете мышление для, как я это назвал, «переваривания» подразумеваемого смысла всяких слов такое же, как и у меня, то потому теперь я вас и спрашиваю: возможно ли мне или всякому другому персиянину, читающему современную литературу, изложенную на этом разговорном языке, смысл, подразумеваемый под словом «сойлярам», воспринять и без инстинктивного возмущения понять в подразумеваемом смысле слова «диарам»? Конечно нет. «Сойлямак» и «демах», или «parler» и «dire» – два совершенно разные «переживаемые-действия».

Этот приведенный мною сейчас очень маленький пример является очень характерным для тысячи других несуразностей, имеющихся во всех разговорных языках народностей, представляющих собою, так сказать, «цвет-современной-цивилизации» и дающих современную литературу, которая, как я сказал, и должна была бы служить основным средством для развития ума людей как народностей – представителей этой цивилизации, так и людей всех других народностей, которые в данный период почему-либо (очевидно по тем же причинам, которые некоторыми здравомыслящими людьми уже подозреваются) лишаются счастья считаться цивилизованными и благодаря этому, как об этом свидетельствуют исторические данные, стали обыкновенно именоваться «презренными».

Благодаря всяким таким несуразностям разговорных языков, на

которых пишется современная литература, всякий человек, особенно из людей народностей, не входящих в число представителей современной цивилизации, имеющий более или менее нормальное человеческое мышление и, стало быть, умеющий и уже привыкший употреблять слова в настоящем их значении, когда слышит, как в данном случае на этом русском цивилизованном разговорном языке, вместе с другими словами какое-либо в неправильном смысле примененное слово, конечно неизбежно воспримет общую мысль данной фразы, выраженную совокупностью нескольких слов, согласно и в соответствии с этим неправильно примененным словом, и в результате поймет совершенно другое, чем то, что имелось в виду выразить этой фразой.

У людей, принадлежащих к разным народностям, хотя способность схватывания вкладываемого в разные слова смысла различна, но данные для ощущения определенных, уже хорошо установившихся в процессе жизни людей «переживаемых-действий» у всех самой жизнью образуются одинаковые.

Самое отсутствие в этом современном цивилизованном разговорном языке слова, точно выражающего смысл, подразумеваемый под взятым мною для примера персидским словом «диарам», может даже служить подтверждением моего как будто голословного утверждения, что благодаря разным, как я их назвал бы еще, «неграмотным-выскачкам» нашей современности, мнящим себя «грамотеями», а главное считающимися таковыми окружающими, даже самой жизнью выработанный разговорный язык превращен уже, так сказать, в «германский-эрзац».

Надо вам сказать, что начав тогда, для выяснения причин встречающихся во множестве в этом современном цивилизованном разговорном языке несуразностей, изучать грамматики как этого, так и некоторых других современных цивилизованных языков, я в то же время будучи, как уже сказал, совершенно свободным от всяких житейских обязанностей и имея вообще тяготение к филологии, решил также ознакомиться и с историей возникновения и развития этого современного русского языка.

И вот, ознакомление с этой историей и доказало мне, что и в этом «разговорном-языке» прежде имелись на все уже зафиксировавшиеся в процессе жизни людей «переживаемые-действия» точно отвечающие слова, и только когда этот, имеющий уже относительно большой стаж своего возникновения и, следовательно, развития согласно течению времени разговорный язык тоже сделался объектом, как говорится, «для-точки-клювов-ворон», т. е. объектом мудрствования разных, как я их назвал,

«неграмотных-выскачек», то тогда многие слова не только были искажены, но и совсем изъяты из употребления – и лишь потому, что их созвучие не отвечало требованиям ими выдуманной «цивилизованной-грамматики». В числе последних как раз и было также слово, взятое мною для примера, именно слово, точно отвечающее нашему «диарам», которое произносилось тогда «сказываю».

Интересно заметить, что это слово сохранилось и по настоящее время, но употребляется оно, причем в смысле точно отвечающем его значению, только людьми, хотя принадлежащими к этой нации, но случайно изолировавшимися от воздействия современной им цивилизованности, а именно людьми разных так называемых «деревень», находящихся вдали от, как говорится, «культурных-центров».

Эта искусственно выдуманная грамматика разговорных языков народов современной цивилизации, принужденное изучение которой для молодого поколения всюду уже стало неизбежным, по моему мнению послужила одной из основных причин того факта, что у всех людей современных европейских народов из числа трех требующихся для получения здорового человеческого ума самостоятельных данных за последнее время стала развиваться и первенствовать в их индивидуальности исключительно только их так называемая «мысль», а без «чувства» и «инстинкта», как должен знать каждый человек с нормальным мышлением, не может слагаться настоящее, доступное для человека понимание.

Резюмируя все сказанное относительно литературы современной цивилизации, я не нахожу для ее определения более удачного выражения, чем сказать: «в-ней-нет-души».

Современная цивилизация уничтожила душу и в литературе, как и во всем остальном, на что только она ни обратила своего «благосклонного-внимания».

Критикуя с такой беспощадностью один из результатов современной цивилизации, я имею на это тем большее основание, что по историческим непреложным данным, дошедшим до нас из глубокой древности, мы имеем определенные сведения о том, что литература прежних цивилизаций действительно имела в себе очень много такого, что способствовало развитию ума человека, результаты какого развития, переходя из рода в род, сказывались и на отдаленных потомках.

По-моему, иногда самую, так сказать, «квинтэссенцию» всякой мысли можно очень хорошо передавать другому посредством разных жизнью образованных анекдотов и поговорок.

И в данном случае, желая дать короткое определение разницы между литературой прежних цивилизаций и современной, я хочу воспользоваться одним очень распространенным среди нас, персиян, анекдотом, под названием «Разговор-двух-воробьев».

В этом анекдоте рассказывается, что как-то раз на карнизе одного высокого дома сидели два воробья: один старый, другой молодой.

Они, разговаривая между собой по поводу события, сделавшегося среди воробьев злобой дня и получившегося от того, что нечто похожее на остатки каши, недавно брошенное экономкой муллы из окна на место, где собирались для игры воробьи, оказалось нарубленной пробкой, и некоторые из молодых, еще неопытных воробьев, отведавши это, чуть не лопнули.

Беседуя об этом, вдруг старый воробей, весь взъерошившись и с болезненной гримасой, стал искать у себя под крылом причинявших ему боль вшей – вшей, которые на воробьях вообще заводятся главным образом от недоедания, – и, поймав одного, он с глубоким вздохом сказал: «Теперь вообще времена изменились: нет больше житья нашему брату! Бывало, прежде вот сидишь, как и сейчас, где-либо на крыше и спокойно подремливаешь, и вдруг неожиданно раздается на улице шум, треск, грохот, и вскоре после этого распространяется такой запах, от которого все твое нутро начинает ликовать, потому что чувствуешь и вполне уверен, что когда прилетишь и поищешь на местах, на которых все это происходило, найдешь то, что удовлетворит твою насущную потребность.

А теперь, например, шума, треска и всякого грохота хоть отбавляй и также почти каждый момент распространяется запах, но такой запах, который подчас невозможно даже вытерпеть, и когда прилетишь иногда по старой привычке, в моменты затишья, поискать чего-либо существенного для себя, то как ни ищешь и ни напрягаешь своего внимания, кроме тошнотворных капель перегорелого масла решительно ничего не находишь».

В этом рассказе, как вам само собой понятно, имеются в виду прежние извозчики с их лошадьми и теперешние автомобили, которые, хотя и производят, как сказал старый воробей, шум, грохот, треск и запах даже больше прежнего, но от всего этого для питания воробьев нет никакого толка.

А без еды, вы сами понимаете, даже воробьям, конечно, трудно производить здоровое потомство.

По моему мнению, этот анекдот идеально хорошо подходит для освещения моей мысли по поводу сравнения современной цивилизации с

цивилизацией минувших эпох.

И у современной цивилизации в целях усовершенствования вообще человечества также имеется литература, как у прежних цивилизаций, но и в этом, как и во всем остальном современном, нет ничего дельного для такой насущной цели. Все только одна внешность, все только, как в рассказе старого воробья, «шум-треск-и-тошнотворный-запах».

Бесспорным подтверждением такого моего взгляда на современную литературу для каждого беспристрастного человека может являться также и явно констатируемый факт касательно имеющейся разницы в степени развития чувствования у людей, родившихся и проводящих всю свою жизнь на материке Азия, и у людей, родившихся и воспитывающихся в условиях современной цивилизации на материке Европа.

Именно констатируемый очень многими современными людьми факт, что у всех тех современных людей, живущих на материке Азия, которые благодаря географическим и другим условиям изолированы от воздействия современной цивилизации, чувствование стоит на гораздо более высокой степени развития в сравнении с развитием его у всех людей европейских народностей, благодаря чему у сказанных людей азиатских народностей, вследствие того что чувствование вообще является основой здравого смысла, даже при меньшей общей осведомленности, понятие о всяком наблюдаемом ими предмете более правильное, чем у людей даже самого «цимеса» современной цивилизации.

У всякого европейца понимание о наблюдаемом им предмете может происходить исключительно только при всесторонней, так сказать, «математической-осведомленности» о нем, тогда как люди большинства азиатских народностей сущность наблюдаемого ими предмета, так сказать, «схватывают» другой раз только одним своим чувством, а иногда даже только инстинктом.

В этом месте своей речи относительно современной литературы этот персидский пожилой интеллигент между прочим затронул тот именно вопрос, который как раз в настоящее время очень интересует многих из европейских так называемых «просветителей-народов».

Он тогда сказал:

– Азиатские народности одно время были очень заинтересованы европейской литературой, но они, скоро почувствовав всю пустоту ее содержания, постепенно стали переставать интересоваться ею, и в настоящее время почти нигде ими ничего не читается.

В ослаблении их интереса к европейской литературе, по моему мнению, сыграла роль главным образом та отрасль современного

писательства, которая существует под упомянутым наименованием «романы».

Эти пресловутые их «романы» преимущественно состоят, как я уже сказал, из длинейших описаний разных форм протекания одного возникающего в людях заболевания, которое довольно долго продолжается благодаря их слабости и безволию.

Люди азиатских народностей, еще пока не так отдалившиеся от матери-природы, такое возникающее в людях обоого пола психическое состояние находят своим сознанием вообще недостойным для человека и порочным, и особенно унижительным для мужчин, и они своим инстинктом к таким людям относятся презрительно.

А что касается всяких других отраслей европейской литературы, как то: «научной», «описательной» и прочих видов изложений назидательных мыслей, то азиат, как я уже сказал, в меньшей степени утративший способность чувствовать, т. е. стоящий ближе к природе, в таких писаниях полусознательно чувствует и инстинктивно ощущает отсутствие у автора знания действительности и настоящего понимания того предмета, которого он касается в своих писаниях.

Вот все это вместе взятое и явилось причиной, почему азиатские народности, после проявленного ими большого интереса к европейской литературе, постепенно совсем перестали обращать на нее внимание, и у них действительно теперь из этой литературы ничего не имеется, в то время как у европейских народностей в настоящее время в их так называемых складах, частных и публичных библиотеках и в книжных магазинах от ежегодно увеличивающегося числа вновь издаваемых книг, как говорится, «ломаются-полки».

После только что вами услышанного наверное во многих из вас должна возникать мысль: каким образом можно согласовать мною сейчас сказанное с тем фактом, что в настоящее время подавляющее большинство людей азиатских народностей являются неграмотными в настоящем смысле этого слова?

На это я вам отвечу, что все-таки коренная причина отсутствия интереса к современной литературе лежит в ее недостатках. Я сам видел, как сотни неграмотных людей собираются вокруг одного грамотного слушать чтение Священного Писания или сказок, существующих под названием «Тысяча-и-одна-ночь». Вы на это конечно возразите, что события, описываемые особенно во второй из этих книг, взяты из их жизни, и потому они им понятны и интересуют их. Нет, дело не в этом. Эти книги, в особенности вторая, написаны кем-то литературно в полном смысле этого

слова. Всякий читающий или слушающий эту книгу определенно чувствует, что все в ней написанное – фантазия, но фантазия правдоподобная, хотя и составленная из разных необычайных для установившейся жизни людей эпизодов, и у читающего или слушающего возникает интерес, и он, восхищаясь тонким знанием автора психики окружающих его людей всех сословий, с любопытством следит, как он из этих маленьких эпизодов действительной жизни воспроизводит цельное событие.

Требования современной цивилизации породили еще одну, совершенно специфическую форму литературы, так называемую – «газетную» и «журналистическую».

Я не могу обойти молчанием эту новую форму литературы, потому что помимо того, что она в себе также не включает решительно ничего дающего для развития ума, она, на мой взгляд, особенно за последнее время, неожиданно сделалась основным злом в жизни людей, в смысле возникновения почти всего плохого в их взаимоотношениях.

Этот вид современной литературы, за последнее время особенно сильно разросшийся, по моему непоколебимому убеждению стал, благодаря тому что она больше чем что-либо другое отвечает слабостям и требованиям все возрастающего безволия человека, способствовать еще большему атрофированию и последних возможностей для тех данных, кое-как до этого в людях слагавшихся, которые в общем результате еще более или менее давали некоторое осознание своей, так сказать, «собственной-индивидуальности», которая единственно и приводит к тому, что мы называем «помнить-самого-себя» – этому абсолютно необходимому фактору для процесса самоусовершенствования. Кроме того, благодаря этой ежедневной современной, как можно было бы еще назвать, «беспринципной-литературе» в людях стало их мышление еще больше отделяться от их индивидуальности, и этим самым возникающая еще временами в людях совесть в их мышлении перестала принимать участие, вследствие чего уже в них окончательно исчезли возможности для возникновения всяких факторов, которые еще давали до сих пор людям более или менее сносную жизнь, хотя бы только в смысле взаимного сношения.

Именно эта литература, с каждым годом увеличивающаяся и распространяющаяся в жизненном обиходе людей, к общему нашему несчастью, все больше и больше ведет и без того ослабевший ум человека к еще большему ослаблению в смысле легкого самоподдавания всякого рода обману и заблуждению, и на каждом шагу сбивает этот их ослабевший ум,

так сказать, «с-пути» более или менее установившегося мышления, и вместо здравого соображения слагает и развивает в людях стимулы для разных недостойных свойств, вроде как: неверие, возмущение, боязнь, застенчивость, скрытность, гордость и т. д., и т. д.

Для того, чтобы не быть голословным и хотя бы приблизительно обрисовать вам всю злостность для людей этой новой формы литературы, я расскажу вам несколько происшедших благодаря газетам событий, действительность которых сделалась для меня не подлежащей сомнению благодаря случайному принятию личного в них участия.

В Тегеране у меня был один задушевный приятель-армянин, который, умирая, сделал меня своим душеприказчиком.

У него был сын, тоже уже пожилой, живший по каким-то делам со своей многочисленной семьей в одном большом европейском городе.

В один печальный день он и все члены его семьи, поужинав вечером, к утру все умерли, и мне, по обязанности душеприказчика этой семьи, пришлось поехать на место этого печального происшествия.

И вот оказалось, что перед этим событием отец этого большого семейства несколько дней подряд читал в одной из нескольких получаемых им газет длиннейшие статьи о какой-то, совсем особым образом организованной колбасной, в которой будто бы невероятно чисто приготавливались из настоящих продуктов какие-то колбасы.

В то же время ему приходилось много раз видеть, как в этой, так и в других газетах, большие объявления об этой же новой колбасной.

Все это в конце концов соблазнило его до того, что он, хотя его семья, как люди получившие первоначальное воспитание в Армении, где колбасы не едят, не очень любили их, пошел и купил их, а вечером, поужинав этими колбасами, все они смертельно отравились.

Заинтересовавшись таким исключительным случаем, мне удалось позже, при содействии одного так называемого «агента-частной-тайной-полиции», выяснить следующее:

Некая большая фирма приобрела по дешевой цене у другой, тоже большой экспортной фирмы, огромную партию колбасы, предназначавшуюся для отправки в другую страну и не принятую вследствие просрочки выполнения заказа, и чтобы скорее избавиться от такой большой партии товара, купившая ее по дешевой цене фирма не пожалела денег на репортеров и сделала через них и по их усмотрению в газетах такую «злосеятельную» рекламу.

Другой случай:

Раз, в бытность мою в Баку, я сам в течение многих дней в получаемых

моим племянником местных газетах читал большие статьи, занимавшие почти половину всей газеты, в которых с чувством восхищения и восторга рассказывались всякие чудеса, производимые некоей знаменитой артисткой.

В этих статьях так много и красиво писалось об этой артистке, что это и меня, старика, как говорится, «разожгло», и я раз, отложив все свои даже нужные дела и изменив установившийся у меня по вечерам режим, тоже пошел в театр посмотреть самому на такую «диву».

И как вы думаете, что я увидел?.. Что-либо отвечающее хотя бы приблизительно тому, что писалось о ней в этих, почти половину газеты занимающих статьях? Ничего подобного.

Я много на своем веку перевидал разных представителей и этого рода искусства – и хороших, и плохих, и без преувеличения могу сказать, что уже до этого я считался очень многими компетентными людьми большим знатоком в этом деле. И вот, даже не критикуя эту артистку с моей личной общей точки зрения на искусство, а применяясь только к обывательской точке зрения, я должен признаться вам, что во всю мою жизнь я еще не видел кого-либо подобного этой «знаменитости» в смысле бездарности и, так сказать, отсутствия даже элементарных представлений о принципах игранья чужих ролей.

Во всех ее проявлениях на сцене было такое, как говорится, «отсутствие-всякого-присутствия», что лично я, даже побуждаемый альтруизмом, не решился бы допустить такую «диву» к исполнению роли судомойки моей кухни.

Как я позже узнал, один из бакинских, случайно разбогатевших, типичных нефтепромышленников заплатил в задаток нескольким репортерам «кругленькую» сумму и обещал еще втрое большую, если они добьются сделать большой известностью его «частную-содержанку», которая до этого, как после стало многим известно, была горничной в доме одного русского инженера, и которую он соблазнил во время своих деловых посещений этого инженера.

Еще один пример:

В одной германской распространенной газете время от времени я читал тоже большие «панегирики» по адресу одного художника, и у меня благодаря этим статьям сложилось мнение, что этот художник в современном искусстве является прямо-таки феноменом.

И когда мой племянник, построив в самом городе Баку новый дом, решил по случаю его свадьбы в текущем году внутренность этого дома отделать очень богато, так как в этом же году у него неожиданно забил несколько больших, с признаками к прогрессированию, нефтяных

фонтанов, суливших ему несметное богатство, я и посоветовал ему не жалеть денег и выписать этого знаменитого художника для руководства отделкой дома и нарисования им лично на стенах нескольких картин, чтобы его и без того уже очень большие затраты, по крайней мере, послужили бы в пользу его потомству, к которому перейдут по наследству между прочим и эти картины, и другие произведения рук этого исключительного таланта.

Племянник так и сделал: даже сам поехал за этим европейским великим художником. И художник вскоре приехал, привезя с собою целый штат помощников, мастеров и даже, мне кажется, собственный гарем, конечно в европейском понимании этого слова, и не торопясь приступил к работе.

Результатом же работ этой современной знаменитости было то, что, во-первых, день свадьбы был отложен, а во-вторых, пришлось потратить немало денег, чтобы привести все в первоначальный вид, для того чтобы на этот раз уже простые персидские мастера могли отделать, раскрасить и разрисовать все более отвечающим настоящей художественности.

В данном случае надо отдать справедливость: репортеры приняли участие в устройстве карьеры этого ординарного, так называемого «художника» почти бескорыстно, просто как его товарищи и скромные «построчные-работники».

Как последний пример я расскажу вам про одно печальное житейское недоразумение, получившееся тоже благодаря одному, на этот раз высшего ранга, авторитетному представителю такой современной, особенно зловредной литературы.

Раз, живя в городе Хорасане, я встретился в доме общих знакомых с одной европейской парой молодоженов и вскоре довольно близко сошелся с ними. Они в Хорасане останавливались несколько раз, но всегда проездом на короткое время.

Путешествуя в сопровождении своей молодой жены, этот мой новый приятель всюду собирал всякие сведения и в то же время наблюдал на местах и делал анализы для выяснения последствий, производимых на организм и на психику людей никотином разных сортов табака.

Собрав достаточное количество нужных ему данных и сведений по этому вопросу также и во многих азиатских странах, он с женой поехал в один большой европейский город и там начал писать, относительно выясненных им выводов и результатов, большую книгу.

Его молодая жена по причине того, что на такие свои путешествия она, благодаря очевидно тоже своей молодости и, следовательно, не приобретаемому еще опыту в смысле необходимости иметь в виду

возможность наступления так называемых «черных-дней», истратила все имевшиеся у них так называемые «жизненные-ресурсы» и принуждена была, для того чтобы дать возможность своему мужу закончить книгу, поступить на службу в качестве машинистки в контору одной большой коммерческой фирмы по изданию и по продаже газет и журналов.

В эту контору часто приходил и встречался с ней один какой-то по профессии «литературный-критик», и он, как говорится, «влюбившись», или просто ради удовлетворения своей похоти, стал добиваться вступить с ней в интимную связь, но она, как порядочная и знающая свой долг жена, никак не поддавалась его домогательствам.

Параллельно с продолжавшимся у этой честной жены европейского мужа, так сказать, «восторжествованием-моральности», у этого во всех смыслах грязного современного типа увеличивалась, вследствие неудовлетворенности, похоть, а также обычное для таких людей чувство мстительности, и он всякими своими происками раньше добился увольнения ее со службы без объяснения причин, а потом, когда ее муж, мой молодой приятель, окончил писание своей книги и издал ее, он, эта специфическая язва современности, начал, все из-за той же своей мести к этой женщине, в целом ряде статей, как в той газете, сотрудником которой он был сам, так и в других газетах и журналах, давать такие всевозможные ложные и дискредитирующие значение этой книги статьи и отзывы, что она, как говорится, «сразу-провалилась», т. е. ею никто не заинтересовался и не покупал.

На этот раз, при посредстве этих бессовестных и беспринципных представителей этого рода современной литературы произошло то, что этот честный труженик, затративший, как я уже сказал, все свои ресурсы, когда дошел до того, что ему с его любимой женой не на что было покупать хлеба, вместе с ней по уговору оба повесились.

Эти всякие так называемые «литературные-критики», благодаря влиянию их авторского авторитета на массы наивных и легко поддающихся внушаемости людей, на мой взгляд, во сто крат еще зловреднее всяких, так сказать, «слюнвявых-мальчишек-репортеров».

Например, я знал лично одного так называемого «музыкального-критика», который не только во всю свою жизнь ни разу не прикасался решительно ни к какому музыкальному инструменту и, следовательно, не имел никакого практического понимания в музыке, но даже не знал, что такое вообще звук и какая разница между нотами «до» и «ре», и вследствие только того, что он, благодаря установившимся ненормальностям современной цивилизации, каким-то образом занял этот ответственный

пост «музыкального-критика», стал для всех читателей данной, кстати сказать, в коммерческом смысле солидно поставленной и хорошо распространенной газете, авторитетом; и по его совершенно неграмотной указке, конечно, должно было у всех читателей составляться непоколебимое мнение по вопросу музыки – по тому вопросу, который должен был бы в действительности являться как бы маяком правильного понимания одного из аспектов общей так называемой «распознаваемости-истины».

Публика никогда не знает, кто пишет; она знает только самую газету, принадлежащую группе опытных коммерсантов.

Какими данными обладают пишущие в этих газетах люди и всю вообще, так сказать, «закулисную-сторону» редакции читатели никогда не знают и все написанное в газете принимают за чистую монету.

По моему, за последнее время окончательно оформившемся как камень убеждению, благодаря главным образом такой современной литературе и получилось то, что может быть констатировано всяким более или менее беспристрастно мыслящим, – что всякий человек, стремящийся развиваться средствами, имеющимися в современной цивилизации, в результате приобретает способность, в смысле мышления, годную только для, так сказать, «первого-эдисонова-изобретения», а в смысле эмоциональности развивает в себе, как бы сказал Ходжа Наср-Эддин, «тонкость-чувствования-коровы».

Передовые люди современной цивилизации, стоя сами на очень низком уровне морального и психического развития, не могут осознать, подобно детям, играющим с огнем, всей силы и значения действия вообще литературы на массы людей.

По моим впечатлениям, получившимся от изучения древней истории, передовые люди прежних цивилизаций никогда не допустили бы так долго продолжаться подобной ненормальности.

Подтверждением такого моего мнения могут служить дошедшие до нас сведения, хотя бы о том серьезном отношении к повседневной литературе, которое имелось еще не так давно у передовых людей нашей нации, в тот период, когда она считалась в числе первенствующих, – именно в тот период, когда Великий Вавилон принадлежал нам и являлся за все время на земле единственным признанным всеми центром культуры.

Согласно этим, дошедшим до нас достоверным сведениям, тогда и там существовала ежедневная пресса в виде так называемых «оттисканных-папирусов», хотя конечно в несравненно меньшем количестве, чем теперь, но тогда в таком литературном органе принимали участие исключительно

только соответствующие пожилые люди, известные большинству своими серьезными заслугами и честной жизнью; причем было установлено правило даже таких людей принимать на такую должность только по присяге, и они именовались «присяжными-сотрудниками», как в настоящее время существуют «присяжные-поверенные», «присяжные-заседатели» и т. д.

В современной же цивилизации репортером может быть всякий, так сказать, «молокосос», лишь бы он умел «красиво» и, как говорится, «литературно» выражаться.

Я особенно хорошо ознакомился с психикой и вообще с оценкой, так сказать, «бытия» таких именно результатов современной цивилизации, которые и заполняют постоянно разными своими мудрствованиями эти многочисленные, всюду распространенные газеты и журналы, когда недавно мне пришлось, все в том же городе Баку, в течение трех-четырех месяцев ежедневно присутствовать среди них и обмениваться с ними мнениями.

Это произошло по следующим обстоятельствам:

Однажды, когда я приехал в Баку с намерением остаться на всю зиму жить с племянником, к нему пришли несколько молодых людей и попросили у него позволения собираться, как они выразились, их «новообразовавшемуся-обществу-литераторов-и-газетных-работников», до приискания ими постоянного для себя помещения, в одном из зал первого этажа нашего дома, где имелись большие залы, так как мой племянник, когда строил этот дом, предполагал его нижний этаж приспособить для ресторана.

На такую просьбу «общества-литераторов-и-газетных-работников» племянник сразу дал свое согласие, и они со следующего дня начали собираться, главным образом по вечерам, и устраивать свои, как они говорили, «общие-собрания-и-научные-диспуты».

Так как на эти общие собрания и научные диспуты допускались и посторонние, то я, будучи по вечерам совершенно свободен и имея к тому же свое помещение очень близко к залу, где они собирались, начал часто заходить туда и слушать, что они говорили на этих своих общих собраниях; и скоро то один, то другой из них стали заговаривать со мною, и постепенно у меня даже установились с некоторыми из них приятельские отношения.

Большинство из них были еще совсем молоды, хилы и женственны, а у некоторых лица прямо показывали, что их родители были алкоголиками или страдали другими страстями от безволия, или что сами обладатели

этих лиц имели разные скрываемые от других дурные привычки.

Хотя, конечно, Баку и маленький город в сравнении с большинством городов народностей современной цивилизации и, следовательно, собравшиеся там тогда такие современные типности представляли из себя, как говорится, «птиц-низшего-полета», но всех других их коллег вообще можно смело обобщить с ними.

Я имею право это сказать, так как, путешествуя позже по Европе, мне приходилось случайно много встречаться с представителями такой современной литературы, и они все производили на меня одинаковое впечатление, походя друг на друга как две капли воды.

Разница между ними была только в степени их важности в зависимости от того, в каких печатных органах они принимали участие, т. е. в зависимости от названий и степени распространенности газет и журналов, в которых помещались их мудрствования, или, так сказать, от солидности вообще той коммерческой фирмы, которая владела как данным органом, так и всеми ими – «литературными-работниками».

Многие из них почему-то назывались поэтами. Собственно говоря, в настоящее время всюду в Европе всякий, кто пишет хотя бы одну короткую бессмыслицу, вроде:

Зеленая роза  
Красная мимоза  
Ее божественная поза  
Прямо-таки виноградная лоза и т. д.,

– уже получает от окружающих звание поэта, и такой титул некоторые из них помещают даже на своих визитных карточках.

У этих современных «газетных-работников» и «литераторов» почему-то очень развито, как говорится, «чувство-корпорации», и они друг друга очень поддерживают и при всяком случае усиленно возвеличивают.

Мне кажется, эта их черта является главной причиной увеличения их кадра и их ложного авторитета на массы, а также унижительного, бессознательного преклонения толпы перед этими, с чистой совестью можно сказать, ничтожествами.

На этих собраниях, бывало, выходит на кафедру кто-нибудь из них и начинает читать что-нибудь вроде тех стихов, которые я только что привел, или говорить о том, почему такой-то министр такого-то государства во время «банкета» выразился относительно такого-то вопроса так, а не этак, и непременно по окончании своей речи такой лектор в большинстве

случаев заявлял что-либо вроде следующего: «Сейчас после меня будет говорить неподобающее „светило-науки“ нашего времени, господин такой-то, который случайно приехал в наш город по особо важным делам и был так любезен, что не отказался пожаловать на наше сегодняшнее собрание, и мы будем сейчас иметь счастье лично слышать его божественный голос».

И когда на кафедре появлялась эта «знаменитость», он начинал свою речь со слов: «Милостивые Государи и Милостивые Государыни! Мой коллега был так скромн, что назвал меня знаменитостью». (Кстати сказать то, что говорил его коллега, он слышать не мог, так как пришел из другой комнаты, куда двери были закрыты, и открыл их он сам, когда входил, а я хорошо знал, какие двери в этом доме и какая в нем акустика.)

Потом он продолжал: «На самом деле, если меня сравнить с ним, то я не достоин даже в его присутствии сидеть. Не я знаменитость, а он; его знает не только вся наша Великая Россия, но и весь цивилизованный мир. Его имя с трепетом будет произносить наше потомство, и никто никогда не забудет, что он сделал для науки и для будущих благ человечества.

Этот бог истины проживает в настоящее время в таком незначительном городе не случайно, как нам кажется, а наверное по очень важным, известным только ему одному, причинам.

По-настоящему его место не среди нас, а рядом с древними богами „Олимпа“, и т. д.».

Только после такого вступления эта новая «знаменитость» произносила несколько бессмыслиц, как например на тему: «Почему-Сирийцы-завели-войну-с-Парнакалпами».

Всегда после таких «научных-заседаний» здесь же устраивались ужины с двумя бутылками дешевого вина, причем многие прятали в свои карманы что-нибудь из закусок: или кусок колбасы, или селедку с куском хлеба; и когда кто-либо другой случайно замечал это, они обыкновенно говорили: «Это для моей собаки, она, шельма, уже теперь привыкла – всегда ожидает чего-либо, когда я возвращаюсь домой поздно».

После таких ужинов на другой день всегда во всех местных газетах появлялся в невероятно высокопарных выражениях отчет об этом собрании и приводились приблизительные речи говоривших, но конечно ничего не упоминалось о скромности ужина и об уносе для собаки куска колбасы.

Вот таковые люди пишут в газетах о всяких «истинах» и научных открытиях, а наивный читатель, не видя пишущих и не зная их жизни, делает свои заключения о событиях и идеях по пустословию этих не более и не менее как больных, неопытных и неграмотных в смысле жизни людей.

За очень малыми исключениями, во всех городах Европы пишущие книги или газетные статьи представляют собой таких именно молодых, неопытных фантазеров-мечтателей, сделавшихся такими главным образом благодаря наследственности и своим известным слабостям.

На мой взгляд, не подлежит никакому сомнению, что из всех причин, порождающих многие ненормальности в современной цивилизации, самой очевидной и занимающей одно из первенствующих мест среди прочих является как раз эта газетная литература, благодаря своему деморализующему и пагубному действию на психику людей; и меня крайне удивляет, что ни одно государство из всех народностей современной цивилизации, в лице своих представителей власти, до сих пор не осознало этого и, расходуя едва ли не больше половины так называемых «государственных-доходов» на содержание полиции, тюрем, судебных учреждений, церквей, больниц и т. д. и на оплату многочисленных кадров служащих, как то: священников, врачей, агентов тайной полиции, прокуроров, пропагандистов и т. п., в целях поддержания благонадежности и нравственности своих сограждан, не тратит ни одного сантима, чтобы предпринять что-либо и с корнем уничтожить такую очевидную причину многих преступлений и недоразумений.

Так закончил свою речь этот пожилой персидский интеллигент.

Теперь, мой храбрый, пожалуй уже одной ногой в галоше стоящий читатель, покончив с этой речью, – которую я, так сказать, «пристегнул» к данной серии только потому, что выраженные в этой речи идеи, на мой взгляд, должны явиться очень поучительными и полезными для большинства людей, поклонников современной цивилизации, наивно считающих ее, в смысле усовершенствования человеческой разумности, стоящей неизмеримо выше прежних, – я могу закончить эту первую главу и перейти к обработке мною уже изложенного во второй редакции материала, предназначенного для данной серии моих писаний.

Приступая сейчас к обработке сказанного материала с намерением и ему придать возможно более понятную, общедоступную форму, у меня возникла мысль задаться при этой обработке и такой идеей, чтобы эта моя работа в то же время получилась согласно одному часто употребляемому нашим великим Молла Наср-Эддином благоразумному житейскому совету, высказываемому им так:

«Всегда-стремись-во-всем-достигать-одновременно-полезное-для-других-а-для-себя-приятное».

Относительно выполнения первой половины этого «благоразумного-

житейского-совета» нашего мудрого учителя мне незачем задумываться, так как уже само мною предрешенное дать посредством этой серии будет с лихвою оправдывать его тем, что это без всякого сомнения принесет пользу даже всему человечеству, а что касается «приятного» для себя, – вот этого я и хочу достигнуть тем, что решил придать предназначенному материалу между прочим еще и такую форму изложения, благодаря которой в будущем для меня могла бы явиться возможность более или менее, в известном отношении, сносного существования среди встречающихся со мною людей, а не иметь такое, каким оно было до начала этой моей писательской деятельности.

Для того чтобы было понятно, что я подразумеваю под употребленным мною выражением «сносного-существования», надо сказать, что я, как бывавший во всех таких странах материков Азия и Африка, которые за последние полвека почему-то стали интересовать многих, давно уже слышу за чародея и знатока так называемых «потусторонних-вопросов».

Вследствие чего всякий встречавшийся со мною человек считал себя в праве беспокоить меня для удовлетворения своего праздного любопытства касательно этих самых «потусторонних-вопросов», или принуждал меня рассказывать что-либо из моей личной жизни или просто о каком-нибудь приключении во время моих путешествий.

И я должен был, как бы ни был уставши, обязательно что-либо им отвечать – в противном случае они непременно на меня обижались и всегда, настраиваясь по отношению меня недоброжелательно, всюду при упоминании моего имени про меня говорили обязательно что-либо вредящее моей деятельности и дискредитирующее мое значение.

Поэтому, приступая теперь к обработке уже для обнародования предназначенного для этой серии материала, я и решил проводить все это под формой таких отдельных самостоятельных рассказов и распределять в них разные идеи, могущие служить ответами на всякие часто задаваемые мне вопросы, с таким расчетом, чтобы я мог, в случае мне опять пришлось бы жить и иметь общение с такими беззастенчивыми праздношатателями, просто указывать им на ту или иную главу, при прочтении которой они могли бы удовлетворять свое автоматическое любопытство и дали бы мне возможность с некоторыми из них разговаривать, как они это постоянно делают, только по текущим ассоциациям, и таким образом давать иногда необходимую передышку своему активному мышлению, неизбежно требующуюся при сознательном и добросовестном выполнении своих житейских обязанностей.

Из часто задаваемых мне вопросов такого рода людьми,

принадлежащими к разным кастам и имеющими разной степени, так сказать, «осведомленность», как я теперь припоминаю, преобладали следующие:

1. С какими замечательными людьми я встречался?
2. Какие чудеса я видел на Востоке?
3. Существует ли у человека душа и бессмертна ли она?
4. Свободна ли воля человека?
5. Что такое жизнь, и почему существует страдание?
6. Верю ли я в оккультные и спиритические науки?
7. Что такое гипнотизм, магнетизм и телепатия?
8. Как я заинтересовался этими вопросами?
9. Что привело меня к моей системе, осуществляемой в школах, называемых Институтом моего имени?

Решив непременно поступить так, я даже составил самое подразделение данной серии на отдельные главы под формой ответов на первый из перечисленных, часто задаваемых мне вопросов, а именно: «с-какими-замечательными-людьми-мне-приходилось-встречаться?», и в отдельных рассказах о таких встречах я и распределю, на принципе, так сказать, «логически-вытекающей-последовательности», как все идеи и мысли, предрешенные мною через эту серию моих писаний к осведомлению людей относительно, как я выразился, «подготовительного-строительного-материала», так и ответы на все часто задаваемые мне вопросы; причем самую последовательность этих отдельных рассказов я сделаю такой, чтобы этим самым между прочим получилась выпукло выступающая также моя внешняя, как бы так называемая «автобиография».

Прежде чем продолжать дальше, я считаю необходимым раньше точно обусловить понятие выражения «замечательный-человек», так как и это выражение является, как и всякие другие для определенных понятий, почти всегда у современных людей относительным, т. е. чисто субъективным.

Например, и человек, делающий фокусы, для многих тоже является «замечательным-человеком», а на самом деле даже для них этот «замечательный» сразу перестает быть таковым, как только они узнают секрет его фокусов.

В определение того, кого надо считать и можно называть замечательным, я, чтобы много не распространяться об этом, скажу пока, к каким именно людям лично я применяю это выражение.

На мой взгляд, «замечательным-человеком» может быть назван тот, кто

выделяется от окружающих находчивостью своего ума и умеет быть в своих проявлениях, исходящих от его натуры, воздержанным, относясь в то же время к слабостям другого справедливо и снисходительно.

Так как таким именно человеком, которого я видел впервые и влияние которого оставило след на всю мою жизнь, был мой отец, то с него я и начну.

## Мой отец

Моего отца за последние несколько десятков лет прошедшего и настоящего века многие знали как «ашшёх», т. е. поэта и сказателя, под прозвищем «Адаш», и он в свое время пользовался большой популярностью среди многих народностей Закавказья и Малой Азии, хотя и не был профессиональным «ашшёх», а только любителем.

«Ашшёхом» всюду в Азии и на балканском полуострове называли местных бардов, авторов и исполнителей стихов, песен, былин, народных сказаний, сказок и т. п.

Несмотря на то, что эти люди прошлого, посвятившие себя такому поприщу, в большинстве случаев были «неграмотными», т. е. в детстве не ходили даже в начальную школу, они обладали такой памятью и таким быстрым соображением, которое в наше время надо уже считать необычайным и даже феноменальным.

Они не только знали наизусть все эти бесчисленные, подчас очень длинные сказания и поэмы, но и пели по памяти все разнообразные их мелодии или импровизировали все это на свой, так сказать, «субъективный-лад», поразительно скоро находя для этого неизбежно меняющийся размер стиха и рифму.

В настоящее время нигде, среди никаких народностей, больше уже не встречается таких людей с такими способностями.

Когда я был еще совсем юным, уже тогда говорили, что их становится все меньше и меньше.

Многих таких ашшёхов, из считавшихся в моем детстве знаменитыми, я сам видел, и их лица очень хорошо запечатлелись в моей памяти.

Мне пришлось их видеть, потому что мой отец иногда брал меня в детстве с собою в такие места, куда съезжались на устраиваемые тогда время от времени конкурсные состязания такие «поэты-ашшёхи» из разных стран, как например: из Персии, Турции, Кавказа и даже из разных местностей Туркестана, и при большом стечении народа состязались в импровизациях и пении.

Это происходило обыкновенно следующим образом:

Один из участников конкурса, по жребию, начинал в пении импровизированной мелодией задавать своему партнеру какой-нибудь вопрос на религиозную или философскую тему или о смысле и происхождении той или иной известной легенды, предания или поверья, а

другой отвечал уже своей импровизированной, субъективной мелодией, причем эти субъективно-импровизированные мелодии должны были всегда, как в смысле тональности, так и в смысле так называемого настоящими учеными композиторами «ансапально-вытекающего-эхо», так сказать, «ответствовать-созвучиям», перед этим воспроизводившимся.

Все это пелось в стихах и произносилось главным образом на общепринятом в тот период при сношениях между разноязычными народностями этих местностей «тюркско-татарском» разговорном языке.

Такие состязания длились неделями, а иногда месяцами, и заканчивались награждением, по общему приговору присутствующих, наиболее отличившихся певцов призами и подарками, обычно состоявшими из предоставленных слушателями для этой цели скота, ковров и т. д.

В детстве я был свидетелем трех таких конкурсов, происходивших в Турции – в городе Ван, в Азербайджане – в городе Карабах, и в местечке Субатан Карской области.

Моего отца в Александрополе и Карсе, в городах, в которых в период моего детского возраста наша семья имела свое местожительство, многие, знавшие его, часто приглашали на устраиваемые «званные-вечера», чтобы послушать его рассказы и пение.

На таких вечерах он воспроизводил по выбору большинства присутствовавших какое-либо одно из многочисленных сказаний или поэм, передавая диалоги между действующими лицами пением.

Иногда, чтобы закончить такой рассказ, не хватало ночи, и слушатели собирались опять на следующий вечер.

Под воскресенье и под праздничные дни, когда на другой день можно было не вставать рано, отец и нам, детям, рассказывал о чем-нибудь – или о бывших великих народах и замечательных людях, или о Боге, природе и таинственных чудесах, и всегда эти рассказы заканчивались какой-нибудь сказкой из «Тысячи-и-одной-ночи», которых он знал столько, что их действительно хватило бы по одной самостоятельной сказке на тысячу и одну ночь.

Из многочисленных сильных впечатлений от таких разных рассказов моего отца, оставивших след на всю мою жизнь, одно в последующей моей жизни не менее, пожалуй, чем пять раз служило для меня, так сказать, «воодушевляющим-фактором» в возможности понять непонятное.

Это сильное впечатление, служившее для меня впоследствии «воодушевляющим-фактором», окристаллизовалось во мне, когда однажды отец мой рассказывал и пел о легенде так называемого «Допотопного-

Потопа», и по этому поводу между ним и его одним другом и приятелем возник спор.

Это имело место в тот период времени, когда мой отец принужден был, по «велениям-житейских-обстоятельств», сделаться профессиональным плотником. Тогда-то к нему в мастерскую часто заходил этот его друг и приятель, и они другой раз просиживали целые ночи, разбирая древние легенды и сказания.

Этот его друг и приятель был некто иной, как настоятель Карского военного собора, протоиерей Борщ, – тот человек, который сделался вскоре моим первым наставником, или основателем и творцом моей теперешней индивидуальности, так сказать, «третьим-лицом-моего-внутреннего-Бога».

В ту ночь, когда произошел сказанный спор, в мастерской находились и я с моим дядей, приехавшим в тот же вечер в город из недалеко находящегося села, где он имел большие огороды и виноградники.

Мы, т. е. я и дядя, тихо вместе сидели в углу на мягких стружках и слушали пение отца, который на этот раз пел легенду о герое Вавилона Гильгамеше и объяснял ее значение.

Спор возник, когда отец кончил двадцать первую песню этой легенды, в которой воспроизводился рассказ какого-то Утнапиштина Гильгамешу о гибели от потопа земли Шуриппак.

Когда отец после этой песни сделал перерыв, чтобы набить табаком свою трубку, он сказал, что легенда о Гильгамеше, по его мнению, принадлежит шумерийцам, народности более древней, чем вавилоняне и, наверное, содержание этой легенды именно легло в основание Библии евреев, а позднее и христианского мировоззрения: изменились только названия и некоторые детали в отдельных местах.

На это отец протоиерей начал возражать, приводя массу противоречащих этому данных, и у них разгорелся серьезный спор, так что они даже забыли про меня, забыли, как они это всегда в таких случаях делали, прогнать меня спать.

А я с дядей тоже так сильно заинтересовались этим спором, что не шевелясь пролежали на стружках до самого утра, когда наконец отец с приятелем кончили спор и разошлись.

Эта двадцать первая песня в тот вечер так много повторялась, что она невольно запомнилась мне на всю жизнь.

В этой песне говорилось так:

Я расскажу тебе, Гильгамеш,  
Одну печальную тайну богов:

Как они раз, собравшись вместе,  
Решили затопить всю землю Шуриппак.  
Светлоокий Эа, не говоря отцу, Ану,  
Ни владыке – великому Энлилу,  
Ни распространителю счастья – Немуру,  
Ни даже подземному князю Энью,  
Позвав к себе сына Убар-тута,  
Сказал ему: «Построй судно,  
Возьми с собой своих близких,  
Зверей, птиц, каких ты хочешь;  
Богами решено бесповоротно  
Залить водой всю землю Шуриппак».

Благотворный результат для моей личной индивидуальности от слагавшихся во мне тогда в детстве данных, благодаря совокупности воспринятых сильных впечатлений во время спора на отвлеченную тему этих двух, относительно нормально доживших до старости людей, мною впервые осознанся еще совсем недавно, а именно перед самой «общеевропейской-войной», и с тех пор стал служить упомянутым «воодушевляющим-фактором».

Первоначальным толчком для моих мыслительных и чувствительных ассоциаций, осуществивших во мне в результате такое сознание, послужило следующее:

Как-то раз в одном журнале я прочитал статью, в которой говорилось, что на местах развалин Вавилона найдены какие-то мраморные, так называемые «конусы» с надписями, которые по уверению ученых свое происхождение имели не менее четырех тысяч лет тому назад. В этом же журнале был напечатан и расшифрованный текст этих надписей – это была легенда о герое Гильгамеше.

Когда я понял, что здесь дело идет о той самой легенде, которую я не раз слышал в моем детстве от моего отца, и особенно когда в этом тексте я прочел упомянутую двадцать первую песню этой легенды почти в той же форме изложения, в какой я слышал ее в пении и рассказах моего отца, то я испытал такое, как говорится, «внутреннее-волнение», как будто от всего этого зависела вся моя дальнейшая судьба. Меня поразило тогда также тот необъяснимый для меня вначале факт: каким образом могла эта легенда в течение стольких тысяч лет переходить из рода в род через ашшѐхов и дойти до наших дней почти в неизменном виде.

После этого случая, именно когда мне окончательно стал очевиден благотворный результат слагавшихся в моем детском возрасте впечатлений от рассказов моего отца, результат в смысле окристаллизования во мне «воодушевляющего-фактора» для возможности добиться понимания обычно кажущегося непонятным, я не раз впоследствии досадовал на себя за то, что я слишком поздно стал придавать легендам старины то громадное значение, какое они, как я это теперь понимаю, в действительности имеют.

После этого случая для меня получила совершенно особое значение и другая слышанная от отца легенда, тоже о «Допотопном-Потопе».

В ней тоже в стихах говорилось, что давно-давно, еще за семьдесят поколений перед последним потопом (а поколение считалось сто лет), когда там, где теперь моря, была суша, а где теперь суша, были моря, на земле существовала большая цивилизация, центром которой был остров Ханиина, бывший в то же время и центром земли.

Остров Ханиина, как я между прочим выяснил согласно другим историческим данным, находился приблизительно там, где теперь расположена Греция.

От этого потопа уцелели только несколько братьев существовавшего тогда братства «Имастун»<sup>[2]</sup>, которое представляло собою целую касту.

Члены этого братства были разбросаны тогда по всей земле, но центр братства находился на этом острове.

Эти братья «Имастун» были учеными и между прочим изучали астрологию, и как раз перед потопом, для наблюдения с разных мест за небесными явлениями, они находились рассеянными по всей земле, но на каких бы громадных расстояниях они ни находились друг от друга, они всегда поддерживали связь между собой и обо всем доносили центру братства посредством телепатии. Для этого они пользовались так называемыми «пифиями», которые служили для них как бы воспринимающими аппаратами; эти пифии в трансе бессознательно воспринимали и писали все то, что передавалось им из разных мест «Имастунами», причем пифии, в зависимости от того, откуда поступали к ним сведения, записывали их в четырех различных установленных направлениях. То, что приходило из местностей, лежавших на восток от острова, записывалось сверху вниз, что с юга – справа налево, то, что приходило с запада, с тех мест, где была Атлантида и где теперь Америка, записывалось снизу вверх, а сообщения, передававшиеся из местностей, находившихся на месте теперешней Европы, записывались слева направо.

Раз мне пришлось в логическом ходе изложения этой главы, посвященной памяти моего отца, упомянуть о его друге, моем первом

наставнике, отце протоиерее Борщ, то я считаю необходимо-нужным указать на установившийся в то время у этих двух доживших нормально до старости людей, взявших на себя обязанность подготовить меня, несознательного мальчика, к ответственной жизни и заслуживших своим добросовестным и беспристрастным отношением ко мне представлять теперь, спустя много времени, для моей сущности, как я уже выразился, «два-лика-Божества-моего-внутреннего-Бога», один в высшей степени оригинальный и даже для меня, когда я впоследствии это понял, поразительный прием для развития ума и самоусовершенствования.

Этот прием они называли «кастусилия»; мне кажется, что это древнеассирийское название, и очевидно моим отцом оно было почерпнуто из какой-либо легенды.

Этот прием заключался в следующем:

Один из них неожиданно задавал другому вопрос, на первый взгляд совершенно неуместный, а другой, не торопясь, спокойно и серьезно отвечал на него логически-правдоподобно.

Например, раз вечером, когда я был в мастерской, неожиданно пришел мой будущий наставник и еще на ходу спросил у моего отца:

– Где сейчас находится Бог?

Мой отец пресерьезным образом ответил, что Бог сейчас находится в Сарыкамыше.

Сарыкамыш – это лесистая местность, находящаяся на границе между прежней Россией и Турцией, где растут особо высокие сосны, известные повсеместно в Закавказье и Малой Азии.

Получив от моего отца такой ответ, протоиерей спросил:

– Что Бог там делает?

Отец ответил, что Бог там делает двойные лестницы, на верхушке которых укрепляет счастье, чтобы по этим лестницам отдельные люди и государства подымались и спускались.

Эти вопросы задавались и ответы следовали в таком серьезном и спокойном тоне, как будто один спрашивал, какая цена нынче на картошку, а другой отвечал, что в этом году уродилась очень плохая картошка. Только впоследствии я понял, какая богатая мысль скрывалась в таких вопросах и ответах.

В подобном духе они вели беседы между собой очень часто, и для постороннего могло казаться, что это два лишенных ума старика, и что только по недоразумению они находятся на воле, а не в больнице для душевно-больных. Масса вопросов и ответов, тогда мне казавшихся ничего не значащими, после, когда мне самому приходилось сталкиваться с

некоторыми такими же вопросами, приобрели для меня глубокий смысл, и я тогда лишь понял, какое громадное значение имели для этих двух стариков эти вопросы и ответы.

У моего отца имелся очень простой, ясный и вполне определенный взгляд на цели человеческой жизни; он мне в детстве много раз говорил, что основным стремлением каждого человека должно быть: создать себе внутреннюю свободу для жизни и подготовить счастливую старость. Он находил, что необходимость и нужность этой цели в жизни настолько ясна, что всякому это должно быть понятно без всякой «мудрежки».

А достигнуть этого человек может только тогда, если с детства до восемнадцати лет приобретутся данные для неуклонного выполнения четырех следующих заповедей:

Первая – любить своих родителей.

Вторая – оставаться чистым в половом отношении.

Третья – оказывать внешнюю вежливость всем без различия: богатому, бедному, друзьям, врагам, власть-имущим и рабам – людям всех религий, а внутренне оставаться свободным, никому и ничего много не доверять.

Четвертая – любить работу для работы, а не для заработка.

Мой отец, любя меня особенно как первенца, вообще имел на меня большое влияние.

Мое личное отношение установилось к нему не как к отцу, а как к старшему брату, и он своими постоянными беседами со мною и своими необыкновенными рассказами очень способствовал возникновению во мне поэтических образов и высоких идеалов.

Отец происходил из греческой семьи, предки которой были выходцами из Византии, покинувшими родину вследствие гонений на них турок вскоре после завоевания последними Константинополя.

Сначала они переселились вглубь Турции, а потом по некоторым причинам, в числе которых были также климатические условия и удобства пастбищ для стад домашнего скота, составлявших часть громадных богатств моих предков, переселились на восточные берега Черного моря, в окрестности города и по настоящее время называющегося «Гюмушхане», а еще позже, из-за повторившегося гонения турок, незадолго перед предпоследней большой русско-турецкой войной, они оттуда перекочевали в Грузию.

Здесь в Грузии мой отец отделился от братьев и вскоре переселился в Армению, обосновавшись в городе Александрополе, только что переименованном с турецкого названия «Гюмри».

При разделе наследственного имущества на долю моего отца пришлось очень большое, по понятиям того времени, богатство, в числе которого было несколько стад домашнего скота.

Вскоре, через один-два года после переселения в Армению, все доставшееся моему отцу по наследству богатство, благодаря одному не зависящему от людей бедствию, было потеряно.

Это случилось по следующим обстоятельствам:

Когда мой отец со всей своей семьей, пастухами и стадами переселился в Армению, то вскоре бедное местное население, как это было в обычае, отдали ему на содержание, как богатому стадовладельцу, свой, имеющийся у каждого в небольшом количестве, рогатый и другой домашний скот, за что они в течение сезона должны были получать известное количество масла и сыра. И вот, когда таким образом его стада увеличились на много тысяч голов чужой скотиной, как раз в это время из Азии перешла и распространилась по всему Закавказью эпидемия чумы четвероногих животных.

Тогда этот массовый мор среди скота был такой интенсивности, что в течение одного-двух месяцев почти все стада перемерли; уцелела только самая незначительная часть его, да и то, эти уцелевшие представляли собою, как говорится, «кости-да-облезлую-кожу».

Так как мой отец при приеме скота на содержание брал на себя, как это было там тоже в обычае, страховку скота от всякого рода несчастных случаев, вплоть до уноса волками (что случалось довольно часто), то после этого несчастья отец не только потерял весь свой скот, но принужден был распродать почти все свое остальное имущество, чтобы расплатиться за чужой скот.

Последствием всего этого и было то, что мой отец из хорошо обеспеченного человека превратился сразу в бедняка.

В этот период наша семья состояла еще только из шести человек, а именно: отца, матери, бабушки, которая захотела доживать век около младшего своего сына, т. е. моего отца, и троих нас, детей – меня, брата и сестры, из которых самым старшим был я; мне было тогда около семи лет.

Лишившись своего состояния, мой отец должен был взяться за какое-нибудь дело, так как содержание такой семьи, притом еще избалованной до этого богатой жизнью, стоило немало денег, и он, собрав уцелевшие остатки бывшего громадного, как говорится, «на-широкую-ногу-поставленного» хозяйства, сначала открыл лесной склад и при нем, по местному обычаю, плотническую мастерскую для производства всяких деревянных изделий.

Этот лесной склад в течение первого же года, вследствие того, что мой отец до этого в жизни никогда не занимался коммерчеством и, следовательно, в таких делах был непрактичным, опустел.

Тогда-то он и был принужден, ликвидировав лесной склад, ограничиться только мастерской, специализировавшись на производстве небольших изделий из дерева.

Эта вторая неудача в делах моего отца произошла на четвертый год после первого его большого несчастья.

Все это время наша семья жила в городе Александрополе.

Как раз с этим временем совпало горячее переустройство русскими взятой ими знаменитой крепости Карс с прилегающим городом.

Открывшиеся там возможности хорошо заработать и уговоры дяди, уже имевшего в Карсе свое дело, побудили тогда отца перенести туда же свою мастерскую, и он сначала сам переехал, а потом перевез и всю семью в Карс.

К этому времени наша семья увеличилась еще тремя «космическими-аппаратами» для трансформации пищи в виде трех моих тогда действительно прелестных сестер.

По переезде в Карс отец определил меня сначала в греческую школу, а в скором времени перевел в русское городское училище.

Посещая училище, я, будучи способным, почти не тратил времени на приготовление уроков и все свободные часы помогал отцу в мастерской, и скоро стал иметь даже свой круг заказчиков, сначала среди товарищей, мастера для них разные вещи, ружья, пеналы и т. п., а потом понемногу перешел на более серьезную работу, делая разные мелкие починки на домах.

Несмотря на то что я был тогда еще совсем карапузом, мне запомнился этот период жизни нашей семьи до мельчайших деталей, и на фоне всех этих деталей сейчас в моих воспоминаниях особенно вырисовывается все величие спокойствия и безразличия внутреннего состояния моего отца в его внешних проявлениях на все падавшие на его голову невзгоды.

Я теперь с уверенностью могу сказать, что несмотря на внешнюю отчаянную борьбу с сыпавшимися тогда, как из рога изобилия, неудачами в обстоятельствах жизни, он – как и раньше во всех трудных обстоятельствах – продолжал сохранять душу настоящего поэта.

По моему мнению, это и было причиной того, что во время моего детства, несмотря на большую нужду, в нашей семье постоянно царили необыкновенное взаимное согласие, любовь и желание помочь друг другу.

Отец, благодаря тому, что он имел в себе присущность воодушевляться

красотой разных деталей жизни, и в бедности, в самые унылые моменты нашей семейной жизни, становился для всех нас источником бодрости и, заражая всех своею беззаботностью, этим самым зарождал в нас упомянутые счастливые импульсы.

Когда говоришь о моем отце, нельзя обойти молчанием его взгляды на так называемый «потусторонний-вопрос».

У него и на этот счет, как это было вообще ему свойственно, имелось своеобразное и в то же время очень простое определение.

Я помню, когда я приехал к нему в последний раз, я задал ему один из своих стереотипных вопросов, которые за последние тридцать лет – при встречах с незаурядными людьми, приобретшими в себе данные привлекать сознательное внимание других, – носили для меня как бы характер анкеты.

А именно я его, конечно после предварительной подготовки, сделавшейся у меня для таких случаев обычной, спросил, какое личное мнение, без всякого мудрствования и философствования, сложилось у него за время его жизни о том, есть ли у человека душа, и бессмертна ли она.

– Как тебе сказать... – ответил он, – в такую душу, в которую верят люди, что человек якобы имеет и про которую говорят, что она существует после смерти самостоятельно и переселяется, я не верю. И в то же время для меня несомненно, что в течение жизни человека «что-то» в нем образовывается.

Я себе объясняю это так: человек рождается с каким-то свойством и, благодаря этому свойству, в течение жизни некоторые переживания человека вырабатывают какое-то вещество, и из этого вещества в нем постепенно образовывается «что-то-такое», что может приобрести почти независимую от физического тела жизнь.

Когда человек умирает, это «что-то» разлагается не вместе с физическим телом, а гораздо позже, после своего отделения от физического тела.

Это «что-то», хотя образовывается из тех же веществ, что и физическое тело человека, есть гораздо более тонкой материальности и, как нужно полагать, обладает гораздо большей «чуткостью» ко всякого рода восприятиям.

Чуткость его восприятий, по-моему, такая, как... Помнишь, когда ты делал опыты с юродивой армянкой Сандо?

Он имел в виду тот мой эксперимент, который я как-то раз, за много лет до этого, в бытность мою в Александрополе, делал в его присутствии, приводя к разным степеням гипнотического состояния людей всяких типностей, в целях выяснения себе всяких деталей того явления, которое у

ученых гипнотизеров называется «экстериоризация-чувствительности» или «перенесение-болевого-ощущения-на-расстояние».

Это я производил следующим образом:

Я делал из смеси глины с воском и с самой мелкой дробью фигуру, представляющую приблизительно копию медиума, приведенного мною в гипнотическое состояние, т. е. то психическое состояние человека, которое в отрасли науки, дошедшей до наших дней из очень древних времен, называлось «потеря-инициативности», какое состояние соответствует, по современной классификации так называемой «Нансийской-школы», третьей степени гипноза, и потом очень хорошо натирал определенный участок тела данного медиума мазью из смеси оливкового и бамбукового масла, а затем, соскабливая это масло с тела медиума и смазывая им соответствующее место фигуры, приступал уже к выяснению себе всяких интересовавших меня деталей этого феномена.

Как раз тогда моего отца больше всего поражало то явление, когда от моего прикосновения иглой к натертому месту на фигуре у медиума вздрагивало соответствующее место, а при более сильном уколе, точно на том же самом месте части тела медиума выступала капля крови, и в особенности то, что спрошенный медиум, после того как был приведен в бодростное состояние, оказывалось, ничего не помнил об этом и утверждал, что ничего не чувствовал.

И вот, отец, в присутствии которого тогда этот опыт производился, теперь, ссылаясь на это самое, сказал:

– Вот, в этом духе, это «что-то-такое», как до смерти человека, так и после нее до своего разложения, реагирует на окружающие известные действия и не избавлено от их влияния.

У моего отца, как я уже упоминал в предыдущей главе, в отношении моего воспитания были определенные, как я их назвал, «настойчивые-преследования».

Одно из наиболее ярких таких его «настойчивых-преследований», оказавшее на меня бесспорно верный и резко ощутимый благотворный результат, каковой мог быть усмотрен и теми из знавших меня, кто сталкивался со мною во время моих странствований по разным дебрям твердынной поверхности земли в поисках истины, заключался в том, что он тогда в моем детском возрасте – именно в том возрасте, когда вообще в человеке слагаются всякие данные для импульсов ко времени ответственной жизни, – при всяком подходящем случае принимал меры, чтобы вместо данных, которые порождают такие импульсы, как «брезгливость», «отвращение», «гадливость», «боязнь», «робость» и т. п.,

во мне образовывались данные для безразличного отношения ко всему, обычно вызывающему подобные импульсы.

Я отлично помню, как он даже иногда для такой цели незаметно подкладывал мне в постель что-либо могущее вызывать перечисленные импульсы, как то: лягушку, червяка, мышь и т. п., и заставлял меня брать в руки неядовитых змей и даже играть с ними, и т. д.

Из приемов таких именно его «настойчивых-преследований» в отношении меня я помню, что больше всего нервировало других старших, окружавших меня в детстве – например, мать, дядю, тетю и наших старших пастухов – то, что он обязательно заставлял меня вставать рано утром, когда детский сон особенно сладок, идти к фонтану закачиваться холодной ключевой водой и после этого бегать нагишом, и если я противился этому, то он, несмотря на то что был очень добрым и любил меня, в этом никогда не уступал мне и даже беспощадно наказывал.

Впоследствии я не раз вспоминал его за это, и в такие моменты всем своим существом благодарил его.

Не будь этого, я никогда бы не смог одолеть тех препятствий и трудностей, которые вставали передо мной в последующей жизни во время моих путешествий.

Сам он вел жизнь до педантизма размеренную, и в выполнении этого был беспощаден к самому себе.

Например, имея обыкновение рано ложиться спать, чтобы рано утром приступить к выполнению заранее намеченного, он в этом отношении не сделал исключения даже в свадебный вечер своей дочери.

В последний раз я видел моего отца в 1916 году. Ему было восемьдесят два года, он был еще полный сил и здоровья, и недавно появившиеся седины еле просвечивались в его бороде.

Жизнь свою он кончил через год после этого моего последнего свидания с ним не своей, а насильственной смертью.

Этот для всех знавших его, и особенно для меня, печальный и прискорбный случай произошел как раз в период последнего большого очередного людского психоза.

Во время наступления турок на город Александрополь, когда семья должна была бежать, он не захотел покинуть свой угол на произвол судьбы и, защищая семейное добро, был ранен турками, вскоре скончался и был похоронен случайно оставшимися там стариками.

Оставшиеся после моего отца записи разных его сказаний и мелодий, сделанных под его диктовку, – которые, по моему мнению, лучше всего могли бы служить памятью о нем, – к несчастью всех мыслящих людей все

погибли во время неоднократных разгромов нашего родного жилища, и может быть только случайно еще уцелели, среди предметов, которые я оставил в Москве, несколько сот валиков с напетыми им вещами.

Будет обидно для ценителей старого народного искусства, если эти валики не смогут быть разысканы.

По моему мнению, это может очень хорошо вырисоваться перед внутренним взором всякого читателя индивидуальность и интеллектуальность моего отца, если я приведу здесь несколько из числа множества его любимых, часто употреблявшихся им во время разговора, так сказать, «субъективных-поговорок».

При этом интересно отметить, что как мною, так и многими другими был замечен тот факт, что когда он сам употреблял в разговоре эти поговорки, то всякому слушающему казалось, что данная поговорка всегда к месту и лучше не скажешь, но если эти же самые поговорки в разговоре употреблялись другими, то получалась какая-то бессмыслица и невероятная чушь.

Эти его субъективные поговорки были вроде следующих:

1. «Без соли сахар не бывает».
2. «Пепел получается от горения».
3. «На то и ряса, чтобы скрывать дураков».
4. «Он глубокий потому, что ты стоишь высоко».
5. «Если священник идет направо, то учитель обязательно должен идти налево».
6. «Если человек трус, это доказывает, что у него есть воля».
7. «Человек насыщается не количеством пищи, а отсутствием жадности».
8. «Истина то, от чего совесть может быть покойна».
9. «Без слона и лошади – и осел великий».
10. «В темноте и вошь хуже тигра».
11. «Если „Я“ в наличии, то и Бог и черт нипочем».
12. «Раз можешь тащить на себе, то это самая легкая вещь на свете».
13. «Представление об аде – в модном сапоге».
14. «Несчастье на земле – от мудрствования женщин».
15. «Тот дурак, кто „умный“».
16. «Счастлив тот, кто не ведает своего несчастья».
17. «Учитель-то – просветитель, а кто же тогда осел?»
18. «Хотя огонь согревает воду, но зато вода тушит огонь».
19. «Чингиз-Хан был велик, но наш жандарм, при желании, еще

больше».

20. «Если ты – один, жена – два; если жена – один, ты лучше будь нуль; только тогда жизнь твоих кур будет в безопасности».

21. «Если хочешь быть богатым, веди дружбу с полицейским.

Если хочешь быть известным, то веди дружбу с репортером.

Если хочешь быть сытым – с тещей.

Если хочешь иметь покой – с соседом.

Если хочешь иметь сон – с женой.

Если хочешь потерять доверие – с попом».

Для более полного обрисования индивидуальности моего отца, надо еще сказать об одной, очень резко ощущавшейся всеми близко знавшими его и редко наблюдающейся в современных людях, присущности его натуры, которая, главным образом, и была причиной того, что с самого начала, когда он обеднев стал заниматься делами для добывания средств жизни, они у него шли настолько неудачно, что все, как близкие, так и сталкивающиеся с ним на деловой почве люди, уверенно считали его непрактичным и даже неумным.

У моего отца действительно всякие дела, производимые им в целях зарабатывания денег, всегда, как говорится, «не-клеились» и не приносили таких результатов, какие получали другие, занимавшиеся теми же делами, но происходило это не от непрактичности его или недостаточности в этом отношении умственных способностей, а как раз из-за сказанной присущности его натуры.

Эту присущность его натуры, очевидно приобретенную им еще с детства, я бы теперь формулировал так:

«Инстинктивная-брезгливость-извлекать-свою-личную-выгоду-из-непрактичности-и-неудач-другого-человека» – т. е. он, будучи честным и в высшей степени порядочным, никогда не мог сознательно строить, так сказать, свое благополучие на несчастьи своего ближнего, и окружающие его, большинство из которых были типичными представителями современных людей, пользуясь его честностью, старались сознательно опутывать его и этим самым несознательно умаляли значение имеющейся в его психике черты, обуславливающей всю совокупность заповедей нашего общего отца для человека.

Короче говоря, в отношении моего отца могла бы до идеала хорошо подойти перефразированная цитата, взятая из Священного Писания, применяющаяся в настоящее время всюду на земле людьми, последователями всех религий, в целях охарактеризования установившихся

ненормальностей обычной жизни и в целях преподания житейского совета:

Бей! – не битым будешь.  
Аще не побьешь – все возлупят тя,  
Яко сидорову козу.

Несмотря на это, т. е. на то, что он случайно часто оказывался в сфере событий, не зависящих от людей и влекущих за собой разные бедствия общечеловеческого характера, и на то, что он со стороны окружающих его людей почти всегда сталкивался с грязными в отношении себя проявлениями, напоминающими проявляемость и сущность шакала, он не падал духом и, никогда ни с чем не сливаясь, оставался внутренне свободным, всегда самим собой.

Отсутствие во внешней его жизни того, что окружающими считалось за благо, его ничуть внутренне не беспокоило; он со всем готов был примириться, лишь бы был хлеб и покой во время установившихся у него часов для созерцаний.

Больше всего ему не нравилось, когда кто-нибудь беспокоил его в то время, когда он по вечерам сидел на открытом месте и смотрел на звезды. Во всяком случае, я в настоящее время могу сказать только одно, что я всем своим существом желал бы мочь быть таким, каким я знал его в старости.

Из-за всяких, не от меня зависящих обстоятельств моей жизни, мне лично не пришлось видеть могилу, в которой покоится прах моего дорогого отца, и навряд ли и в будущем мне придется когда-либо побывать на его могиле, и потому, в заключение этой главы, посвященной отцу, я завещаю кому-либо из моих сыновей, безразлично – по плоти или по духу, когда представится возможность разыскать эту в силу обстоятельств, вытекших главным образом из того человеческого бича, который именуется «чувством-стадности», заброшенную одинокую могилу, поставить надгробный памятник с надписью:

Я ЕСМЬ ТЫ  
ТЫ ЕСИ Я.  
ОН НАШ, МЫ ОБА ЕГО  
ДА БУДЕТ ЖЕ ВСЕ  
ДЛЯ БЛИЖНЯГО СВОЕГО.

## Мой первый наставник

Первым моим наставником, как я уже об этом упомянул в предыдущей главе, был протоиерей Борщ. Он занимал тогда пост настоятеля Карского военного собора и являлся главой духовенства всего этого, не очень давно завоеванного Россией, края.

Он сделался для меня таковым, так сказать, «фактором-второградного-наслоения-для-основной-теперешней-моей-индивидуальности» по совершенно случайно сложившимся житейским обстоятельствам.

Когда я учился в Карском городском училище, как-то раз, из числа учеников этого училища набирали певчих для церковного хора этого самого крепостного собора, и я, обладавший тогда хорошим голосом, попал в число мальчишек певчих и с этого времени стал ходить в эту русскую церковь для пения и спевок.

Глава этой церкви, благообразного вида старик протоиерей, интересуясь новым составом певчих – главным образом потому, что предполагавшиеся в текущем году к исполнению этим хором певчих мелодии разных определенных священных песнопений были его собственного произведения, – начал часто приходить на наши спевки и, любя детей, был с нами, маленькими певчими, очень ласков.

Вскоре он почему-то стал особенно благоволить ко мне, может быть потому, что у меня был выдающийся для детского возраста голос, который даже в большом хору особенно выделялся, когда я вторил, а может быть просто потому, что я был большой баловник, а он любил таких «сорванцов» мальчишек – словом, он стал все более и более проявлять ко мне интерес и вскоре даже начал помогать в приготовлении задаваемых мне в училище уроков.

Однажды, уже в конце года, когда я, заразившись «трахомой», в течение целой недели не посещал церковь, отец протоиерей, узнав об этом, сам пришел к нам в дом в сопровождении двух военных врачей, специалистов по глазным болезням.

В это время был дома и мой отец.

Вот тогда-то, после того, как осмотревшие меня доктора (и решившие прислать сейчас фельдшера делать два раза в день прижигание «купрум-сульфурикум» и через всякие три часа смазывать так называемой «желтой-мазью») ушли, впервые заговорили друг с другом эти два относительно нормально дожившие до старости человека почти с одинаковыми

убеждениями, несмотря на то что они свое образование для ответственного возраста получили при совершенно разных условиях.

С первой же встречи они понравились друг другу, и с этих пор старик отец протоиерей стал часто приходить к моему отцу в мастерскую, где, сидя в задней половине ее на мягких стружках и попивая тут же приготовленный отцом кофе, они часами беседовали на разные религиозные и исторические темы. Как я помню, протоиерей особенно оживлялся, когда отец говорил о чем-нибудь касавшемся Ассирии, из истории которой отец знал многое, и которою отец Борщ в это время почему-то сильно интересовался.

Отцу Борщ уже было тогда под семьдесят лет. Он был высокого роста, худой, с благообразным лицом, не крепкий здоровьем, но твердый и стойкий духом; он был человеком выдающимся по глубине и широте своих знаний, вел жизнь и имел взгляды совершенно отличные от окружающих, которые поэтому считали его за оригинала.

И действительно, внешняя его жизнь давала повод к такому мнению – хотя бы одно то, что, имея хорошие материальные возможности и получая большое содержание и особые квартирные, он занимал только одну комнату с кухней в домике для сторожей при соборе, тогда как его помощники, несколько других священников, получавшие содержание много меньше его, жили в квартирах из шести – десяти комнат со всякими удобствами.

Он вел очень замкнутую жизнь, мало общаясь с окружающими, не ходя по знакомым, и даже его комната ни для кого не была доступна, кроме, в это время, меня и денщика-солдата, и тот последний не мог входить в нее в его отсутствие.

Аккуратно выполняя свои обязанности, отец Борщ все свободное время отдавал наукам, преимущественно астрономии и химии, и иногда для отдыха занимался музыкой, играя на скрипке или сочиняя музыку для духовных песнопений, из которых некоторые очень прославились в России.

Несколько из тех песнопений, которые он сочинил при мне, много лет спустя мне пришлось слышать даже в граммофонном исполнении, как например: «Кто-Бог-Велий», «Свете-Тихий», «Тебе-Поем» и др.

Отец протоиерей к моему отцу приходил часто, главным образом по вечерам, когда они оба были более свободны от житейских обязанностей.

Свои посещения, чтобы, как он говорил, «не-вводить-других-в-соблазн», он старался делать перед посторонними лицами менее заметными, так как мой отец был только простой плотник, а он занимал в городе очень видное положение и почти все знали его в лицо.

Во время одной из бесед, происходившей в мастерской отца в моем присутствии, отец протоиерей стал говорить обо мне и о моем учении.

Он сказал, что видит во мне очень способного мальчика и считает, что мне оставаться в училище и тянуть восьмилетнюю лямку, чтобы по окончании получить аттестат трехклассного училища, бессмысленно.

И действительно, тогдашняя постановка дела в городских школах была крайне несправедливая: училище состояло из восьми отделений с обязательным годичным пребыванием в каждом, а по своим правам приравнивалось к трем классам другого семиклассного, высшего.

Поэтому отец Борщ убедительно советовал отцу взять меня из школы и готовить на дому, причем обещал взять на себя часть уроков. Он говорил, что если в будущем мне будет нужен аттестат, я смогу просто держать экзамен за соответствующее число классов в любом училище.

После семейного совета так и сделали. Я оставил училище, и с этого времени отец Борщ взялся за мое обучение – частью стал сам со мной заниматься, а частью пригласили других учителей.

Учителями моими вначале были находившиеся в это время при соборе кандидаты в священники – Пономаренко и Крестовский, которые, окончив духовную Академию, были причислены к собору в качестве псаломщиков и ожидали назначения на должность военных священников, а также в преподаваемых мне уроках принял участие и врач Соколов.

Пономаренко стал преподавать мне географию и историю, Крестовский – Закон Божий и русский язык, Соколов – анатомию и физиологию, а математике и другим предметам меня учил сам протоиерей.

Я стал заниматься очень усиленно.

Хотя я был очень способным и учение мне легко давалось, но я с трудом успевал готовить свои многочисленные уроки и не имел почти ни одной свободной минуты.

Особенно много времени отнимало хождение с места на место, с квартиры на квартиру к моим учителям, которые жили в разных местах; в особенности далеко было ходить к Соколову, который жил при военном госпитале, находившемся на форте Чахлах, отстоявшем от города в четырех-пяти верстах.

Меня вначале в семье прочили в священники, но у отца Борщ были совершенно особые понятия о том, чем и кем должен быть настоящий священник.

По его понятиям, священник должен был не только заботиться о душе членов своей паствы, но и знать все относящееся к их телесным болезням и уметь врачевать их.

В его представлении обязанность священника сочеталась с тем, что обычно входит в область деятельности врача. Он говорил, что как врач, не имеющий доступа к душе пациента, не может приносить действительной помощи, так нельзя быть и хорошим священником, не будучи в то же время врачом, потому что дух и тело связаны между собою, и нельзя лечить одного, когда причина лежит часто в другом.

И он был склонен, чтобы я получил медицинское образование, но не в обычном смысле этого слова, а такое, как он понимал, т. е. быть врачом тела и духовником для души.

Самого же меня тянуло на совершенно другую житейскую дорогу. Я, имея с детства склонность мастерить разные вещи, мечтал о технической специальности.

Поэтому, так как вначале не было еще окончательно решено, по какой дороге мне идти, я стал готовиться сразу и на священника, и на врача, тем более что многие предметы были необходимы и в том, и в другом случае.

Потом уже само собой продолжалось так, и я, будучи способным, имел возможность успевать по всем направлениям; я даже успевал читать массу книг разнообразного содержания, даваемых мне отцом протоиереем или случайно попадавших мне в руки.

Отец протоиерей, очень усиленно занимаясь со мной по взятым им на себя предметам, часто после уроков оставлял меня у себя, поил чаем и иногда просил напеть какое-нибудь вновь сочиненное им песнопение, чтобы проверить запись голосов.

Во время таких частых и длительных пребываний у него он долго беседовал со мною или на темы проходимых предметов, или на совсем отвлеченные вопросы, и между нами постепенно установились такие отношения, что он стал беседовать со мною как с равным.

Я скоро привык к нему, и бывшее у меня вначале чувство застенчивости исчезло; сохраняя к нему полное уважение, я иногда забывался и вступал в спор, что его ничуть не обижало, а, как сейчас понимаю, даже ему нравилось.

В своих беседах со мною он часто говорил о половом вопросе.

Относительно половой похоти он раз сказал мне следующее:

– Всякий юноша, если эту свою похоть хоть раз удовлетворит до своего совершеннолетия, то от этого получится то же самое, что с историческим Исавом, который за одну ложку похлебки отдал свое первенство, т. е. блага всей своей жизни. Потому что если юноша хоть раз поддастся этому соблазну, он на всю свою жизнь теряет возможность быть настоящим достойным чело веком.

Последствия от удовлетворения похоти до совершеннолетия получаются такие же, как если бы в моллавалинское «Маджари»<sup>[3]</sup> вливать спирт: точно также как от «Маджари», в которое нальют спирт, получится только уксус, так и удовлетворение похоти до совершеннолетия ведет юношу к тому, что он сделается человеком, во всех смыслах, уродом; а когда юноша станет взрослым, тогда он может делать все что угодно – как и «Маджари», когда оно уже вино, то можно сколько угодно в него наливать спирт, оно не только не испортится, но даже от него самого можно получать спирта сколько угодно.

Понятия о мире и о человеке у отца Борщ были очень оригинальны и своеобразны.

Его взгляды на человека и на цель его существования совершенно расходились с понятиями окружающих людей и с тем, что я вообще слышал и выносил из прочитанного об этом.

Я здесь приведу еще некоторые его мысли, из которых можно вынести заключение, какое он имел понимание о человеке и какие предъявлял к нему требования.

Он говорил:

– Человек до совершеннолетнего возраста ни за какие свои, хорошие или плохие, вольные или невольные поступки не ответствен, а ответственны за это окружающие его и взявшие на себя, сознательно или в силу случайных обстоятельств, обязанность подготовить его для совершеннолетней жизни.

Юношеские года всякого человека, как мужского пола так и женского, являются временем для продолжения оформливания до, так сказать, «свершительной-законченности» полученного еще во чреве матери первоначального зачатия.

С этого времени, т. е. с момента законченности своего полного оформливания, человек и становится сам лично ответственным за всякие свои вольные и невольные проявления.

Такое «законченное-оформливание» человека, согласно законам природы, выясненным и проверенным многовековыми наблюдениями людей чистого разума, для мужского пола наступает с двадцати до двадцатитрехлетнего возраста, а для женского пола – с пятнадцати до девятнадцатилетнего возраста, в зависимости от географических условий местности их возникновения и оформливания.

Этот, выясненный мудрыми людьми прошлых эпох, закономерный установленный природой возраст для уже самостоятельного бытия, с личной ответственностью за всякие свои проявления, в настоящее время, к

несчастью, почти совсем не наблюдается, и, по моему мнению, это происходит главным образом благодаря тому небрежному отношению в деле воспитания к половому вопросу, играющему самую важную роль в жизни каждого человека, которое имеется у современных людей.

В смысле ответственности за свои поступки, большинство современных людей, достигших и даже немного перешедших совершеннолетний возраст, как ни странно покажется это на первый взгляд, могут оказаться неотвественными ни за какие свои проявления, и, по моему мнению, это может рассматриваться как бы на законном основании.

Одной из главных уважительных причин для такой несуразности является то, что к этому своему возрасту современные люди, в большинстве случаев, не имеют соответствующего противоположного пола, закономерно долженствующего дополнять их типичность, представляющую собою, по не от них зависящим причинам, а по причинам, вытекшим от, так сказать, «больших-законов», нечто нецельное.

Человек, не имеющий к этому своему возрасту, для пополнения своей нецельной типичности, соответствующего типа противоположного пола, тем не менее, подчиняясь законам природы, не может оставаться без удовлетворения своей половой потребности, и, вступая в контакт с несоответствующим его типичности типом и подпадая, на основании закона «полюсности», в известных отношениях под влияние этого другого, ему несоответствующего типа, невольно и незаметно для себя теряет почти все типичные проявления своей индивидуальности.

Вот почему неизбежно требуется, чтобы всякий человек в процессе своей ответственной жизни имел бы возле себя, для взаимного во всех смыслах дополнения друг друга, особь противоположного пола соответствующего типа.

Такая неизбежная необходимость, между прочим, предусмотрительно хорошо была понята нашими далекими предками, и они почти во все эпохи самой главной задачей, в целях создания условий для более или менее нормальной совместной жизни, считали нужным добиваться как можно лучше и точнее выбора типов двух противоположных полов.

У большинства прошедших народностей имелся даже обычай такие выборы между двумя полами или, как еще говорилось, «обручение» делать непременно на седьмом году мальчика с годовалой девочкой. И с этого времени на обе семьи так рано обрученных будущих супругов накладывалось обязательство взаимно помогать тому, чтобы обычно прививаемые во время роста вообще детей всякие привычки, как то: склонности, увлекаемости, вкусы и т. д., соответствовали у одного с

другим.

Я также помню очень хорошо, как другой раз отец протоиерей еще говорил:

– Чтобы человек в своем совершеннолетию был действительно человеком, а не тунеядцем, воспитание каждого человека в период детства должно базироваться обязательно на следующих десяти правилах.

С детства ребенку нужно внушить:

1. Веру в получение наказания за непослушание.
2. Надежду на получение награды только по заслугам.
3. Любовь к Богу, но безразличие к святым.
4. Угрызение совести от плохого обращения с животными.
5. Боязнь огорчить родителей и воспитателей.
6. Небоязнь чертей, змей и мышей.
7. Радость от довольства только тем, что он имеет.
8. Горе от потери расположения других к себе.
9. Терпеливое перенесение боли и голода.
10. Старание скорее заработать свою еду.

К моему большому прискорбию, мне не пришлось присутствовать при последних днях жизни этого достойного и незаурядного для нашего времени человека, для того чтобы отдать последний долг земной жизни ему, моему незабвенному наставнику, второму отцу.

Только много лет спустя после его кончины, в один воскресный день причт собора и прихожане были очень удивлены и заинтригованы, когда совершенно неизвестный им, местным жителям, человек попросил отслужить полную панихиду над одинокой, забытой могилкой, единственной в ограде собора, и видели, как этот незнакомец, с трудом сдерживая навертывавшиеся слезы, а потом, щедро отблагодарив причт, не глядя ни на кого, велел кучеру ехать на вокзал.

Покойся, дорогой учитель. Не знаю, оправдал ли я и оправдаю ли твои мечты, но данным мне тобою заповедям я до сих пор ни разу во всю жизнь еще не изменил.

## Богачевский

Богачевский, или отец Евлисий, в настоящее время здравствует и счастлив состоять помощником игумена главного монастыря братьев Ессеев, находящегося недалеко от берегов Мертвого моря.

Это братство основано, по некоторым предположениям, 1200 лет до Р. Х. и, как говорят, Иисус Христос свое первое посвящение получил именно в этом братстве.

Богачевского, или отца Евлисия, я в первый раз увидел еще в его молодости, когда он, окончив русскую духовную Академию, был назначен кандидатом в священники и временно в качестве псаломщика состоял при Карском крепостном соборе.

По приезде в Карс он вскоре, по просьбе моего первого наставника, отца протоиерея, согласился заменить по отношению меня недавно уехавшего моего учителя Крестовского, тоже кандидата в священники, получившего пост полкового священника где-то в Польше за несколько недель до этого, и как раз вместо него был назначен Богачевский.

Богачевский оказался человеком общительным, добрым и очень скоро по приезде приобрел расположение всего причта собора, даже ни с кем не ладившего кандидата Пономаренко – человека грубого и, как говорится, «хохловатого» в полном смысле этого слова. Но Богачевский с ним так сошелся, что они даже поселились вместе, сняв общую квартиру вблизи городского сада, недалеко от военной пожарной команды.

Несмотря на то, что я был тогда еще совсем молодым, у меня с Богачевским скоро установились почти товарищеские отношения.

Я стал в свободное время приходить к нему и также, когда бывал у него на уроках, которые происходили после обеда, часто, по окончании их, оставался у него, чтобы или готовить уроки, или слушать разговоры, происходившие между ним и Пономаренко и их знакомыми, часто к ним заходившими, а иногда даже помогал в их несложном хозяйстве.

Среди часто приходивших был один военный инженер, некто Всеславский, земляк Богачевского, и артиллерийский чиновник, механик-пиротехник Кузьмин, и они по обыкновению, за самоваром, разговаривали и спорили о всякой всячине.

К беседам Богачевского со своими приятелями я всегда внимательно прислушивался, так как, читая в этот период массу книг разнообразного содержания на греческом, армянском и русском языках, интересовался

многими вопросами, но естественно никогда, по молодости своих лет, не вмешивался в их разговор.

Мнения этих лиц для меня были авторитетными, потому что в то время я перед ними, как перед людьми с высшим образованием, чувствовал большое преклонение.

Между прочим, как раз эти всякие разговоры и споры собиравшихся у моего учителя Богачевского людей для того, чтобы, как говорится, «убить-время» монотонной жизни этого, тогда совсем окраинного, еще очень скучного города Карса, послужили первоначальным толчком для моего дальнейшего увлечения отвлеченными вопросами.

Ввиду того, что такое мое увлечение сыграло большую роль в моей жизни, положив определенный отпечаток на все мое дальнейшее существование, и так как факты, породившие это увлечение, имели место как раз в тот период времени, с которым связаны мои воспоминания о Богачевском, то я в этой главе остановлюсь на них немного дольше.

Началось это с того, что раз во время таких разговоров у них возник спор о спиритизме и между прочим о «столоверчении», которым в это время все всюду на земле очень сильно увлекались.

Во время спора военный инженер утверждал, что это явление происходит при участии духов; другие же отрицали это, объясняя этот факт другими силами природы: магнетизмом, силой притяжения, самовнушением и т. п., – но существования самого факта никто не отрицал.

Я, по обыкновению, внимательно слушал этот спор, и каждое высказанное мнение меня сильно интересовало.

Мне относительно таких вопросов тогда пришлось слышать в первый раз, хотя я до этого уже читал много, как говорится, «всякой-всячины».

Их разговор о спиритизме тогда произвел на меня особенно сильное впечатление еще и потому, что незадолго до этого умерла моя любимая сестра, и во мне еще не была изжита острота этого горя.

В те дни я часто думал о ней и волею-неволею мне приходили в голову вопросы о смерти и загробной жизни, так что то, что говорилось в тот вечер, отвечало тем мыслям и вопросам, которые бессознательно зародились во мне и требовали разрешения.

Результатом их разговора было то, что они решили сделать опыт со столом.

Для опыта нужен был столик с тремя ножками; у них в углу стоял такой столик, но специалист по этим опытам, военный инженер, этот столик забраковал на том основании, что в нем имелись гвозди, а столик, как он объяснил, должен был быть без железа, и потому меня послали к

жившему по соседству фотографу, спросить, нет ли у него такого столика.

Столик там нашелся, и я его принес.

Это было вечером. Закрыв двери и сделав соответствующее освещение, мы все сели и, известным образом наложив руки на столик, стали ожидать.

Через минут двадцать наш столик действительно начал шевелиться и скоро на вопросы, задаваемые инженером, «сколько кому лет?», стал ножкой выстукивать года.

Как и почему он выстукивал, для меня не было понятно, да я и не пытался объяснить себе этого, так сильно было впечатление от открывшихся передо мной широких, неведомых мне областей.

Слышанное и виденное меня так глубоко взволновало, что я, придя домой, весь вечер и следующее утро думал над этими вопросами и даже решился спросить об этом на другой день во время урока у отца протоиерея, и рассказал ему о бывшем накануне разговоре и проделанном опыте.

– Все это чушь! – ответил мой первый наставник. – Тебе не следует думать и заниматься этими вещами, а надо изучать то, что тебе необходимо знать для твоего будущего сносного существования.

И он не удержался добавить:

– Ну, чеснокина ты голова (это было его любимое выражение), подумай: если духи действительно могут отбивать ножкой стола, значит, они обладают какой-то физической силой, а если так, то зачем им для общения с людьми прибегать к такому идиотскому и вместе с тем сложному способу, как стучание ножкой стола? Они могли бы передавать то, что хотят сказать, или прикосновением, или другими способами.

Как я ни ценил мнения своего старого наставника, я не мог принять его категорический ответ без критики, тем более что мне казалось, что мой молодой преподаватель и его знакомые, будучи людьми кончившими академию и другие высшие учебные заведения, могут знать некоторые факты лучше, чем старик, учившийся еще тогда, когда науки стояли не так высоко, как теперь. Поэтому, при всем моем уважении к старику, я в его взглядах на некоторые вопросы, касающиеся высшей материи, сомневался.

Таким образом этот вопрос остался для меня неразрешенным, и я старался в нем разобраться путем чтения соответствующих книг, которые мне давали Богачевский, отец протоиерей и другие.

Но так как мое учение не позволяло мне долго задумываться над чем-нибудь посторонним, я с течением времени забыл об этом вопросе и успокоился.

Время шло. Мои занятия со всеми моими учителями, в том числе с Богачевским, шли очень усиленно, и я только иногда в праздники ездил к дяде в Александрополь, где у меня было много товарищей, и еще я ездил туда также и для того, чтобы подрабатывать там деньги. Деньги же всегда были нужны как на личные мои расходы – на платье, книги и т. д., так иногда и для помощи кому-нибудь из моей семьи, которая в это время особенно сильно нуждалась.

Я ездил на заработки в Александрополь, во-первых, потому что там все уже меня знали как «мастера-на-все-руки», и всегда то один, то другой звал, чтобы что-нибудь сделать или починить: одному нужно было замок починить, другому часы, третьему вытесать из специального местного камня особенную печку или вышить подушку для приданого или для украшения своих гостиных – словом, у меня там была большая клиентура, всегда было достаточно работы и платили, по тогдашнему времени, довольно прилично, а во-вторых, еще и потому что в Карсе, вращаясь, по своему юношескому пониманию, в «научных» и «высших-кругах», я не хотел, чтобы там считали меня ремесленником, а также чтобы там, где жили мои родители, эти мои знакомые из «высших-кругов» стали как-нибудь подозревать о том, что моя семья нуждается и я принужден зарабатывать деньги на свою жизнь как простой ремесленник.

Все это тогда очень задевало мое самолюбие.

Итак, и в этом году на Пасху я по обыкновению поехал в Александрополь, находящийся всего только в ста десяти километрах от Карса, в семью моего дяди, к которой я был очень привязан и большим любимцем которой я всегда был.

И вот в это мое посещение, на второй же день во время обеда моя тетка, между прочим, сказала мне:

– Послушай, будь осторожнее, чтобы с тобой чего-нибудь не случилось.

Я удивился: что может случиться?! И стал ее расспрашивать, в чем дело.

– Я, – говорит, – и сама не верю, но раз кое-что уже сбылось из того, что мне про тебя напророчили, то боюсь, как бы и остальное не исполнилось.

И она рассказала следующее:

В начале зимы в Александрополе, как всегда, появился юродивый «Еунг-Ашшех» Мардырос, и ей почему-то вздумалось позвать этого гадателя, предсказывавшего будущее.

Она попросила его погадать обо мне. Он ей сказал многое, что мне предстоит, и, по ее словам, часть этого с тех пор уже исполнилась, и тетка действительно указала на факты, бывшие со мной за это время.

– Но, слава богу, – продолжала она, – двух вещей с тобой еще не случилось, а именно он предсказал, что у тебя будет большая язва на правом боку, а также сказал, что в недалеком будущем предстоит с тобой случиться большому несчастью от ружейного выстрела, и потому тебе нужно очень остерегаться там, где стреляют.

В заключение тетка добавила, что хотя этому сумасшедшему и не верит, но лучше мне быть на всякий случай осторожным.

Я сам был очень удивлен тому, что она мне рассказала, потому что уже с месяца два до этого у меня на правом боку действительно появился карбункул, и мне пришлось с ним с месяц возиться и чуть не ежедневно ходить на перевязку в военный госпиталь.

Но я никому об этом не говорил, и даже домашние ничего не знали, тем более тетя, живущая так далеко, не могла знать об этом.

Все-таки я не придавал особого значения рассказу тетки, так как совершенно не верил во все эти гадания, и скоро об этом предсказании совсем забыл.

В Александрополе у меня был один приятель, по фамилии Фатинов, а у него был товарищ, некто Горбакойный, сын командира одной из рот Бакинского полка, расположенного в районе греческой слободки.

Вскоре, кажется через неделю после рассказа тетки, приходит ко мне этот Фатинов и предлагает мне идти с ним и его товарищем на охоту на диких уток.

Они собирались идти на озеро «Аля-Гез», находящееся на склоне горы того же названия.

Я согласился, думая, что это хороший случай отдохнуть; действительно, я за последнее время очень устал, так как занимался очень усиленно, изучая увлекавшие меня книги по невропатологии.

К тому же, я очень любил охоту еще с раннего детства. Раз, когда мне было всего шесть лет, я взял у отца без спроса ружье и отправился на охоту на воробьев, и хотя первый же выстрел свалил меня с ног, но это меня не только не расхолодило, а наоборот, придало жару моей, если так можно сказать, охоте «охотиться».

Конечно, у меня ружье немедленно отобрали и уже повесили его так, что я никак не мог его достать; но я тогда сам смастерил себе из старых ружейных патронов ружье, к которому применил бумажные пистоны, имевшиеся у меня вместе с детским игрушечным ружьем. Это ружье стало

стрелять в цель дробью не хуже настоящего и имело такой успех среди моих товарищей, что они начали заказывать у меня такие ружья, и я, кроме того что стал слыть за замечательного «ружейного-мастера», стал иметь также хороший доход.

Итак, через два дня Фатинов с товарищем зашли за мной, и мы отправились на охоту.

Предстояло идти пешком верст 25; поэтому мы вышли с утра, чтобы не спеша добраться к вечеру на место и с раннего утра поджидать, когда утки начнут подниматься.

Нас было четверо (к нам присоединился еще один солдат, денщик ротного командира Горбакойного); у всех были ружья, а у Горбакойного была даже казенная винтовка.

Придя к озеру, мы, как полагается, развели костер, поужинали, устроили себе шалаш и залегли спать.

Встав до света, мы распределили себе участки по берегу озера и стали ожидать взлета и перелета.

Слева от меня оказался Горбакойный со своей казенной винтовкой; он выстрелил по первой взлетевшей утке, когда она была еще совсем низко, и угодил мне прямо в ногу. К счастью, пуля прошла навывлет, миновав кость.

Конечно, вся охота была этим испорчена. У меня из ноги сильно текла кровь; нога начала болеть, и моим товарищам пришлось всю дорогу меня нести на импровизированных носилках из ружей, так как я не был в состоянии идти.

Дома рана, правда, скоро затянулась, потому что было пробито только мясо, но я долгое время еще прихрамывал.

Такое совпадение с предсказанием местного оракула заставило меня над этим фактом задуматься, и как-то в бытность мою у дяди в другой раз, услышав про то, что «Еунг-Ашшех» Мардырос опять объявился в тех местах, я попросил тетку позвать его, что она и сделала.

Пришедший гадатель оказался высоким, худым человеком с совершенно поблеклыми глазами, с нервными, беспорядочными движениями юродивого; он иногда вздрагивал и все время курил. Это был, несомненно, совершенно больной человек.

Гадание его состояло в том, что он, сидя между двух зажженных свечей, ставил перед собой свой большой палец и долго смотрел на ноготь, пока не впадал в дремоту.

Тогда он начинал говорить то, что в ноге видел; прежде всего говорил, как тот человек сейчас одет, и дальше – что в будущем его ожидает.

Если гадали об отсутствующем человеке, он предварительно спрашивал имя и просил описать детали лица, указать приблизительно направление того места, где он живет, а если можно, то и сказать его года.

В этот раз он, между прочим, еще раз погадал мне.

О выполнении этого его предсказания я когда-нибудь непременно расскажу.

В то лето я, в том же Александрополе, столкнулся с другим явлением, тоже совершенно не поддававшимся тогда для меня объяснению.

Напротив дома моего дяди был пустырь, среди которого была небольшая роща из тополей. Я любил это место и часто уходил под тополя с книгой или с какой-нибудь работой.

Здесь всегда играли ребяташки; это были дети, сходящиеся сюда из ближайших, прилегавших к этому месту нескольких, как там называли, слободок.

Это была пестрая, разноплеменная ватага: тут были и армяне, и греки, и курды, и татары; и при своих играх они производили невероятный шум и галдеж, но это никогда не мешало мне заниматься.

На этот раз я тоже сидел под тополями с работой по заказу одного соседа – написать вензель с именем новобрачных на щите, который должен был быть помещен над дверями его дома, так как другой день должна была быть свадьба его племянницы.

Вместе с именами надо было разместить на щите число и год.

Некоторые сильные впечатления почему-то глубоко врезаются в память, и я сейчас помню, как ломал голову над тем, как покрасивее разместить цифры года 1888.

Я был погружен в свою работу, как вдруг слышу отчаянный крик. Я вскакиваю с места, уверенный, что с кем-нибудь из детей во время игры случилось какое-нибудь несчастье.

Подбежав к толпе, я увидел следующую картину:

Посередине обведенного чертою по земле круга стоит один из мальчиков и, рыдая, делает какие-то странные телодвижения, а остальные в некотором отдалении стоят и хохочут над ним.

Я ничего не понял. Начинаю спрашивать, в чем дело, и узнаю, что мальчик принадлежит к секте «езидов» и что вот вокруг него провели черту, и теперь он не сможет выйти из нее, пока они ее не сотрут. Мальчик, действительно, всеми силами пытался перейти заветную черту, бился, но ничего не мог поделать. Я подбежал, быстро стер с земли черту, и тогда мальчик выбежал из круга и со всех ног пустился бежать.

Это меня так удивило, что я замер в своей позе и долгое время стоял как зачарованный, пока наконец не вернулась моя нормальная способность мыслить.

Хотя я и до этого слышал кое-что об этих «езидах», но мои мысли никогда не останавливались на этом; увиденный же мною воочию и поразивший меня факт заставил теперь задуматься над этим серьезно.

Оглянувшись вокруг и увидя, что мальчишки опять возобновили свои игры, я со своими мыслями вернулся на свое место и принялся за вензель; работа уже не клеилась, но надо было во что бы то ни стало закончить ее.

«Езиды» представляют собою секту, живущую в Закавказье, преимущественно на местностях вокруг Арарата.

Последователей этой секты иногда называют «чертопоклонниками».

Уже много лет после описанного случая, виденного мною тогда в первый раз, я специально экспериментально проверял такого рода феномен и установил, что действительно, если вокруг езида провести замкнутую черту, он самовольно не может выйти из этого круга.

Внутри круга он может двигаться свободно, и чем больше круг, тем, естественно, больше площадь, по которой он может двигаться, но переступить черту он не может – какая-то странная сила, несоизмеримая с его нормальной силой, удерживает его в круге.

Я сам, будучи сильным, не мог вывести из круга слабую женщину – потребовался другой мужчина, одинаковой силы со мной, чтобы вывести ее из круга.

Если езида переносят через черту насильственным образом, он моментально впадает в состояние, именуемое «каталепсия», которое тотчас же проходит, как только его внести обратно.

Попавший в каталептическое состояние езид в нормальное состояние, при насильственном вынесении его из круга, приходит, как нами было выяснено, только спустя от тринадцати до двадцати одного часа с момента впадения в это состояние. Иначе привести его в нормальное состояние ничем невозможно – по крайней мере, я и мои товарищи сделать этого не могли, несмотря на то что тогда уже вполне владели всеми известными современной гипнотической науке способами выведения человека из каталептического состояния; одни только их жрецы могут сделать это путем каких-то «коротких-заклинаний».

Окончив кое-как в этот день вензель и сдав это заказчику, я отправился в русскую слободку, где жили большинство моих товарищей и знакомых, которые, я надеялся, смогут помочь мне разобраться в этом странном явлении.

Русская слободка – это та часть города Александрополя, где жила вся местная интеллигенция.

Надо сказать, что благодаря случайно сложившимся обстоятельствам я с восьмилетнего возраста стал водиться с товарищами, гораздо более старшими меня по годам и принадлежавшими к семьям, по своему общественному положению считавшимся выше моей семьи; точно так же, как это было в Карсе.

В Александрополе в греческой слободке, где раньше жила моя семья, у меня совершенно не было товарищей; все мои товарищи жили на противоположной стороне города, в русской слободке, и это были дети офицеров, чиновников и духовенства.

Туда я часто ходил, так как после того, как познакомился через товарищей с их семьями, постепенно так получилось, что я имел вход почти во все дома русской слободки.

Я помню, первый, с кем я заговорил об этом удивившем меня до крайности явлении, был Ананьев, мой хороший товарищ, тоже намного меня старше.

Он, даже не выслушав меня по конца, авторитетно заявил:

– Эти мальчишки просто сыграли на твоей дурости; они провели тебя и оставили тебя в дураках. Ты лучше посмотри, какая вышла прелесть!

И он, побежав в другую комнату, тотчас же вернулся, надевая на ходу свой новый форменный сюртук (он только что получил службу почтОВО-телеграфного чиновника), и стал звать меня пойти с ним в городской сад.

Я отговорился неимением времени и сразу от него пошел к жившему на той же улице Павлову.

Это был славный малый, но большой пьяница; служил он чиновником казначейства. У них в доме я застал дьякона крепостной церкви, отца Максима, артиллерийского чиновника Артемина, капитана Терентьева, учителя Стольмаха и еще двух других, мало мне знакомых.

Они пили водку и, как только я вошел, сейчас же посадили меня за стол и предложили выпить.

Надо сказать, в этот год я уже начал пить, правда немного, но не отказывался, когда, бывало, предложат.

Началось это с того случая в Карсе, когда я однажды очень усталый, потому что всю ночь учил уроки, только что собирался утром лечь, как вдруг солдат сторож пришел звать меня в собор.

Не помню, в честь чего в этот день должны были служить молебны на одном форте, но в последнюю минуту было решено служить с певчими, и потому разослали сторожей и дневальных по городу собирать их.

То, что я не спал всю ночь, подъем на высокую гору, где находился форт, и самый молебен меня так утомили, что я едва держался на ногах.

На форте после молебна был устроен обед для приглашенных, также был накрыт отдельный стол для певчих. Регент, здоровый пьяница, видя, что я совсем ослаб, уговорил меня выпить рюмку водки.

Выпив, я действительно почувствовал себя лучше, а после второй рюмки вся моя слабость прошла. После этого случая я часто, когда очень утомлялся или нервничал, выпивал одну, две, даже иногда три рюмки.

Также и в этот день я не отказался от рюмки водки, но, как ни уговаривали, второй пить не стал.

Компания была еще не пьяна, так как только начали пить. Я знал порядок опьянения этой теплой компании: первым всегда пьянел отец дьякон. Еще слегка навеселе, всегда начинал возглашать ектенью, почему-то за упокой души благоверного и т. д., почившего Александра I, но сейчас он пока еще сидел мрачный, и потому я не удержался и заговорил о виденном в тот день, но только не так серьезно как с Ананьевым, а немного в шуточном тоне.

Все очень внимательно и с большим интересом выслушали меня, и после того, как я окончил свой рассказ, стали высказывать свое мнение об этом.

Первым заговорил капитан, сказав, что подобное он сам недавно наблюдал – солдаты начертили на земле вокруг одного курда круг, и после этого он чуть ли не в слезах просил их стереть его и не вышел из круга, пока по его, капитана, приказанию солдат не стер кусочек черты, через какое место он и вышел.

– Я думаю, – заметил капитан, – это какой-нибудь обет требует не выходить из замкнутого круга, и они не потому не выходят, что не могут, а потому, что не хотят нарушать обета.

Дьякон сказал следующее:

– Они чертопоклонники, и потому в обычных обстоятельствах черт их, как своих, не трогает, но так как черт тоже подвластный и по службе обязан на каждого человека напустить наваждение, то для виду что ли, он ограничил их независимость, чтобы другие люди не догадались, что они его слуги. Ну вот, все равно как Филипп...

Филипп был полицейский, который стоял на посту на углу улицы и которого эта братия, за неимением иногда никого другого, посылала за папиросами и выпивкой; полицейская служба там тогда была, как говорится, «курам-на-смех».

– Так вот, – продолжал дьякон, – если я, положим, на улице

наскандалю, то этот Филипп обязан непременно повести меня в участок; и для виду, конечно, поведет, чтобы другим не повадно было, а как завернем за угол, он отпустит и вслед непременно скажет: «С вашей милости на чай после!»

Ну, и нечистый так же со своими, с езидами, что ли.

Не знаю, тут же ли он сочинил такое объяснение или оно действительно существовало.

Чиновник сказал, что он про это никогда не слышал и что, по его мнению, ничего такого существовать не может, и очень сожалел, что мы, люди интеллигентные, верим в такие чудеса, да еще голову ломаем.

Учитель Стольмах ответил, что, наоборот, он даже очень верит в сверхъестественные явления и что если сейчас многого еще нельзя объяснить положительной наукой, то он вполне уверен, что при теперешнем быстром прогрессе цивилизации очень скоро современная наука докажет, что все явления из метафизического мира могут быть сведены и объяснены полностью физическими причинами.

– А что касается этого факта, о котором вы говорите, – продолжал он, – я думаю, что это одно из тех магнетических явлений, над которыми сейчас светила науки работают в Нанси.

Он еще что-то хотел сказать, но Павлов прервал его, сказав:

– Ну, черт с ними, со всякими чертопклонниками, дать им всем по полбутылке водки, и тогда никакая черта их не задержит. И потому выпьем за здоровье Исакова!

Исаков был владельцем местного водочного завода.

Эти разговоры не только не успокоили моих мыслей, а наоборот, уйдя от Павлова, я стал еще больше думать об этом, к тому же мне стали приходить в голову сомнения относительно людей, с которыми я до того считался как с образованными.

На другой день утром я случайно встретился с главным врачом 39-й дивизии – доктором Ивановым, который был приглашен к больному соседу армянину, а меня попросили прийти перевести, что скажет доктор.

Доктор Иванов пользовался большой популярностью среди горожан, имел очень большую практику, и я его знал хорошо, так как он часто бывал у дяди.

И вот, после визита к больному, я у него спросил:

– Ваше Превосходительство, – он имел генеральский чин, – будьте добры, объясните мне, почему ездид не может выйти из круга?

– А...это вы относительно чертопклонников? – спросил он. – Это просто истерия.

– Истерия? – переспросил я его.

– Да, истерия.

Потом он понес что-то очень длинное, но из всего того, что он говорил, я понял только то, что истерия есть истерия. Это я и сам знал, так как в библиотеке при Карском военном госпитале не осталось ни одной не прочитанной мной книги по невропатологии и психологии; я их очень внимательно читал, чуть ли не изучая каждую строчку, из-за сильного желания объяснить себе через эти отрасли науки вопрос о столоверчении, и потому я очень хорошо уже понимал, что истерия есть истерия; но мне хотелось узнать кое-что большее.

Чем больше я понимал трудность найти ответ, тем больше меня сосал червяк любознательности. Я несколько дней ходил сам не свой, ничего не хотел делать; я думал и думал об одном: что есть правда? – то ли, что в книгах написано и чему меня учителя учили, или те факты, на которые я все наталкиваюсь?

Скоро случился еще факт, который меня уже окончательно сбил с толку.

На пятый или шестой день после случая с езидом я шел утром к фонтану умываться – там было принято по утрам ходить умываться родниковой водой – и вижу, стоит на углу кучка женщин, о чем-то горячо разговаривающих. Я подошел ближе и узнал следующее:

В эту ночь в татарскую слободку явился «горнах». Этим именем там в народе называли злого духа, который пользуется телами недавно умерших людей и является в их образе, чтобы делать людям, особенно бывшим врагам умершего, всякие пакости.

На этот раз один из таких духов явился в теле вчера похороненного татарина, сына Марьяма-бачи.

О смерти и похоронах этого человека я знал, так как их дом был рядом со старым домом моего отца, где наша семья жила до переезда в Карс и куда вчера я ходил получать квартирную плату с жильцов; зайдя также к некоторым соседним татарам, я как раз видел, как уносили тело покойника.

Я его знал очень хорошо, он даже бывал у нас в доме; это был молодой человек, только недавно поступивший в полицейские стражники.

Несколько дней тому назад во время джигитовки он слетел с лошади, и, как говорили, у него сделался заворот кишок, и хотя какой-то военный доктор, кажется по фамилии Кульчебский, влил в него чайный стакан ртути для выправления кишок, все же бедняк умер, и его по татарскому обычаю, недолго дожидаясь поскорее похоронили. И вот, якобы злой дух вселился в

его тело и хотел притащить его к нему домой, но кто-то, случайно увидя это, поднял тревогу, ударил в набат, и добрые соседи, чтобы не допустить злого духа наделать больших бед, скорее зарезали его, а тело опять унесли на кладбище.

Там среди последователей христианской религии имеется даже поверье о том, что такие духи вселяются почти исключительно в татар, так как по татарскому обычаю могилу сразу не засыпают, а только прикрывают землей, и часто в могилу кладут пищу; вытащить же тело христианина, засыпанное как следует землей, духу трудно, и потому он предпочитает татар.

Этот случай меня окончательно ошеломил. Как я мог себе все это объяснить? Что я знал? Вот я смотрю: сейчас стоят на углу и тоже об этом разговаривают дядя, почтенный Георгий Меркуров, его сын, гимназист пятого класса, и чиновник полицейского управления, считающийся всеми людьми почтенным человеком; все они жили куда больше моего, знают, небось, много такого, что мне и не снилось. Видно ли на их лицах возмущение, печаль или удивление? Нет, даже кажется радуются, что и на этот раз людям удалось наказать этого духа и предотвратить его проделки.

Я опять предался чтению книг и думал через них удовлетворить сосущего меня червяка.

Много в этом мне помогал Богачевский, но, к сожалению, он скоро уехал, так как через два года после приезда его в Карс он получил в одном из городов Закаспийской области место гарнизонного священника.

Пока он жил в Карсе и был моим учителем, он ввел в наши взаимные отношения одну особенность, а именно: он каждую неделю меня исповедывал, хотя и не был еще священником, и, переехавши оттуда, между прочим велел мне каждую неделю писать мою исповедь и посылать ее ему в письме, обещав мне иногда отвечать.

Мы условились, что он свои письма будет посылать через моего дядю, который будет мне их передавать или посылать. Но Богачевский там, в Закаспийской области, через год постригся и вышел из священнического сословия.

Как тогда некоторые говорили, причиной этого поступка была его молодая жена, которая будто бы имела какой-то роман с каким-то офицером, и Богачевский прогнал ее от себя, а сам не захотел больше оставаться не только в этом городе, но и священником.

Вскоре после отъезда Богачевского я уехал из Карса в Тифлис.

За это время от Богачевского я получил два письма через моего дядю,

после которых я несколько лет не имел никаких сведений о нем.

Много позже я раз, совершенно случайно, встретил его в городе Самаре, когда он выходил из квартиры тамошнего архиерея; он уже был в одеянии монаха одного известного монастыря.

Он сразу меня не узнал, так как я за это время очень возмужал и изменился, но когда я себя назвал, очень мне обрадовался, и мы в течение нескольких дней часто встречались, до тех пор пока оба не уехали из Самары.

После этой встречи я с ним больше не встречался.

Как я впоследствии узнал, он не захотел оставаться в своем монастыре в России и вскоре уехал в Турцию, а потом на Святой Афон, где пробыл тоже недолго – он в скором времени совсем отрекся от монашества и уехал в Иерусалим.

Там Богачевский случайно встретился и подружился с одним продавцом четок, торговавшим около храма Господня.

Этот торговец был монахом братства Ессеев, и он подготовил постепенно Богачевского, ввел его в свое братство, где его за примерную жизнь назначили экономом, а спустя несколько лет – игуменом в одно из отделений этого братства в Египте, а после, по смерти одного из помощников игумена главного монастыря, Богачевский был взят на это место.

Об его необыкновенной жизни в этот период я многое узнал в Бруссе, из рассказов одного моего приятеля, турецкого дервиша, который часто встречался с ним. За это время я от Богачевского имел одно письмо, опять через моего дядю. В этом письме, кроме написанных нескольких слов благословения, была вложена его небольшая фотографическая карточка, снятая в одежде греческого монаха, и несколько видов святых мест в окрестностях Иерусалима.

Богачевский, когда еще был в Карсе кандидатом в священники, высказывал очень оригинальный и своеобразный взгляд на мораль.

Он тогда говорил и учил меня, что на земле существуют две морали: одна объективная, тысячелетиями установленная жизнью, а другая – субъективная, не только в смысле отдельной личности, но и в смысле целой нации, государства, семьи, отдельной корпорации и т. д.

– Объективная мораль, – говорил он, – устанавливается жизнью или заповедями, даваемыми нам самим Господом Богом через своих пророков, и постепенно становится базой для образования в человеке того, что называется совестью, и, в свою очередь, этой совестью впоследствии

поддерживается сама объективная мораль. Объективная мораль никогда не изменяется, может только с течением времени расширяться. Что касается субъективной морали, то она, выдуманная людьми, является понятием относительным и неодинакова для разных людей и разных мест, и строится на том понимании хорошего и плохого, которое в данное время считается за таковое.

Например, здесь в Закавказье, – сказал Богачевский, – если женщина не закроет лица и заговорит с гостем, ее все будут считать безнравственной, испорченной, невоспитанной. А в России, наоборот, если женщина, как в Закавказье, закроет лицо и не покажется гостю и не займет его своими разговорами, то ее будут все считать невоспитанной, грубой, нелюбезной и т. д.

Еще пример: здесь в Карсе, если какой-нибудь человек в неделю или, в крайнем случае, в две недели раз не пойдет в баню, то все окружающие его возненавидят и будут чувствовать к нему брезгливое чувство, даже могут ощущать исходящий от него плохой запах, которого может быть и нет. А в Петербурге сейчас – наоборот: если человек ходит в баню, то его считают невоспитанным, неинтеллигентным, деревенщиной и т. д., и если случайно кто-нибудь и пойдет в баню, то он будет это скрывать от других, чтобы ему не приписывали таких невыгодных для него свойств.

Очень хорошо, – продолжал Богачевский, – могут объяснить относительность понятий о так называемых нравственных поступках, или поступках чести, два громких события, случившихся на прошлой неделе у нас в Карсе среди офицерства.

Первое – суд над поручиком Х., а второе – самоубийство поручика Макарова.

Поручика Х. судили за то, что он ударил по лицу сапожника Иванова так, что у того вытек левый глаз. Суд его оправдал ввиду выяснения следствием того, что сапожник Иванов очень приставал к поручику Х. и везде распространял про него оскорбительные слухи.

Очень заинтересовавшись этой историей, я, не обращая внимания на данные следственного материала, решил пойти к семье этого несчастного и расспросить и его знакомых, чтобы выяснить себе, что в действительности послужило причиной такого поступка со стороны поручика Х.

Как я узнал, этот поручик заказал сапожнику Иванову сначала одну, потом еще две пары сапог, а деньги обещал занести двадцатого числа, когда получит жалованье. Когда двадцатого поручик денег не занес, Иванов пошел к нему на дом спросить свои, причитавшиеся ему деньги, и офицер обещал уплатить завтра, а завтра отложил опять на завтра, словом, он

долгое время кормил Иванова, как говорится, «завтраками», а Иванов – ходил и ходил, потому что эти, следовавшие ему деньги были для него очень большими; в них было почти все его состояние и долголетняя экономия его жены, прачки, которая по копейке собирала их, эти деньги, и потом отдала своему мужу на покупку материала для сапог поручика.

Сапожник Иванов ходил за долгом еще потому, что он имел шесть малолетних детей, которые все хотели есть.

Хожение Иванова офицеру в конце концов надоело, и он сначала приказывал своему денщику говорить Иванову, что его нет дома, а потом стал просто прогонять его, угрожая даже упечь его в тюрьму.

В последний раз поручик приказал своему денщику избить Иванова как следует, если он опять придет.

Денщик, как человек жалостливый, когда Иванов пришел, не избил его, как приказал его начальник, а хотел добром уговорить не надоедать его Высокородию своими частыми приходами, и для разговора пригласил его в кухню, где Иванов сел на табуретку.

В это время денщик ощипывал гуся для жарения.

Видя это, Иванов заметил: «Вот господа едят каждый день жареных гусей и не платят своих долгов, а мои дети каждый день сидят впроголодь!»

В это время поручик Х. случайно зашел в кухню и услышал слова Иванова. Это его так взбесило, что он взял со стола большую свеклу и ударил Иванова по лицу настолько сильно, что у него вытек глаз.

Второе событие, в противоположность первому, заключалось в том, что некий поручик Макаров, вследствие того, что не мог заплатить долга одному капитану Машвелову, сам покончил с собою.

Надо сказать, что этот Машвелов, страстный картежник, был, как говорят, большим пройдохой. Не было дня, чтобы он кого-нибудь не обыграл; всем было очевидно, что он шулер и играет в карты нечисто.

И вот, недавно поручик Макаров играл в офицерском собрании в карты в компании, в которой был и Машвелов, и проиграл, кроме всех имеющихся у него денег, еще взятые займы у этого Машвелова, которому он обещал возвратить их в течение трех дней.

Так как сумма была большая, поручик Макаров в течение трех дней не смог достать их для отдачи Машвелову и, не будучи в состоянии выполнить данного слова офицера, решил, что лучше застрелиться, чем не поддержать чести офицера.

Оба эти события произошли из-за денежного долга. Один выбивает глаз тому, кому он должен, а другой, по той же причине, лишает себя

жизни. Почему это так? Просто потому, что Макарова все окружающие за неотдачу долга шулеру Машвелову будут всячески осуждать, а что касается сапожника Иванова, то если даже все его дети умрут, это в порядке вещей. Ведь в понятия об офицерской чести не входит отдача долга сапожнику.

Вообще же, повторяю, подобного рода поступки у взрослых людей происходят исключительно вследствие того, что люди своих детей до известного возраста, когда еще оформливается будущий человек, начинают разными условностями и не дают возможности самой природе постепенно развивать в них совесть, которая тысячелетиями образовывалась, благодаря борьбе наших предков с этими условностями.

Богачевский часто уговаривал меня не учиться никаким условностям – ни того круга людей, среди которых я живу, ни других людей.

Он говорил:

– От начинения себя условностями и образуется субъективная мораль. А для настоящей жизни требуется мораль объективная, исходящая только от совести.

Совесть везде одинакова: какова она здесь, такова и в Петербурге, в Америке, в Камчатке и на Соломоновых островах. Ты сегодня находишься здесь, а завтра, может быть, в Америке; если у тебя будет настоящая совесть и ты будешь жить по ней, то где бы ни жил, везде будет хорошо.

Ты сейчас еще совсем молодой, ты еще не в жизни. Пусть в настоящее время здесь каждый называет тебя невоспитанным; пусть ты не умеешь расшаркиваться, как полагается, или говорить о вещах, как принято здесь говорить, лишь бы, когда ты будешь взрослый и войдешь в настоящую жизнь, ты имел настоящую совесть, т. е. фундамент объективной морали.

Субъективная мораль – понятие относительное; если же ты будешь заполнен понятиями относительными, то везде и всюду, когда вырастешь, будешь поступать и судить о других по приобретенным тобою условным взглядам и понятиям.

Учиться надо не тому, что окружающими людьми считается плохим или хорошим, а тому, чтобы приучить себя поступать в жизни так, как подсказывает тебе твоя совесть.

Свободно выросшая совесть всегда будет знать больше, чем все книги и учителя вместе взятые. Пока же у тебя еще не оформилась твоя собственная совесть, живи по заповеди нашего учителя Иисуса Христа: «не-делай-никому-ничего-такого-чего-сам-не-желаешь-чтобы-тебе-делали-другие».

Отец Евлисий, в настоящее время уже преклонного возраста, случайно

стал одним из первых на земле людей, сумевших жить так, как того хотел для всех наш Божественный Учитель, Иисус Христос.

Да будут его молитвы на помощь всем желающим мочь существовать по Истине!

## Мистер Х., или капитан Погосьян

Саркис Погосьян, или, как его теперь называют, Мистер Х., в настоящее время является владельцем нескольких океанских пароходов, одним из которых, курсирующим по его любимым местам между Зондскими и Соломоновыми островами, он управляет сам.

Саркис Погосьян, родом армянин, родился в Турции, а детство провел в Закавказье, в городе Карсе.

Мое знакомство и сближение с ним произошли, когда он еще совсем молодым кончал курс духовной академии в Эчмиадзине и собирался стать священником.

Я еще до встречи с ним знал о его существовании от его родителей, которые жили в Карсе по соседству с моим отцом и бывали часто у него.

Я знал, что у них есть единственный сын, который раньше учился в ереванском «Темаган-Дпрец» (духовной семинарии), а теперь учится в Эчмиадзинской духовной академии.

Родители Погосьяна были родом из Эрзерума и переселились в Карс вскоре после взятия его русскими.

Отец его имел профессию «паяджи»<sup>[4]</sup>, мать была золотошвейкой по вышивке нагрудников и поясов для «джуппэ»<sup>[5]</sup>.

Живя сами очень скромно, они все тратили на сына, чтобы дать ему хорошее образование.

Саркис Погосьян редко приезжал к своим родителям, и мне ни разу не случилось видеть его в Карсе. Моя первая встреча с ним состоялась, когда я впервые был в Эчмиадзине.

Когда я, перед отъездом туда, заехал ненадолго в Карс повидаться с отцом, то родители Погосьяна, узнав, что я скоро еду в Эчмиадзин, попросили меня отвезти сыну небольшой сверток с каким-то бельем.

Я тогда отправлялся в Эчмиадзин в целях все того же искания ответа на вопросы о сверхъестественных явлениях, интерес к которым за это время у меня не только не уменьшился, но еще больше возрос.

Надо сказать, что я, сильно заинтересовавшись, как я об этом упоминал в предшествовавшей главе, сверхъестественными явлениями, набросился на книги, ища в них объяснения этим явлениям, а также обращался за разъяснениями их к людям науки, и после того, как ни в книгах, ни у людей, с которыми мне приходилось встречаться, я не нашел удовлетворяющих меня ответов, я стал искать их в религии и начал ездить

по разным монастырям и к людям, про религиозность которых я слышал; я читал Священное Писание, Жития Святых, был даже в этот период три месяца послушником у знаменитого отца Евлампия в Санаинском монастыре и посетил за это время почти все имеющиеся в большом количестве в Закавказье «Святые-Места» разных вер.

За это время мне пришлось быть свидетелем целого ряда еще новых фактов, вполне очевидных, но не поддававшихся никакому объяснению, которые сбивали меня еще больше, как говорится, «с-панталыку».

Например, раз, когда я отправился с одной компанией из Александрополя на престольный праздник в место, известное среди армян под наименованием «Амена-Пркец», что у горы Джаджур, я был очевидцем следующего случая:

Туда из местечка Палдерван везли на телеге больного – паралитика.

Я встретил его в дороге и, идя вместе, заговорил с сопровождавшими его родственниками.

Этот паралитик, которому было тридцать лет, болел уже шестой год. До этого он был совершенно здоров и даже служил на военной службе.

Болеть он стал после возвращения со службы домой, перед самой женитьбой: у него совершенно отнялась вся левая половина тела, и до сих пор, несмотря на всякие лечения у докторов и знахарей, ничто не помогало; его даже специально возили на лечение на Кавказские Минеральные Воды, и теперь родственники на всякий случай собрались отвезти его сюда, в «Амена-Пркец», в надежде, что может быть святой поможет и облегчит его страдания.

По дороге к этому святому месту мы, как это делают обычно все богомольцы, завернули в деревню Дыскянт, помолиться находившейся в одной армянской семье чудотворной иконе Спасителя.

Так как больной тоже захотел помолиться, то его внесли в дом, и мне самому пришлось помочь нести этого несчастного.

Вскоре после этого мы пришли к подошве горы Джаджур, на склоне которой и находилась церковка с чудотворной гробницей святого.

Мы остановились на том месте, где паломники обыкновенно оставляют свои телеги, арбы и фургоны, так как колесная дорога тут кончается, и откуда они поднимаются с четверть километра пешком, причем многие, как это там в обычае, идут босиком, а многие проходят это расстояние даже на коленях или еще каким-нибудь особенным образом.

Когда паралитика сняли с арбы, чтобы понести его наверх, он вдруг воспротивился этому, пожелав попытаться ползти, как сможет, сам.

Его опустили на землю, и он пополз на своей здоровой половине.

Он это делал с таким трудом, что на него жалко было смотреть; тем не менее он отказывался от всякой помощи.

Часто отдыхая по дороге, он наконец, часа через три, приполз наверх, дополз до гробницы святого, находившейся в середине церковки, и, поцеловав надгробный камень, тут же потерял сознание.

Родные его, с помощью священника и моей, стали приводить его в чувство, влили ему в рот воды, намочили голову.

И вот, когда он пришел в себя, тут-то и произошло чудо. У него не стало паралича.

В первый момент сам больной был ошеломлен; но когда наконец осознал, что все его члены действуют, он вскочил и чуть не бросился танцевать, но тут же спохватился и с криком бросился ниц и начал молиться.

За ним сейчас же весь народ, во главе со священником, пал на колени и тоже стал молиться.

Потом священник встал и среди коленопреклоненных молящихся стал служить благодарственный молебен святому.

Другой случай, не менее озадачивший меня, имел место в Карсе.

В том году в Карской области стояла необычайная жара и засуха; почти все посева выгорели; угрожал голод, и среди народа было большое волнение.

Как раз в это лето в Россию приезжал от Антиохийского Патриархата один архимандрит с чудотворной иконой – не помню, Николая Чудотворца или Божьей Матери, – для сбора денег в помощь, кажется, грекам, пострадавшим от критской войны.

Он ездил с этой иконой преимущественно по тем городам России, где было греческое население, и приехал также в Карс.

Не знаю, была ли подкладка тому политическая или религиозная, но русские власти тут, как и везде, принимали участие в устройстве торжественной встречи и оказании всякого рода почестей.

Когда архимандрит приезжал в какой-нибудь город, икону возили по всем церквам, откуда причт выходил с хоругвями и устраивал ей очень торжественную встречу.

На другой день после приезда этого архимандрита в Карс распространился слух, что за городом всем духовенством перед этой привезенной иконой будет совершен особый молебен о ниспослании дождя; и действительно, в назначенный день после двенадцати часов со всех церквей города пошли с хоругвями и иконами в назначенное за

городом место.

В этом шествии приняли участие старая греческая церковь, только что вновь отстроенный греческий собор, крепостной военный собор и полковая церковь кубанского полка, и к ним же присоединилось духовенство армянской церкви.

В этот день стояла особенно сильная жара.

В присутствии почти всего города духовенство, во главе с приезжим архимандритом, отслужило торжественный молебен, после чего вся процессия двинулась обратно в город.

И тут произошло нечто такое, к чему неприменимы абсолютно никакие объяснения современных людей: внезапно небо стало понемногу заволакиваться тучами, и не успели еще горожане подойти к городу, как полил такой дождь, что все промокли, как говорится, «до-нитки».

В объяснение этого факта, как и других ему подобных, можно было бы, конечно, употребить излюбленное нашими, так называемыми «мыслящими-людьми», стереотипное слово «совпадение», но нельзя не признать, что оно было уже чересчур разительным.

Третий случай был в Александрополе, куда моя семья снова перебралась и где жила опять в своем доме.

Рядом с нашим домом был дом моей тетки.

Одну из квартир в ее доме снимал татарин, служивший в местном уездном управлении не то письмоводителем, не то делопроизводителем.

Он жил со старухой-матерью и с сестрой – маленькой девочкой.

Вскоре он женился на красивой девушке, татарке из соседнего местечка Карадах.

Все шло хорошо, но когда молодая через сорок дней после свадьбы, по татарскому обычаю поехала на побывку к родным, она там простудилась, или что-то такое другое с ней случилось, но вернувшись домой, почувствовала себя плохо, слегла в постель и постепенно сильно расхворалась.

Ее начали лечить, но несмотря на то, что ее лечило много докторов, между которыми были, как я помню, городской врач по фамилии Резник и бывший военный врач Кильчевский, состояние больной все ухудшалось.

Между прочим, по предписанию врача Резника к ней каждое утро приходил мой знакомый фельдшер делать впрыскивание.

Этот фельдшер – не помню его фамилии, помню только, что он был невероятно высокого роста, – по дороге часто заезжал к нам, когда я был дома.

Однажды утром он зашел, когда мать и я пили чай; его тоже усадили за стол, и я в разговоре между прочим спросил его о состоянии здоровья нашей соседки, на что он ответил, что ее дело совсем плохо, так как у ней «скоротечная-чахотка», и скоро она наверно, как он выразился, «тогось».

Пока он сидел у нас, к нам зашла старуха, свекровь больной, и попросила мою мать разрешить ей нарвать в нашем садике немного тычинок от роз, и со слезами рассказала, что сегодня ночью больной во сне явилась «Марьям-Ана» – так татары называют Матерь Божью – и велела ей нарвать тычинок от роз, сварить их на молоке и выпить.

И вот она, старуха, хочет сделать это, чтобы успокоить больную. Услышав это, фельдшер рассмеялся.

Мать, конечно, разрешила и даже пошла ей помогать.

Проводив фельдшера, я также пошел им помочь.

Каково же было мое удивление, когда на следующее утро, идя на базар, я встретил старуху вместе с больной, идущими из армянской церкви Сев-Жам, где находится чудотворная икона Божьей Матери. А через неделю я ее увидел уже моющей окна их квартиры.

Кстати замечу, что доктор Резник объяснил это казавшееся чудом выздоровление делом случая.

Наличие таких несомненных, виденных мною воочию, а также и наличие многих других, в этом же духе, фактов, о которых я слышал за это время моих исканий, наводящих мысль на существование чего-то сверхъестественного, никак не могло мириться с тем, что мне говорил мой здравый смысл и что с ясностью доказывали мне имевшиеся у меня уже широкие познания в точных науках – т. е. не могло мириться с недопустимостью существования сверхъестественных явлений.

Это противоречие в моем сознании не давало мне успокоиться и было тем более непримиримо, что факты и доводы в пользу того и другого были равносильны, и я продолжал свои искания в надежде, что когда-нибудь, где-нибудь я наконец найду нужный ответ на постоянно преследовавшие меня, неразрешимые пока что вопросы.

Вот эта цель и привела меня, между прочим, также в Эчмиадзин, как в место, являющееся центром одной из больших религий, где я надеялся найти хоть какую-нибудь нить к разрешению мучивших меня вопросов.

Эчмиадзин, или как его еще называют, «Вагаршапат», является для армян тем же, чем Мекка для мусульман и Иерусалим для христиан.

Здесь – резиденция Католикоса всех армян, здесь же центр армянской культуры.

В Эчмиадзине ежегодно осенью происходят большие религиозные торжества, на которые съезжается масса богомольцев не только со всех концов Армении, но также со всего света.

Еще за неделю до начала торжеств все окрестные дороги полны богомольцев,двигающихся одни – пешком, другие – на арбах или в фургонах, третьи – верхом на лошадях и на ослах.

Я, в компании с другими богомольцами из Александрополя, пошел пешком, положив свои вещи на молоканский фургон.

По прибытии в Эчмиадзин, я, как это было в обычае, прямо отправился, как там говорят, «на-поклон» по всем святым местам.

После этого пошел в город искать себе пристанища. Но найти его оказалось невозможно, так как все постоянные дворы (тогда гостиниц еще не существовало) были заняты и переполнены, и я решил сделать так, как поступают многие, а именно, просто пристроиться за городом под арбами или фургонами.

Так как было еще рано, то я решил прежде всего выполнить поручение – разыскать Погосьяна и передать ему сверток.

Он жил недалеко от главного подворья, в доме одного своего дальнего родственника – архимандрита Суреньяна.

Я застал его дома и увидел, что он по возрасту был почти такой же, как и я; был среднего роста, брюнет, с небольшими еще усиками, с глазами обычно очень печальными, по временам разгоравшимися огнем, а иногда с небольшой косинкой в правом глазу.

Выглядел он тогда очень хилым и застенчивым.

Он стал меня спрашивать про своих и, узнав в разговоре, что мне не удалось найти помещения, куда-то побежал и, вернувшись, предложил мне остановиться у него в комнате.

Я, конечно, согласился и сейчас же пошел и принес из фургона свой, как говорится, «хабур-чубур», и когда с его помощью приспособил себе постель, нас позвали к отцу Суреньяну поужинать. Отец Суреньян ласково встретил меня и стал спрашивать о семье Погосьяна и кое-что об Александрополе.

После ужина я с Погосьяном отправились осматривать город и святыни.

Надо сказать, что в Эчмиадзине на улицах в это время царит всю ночь большое оживление, все кофейни и «ашханы» открыты.

Весь этот вечер и все последующие дни мы бывали вместе; он меня всюду водил, как знающий все ходы и выходы.

Мы заходили в такие места, куда обычных богомольцев не пускают, и

даже были в «Химнадаране» – месте, где хранятся драгоценности Эчмиадзина, куда уже совсем редко кого пускают.

Мы с Погосьяном скоро очень сблизились, и постепенно нас связали тесные узы, так как из разговоров выяснилось, что те вопросы, которые волновали меня, интересовали также и его, и у него и у меня по этим вопросам было много материала, которым мы делились, и понемногу беседы наши становились все задушевнее и интимнее.

Он был в предпоследнем классе духовной академии и готовился через два года стать священником, но душевное состояние его не соответствовало этому.

Насколько он был религиозен, настолько же он критически относился к окружающей обстановке, и ему сильно претило попасть в среду священников, жизнь которых не могла не казаться ему совершенно противоречащей его идеалам.

После, когда мы с ним подружились, он мне рассказывал многое о закулисной стороне жизни тамошнего духовенства, и мысль, что, став священником, он попадет в эту среду, заставляла его внутренне страдать и чувствовать вообще какую-то неудовлетворенность.

В Эчмиадзине я пробыл после праздников еще три недели и, живя вместе с Погосьяном в доме архимандрита Суреньяна, имел случай не раз беседовать на волновавшие меня темы как с самим архимандритом, так и с другими монахами, с которым он меня знакомил.

В результате, за время моего пребывания в Эчмиадзине я не нашел того, чего искал, и этого времени было для меня достаточно, чтобы ясно отдать себе отчет в том, что и здесь я этого не найду, и я уехал обратно с чувством, как можно было бы сказать, «подвнутреннего-разочарования».

С Погосьяном мы расстались большими друзьями и обещали друг с другом переписываться и делиться наблюдениями в той области, которая интересовала нас обоих.

Через два года после этого, в один прекрасный день Погосьян приезжает в Тифлис и останавливается у меня.

За это время он уже окончил академию, съездил в Карс, пожил немного с родными, и ему оставалось только жениться, чтобы получить приход. Его близкие даже уже подыскали ему невесту, но сам он находился в полной нерешительности и не знал, что ему предпринять.

Я в это время служил при Тифлисском железнодорожном депо в качестве кочегара, уходил из дому рано утром, а приходил только вечером.

Погосьян целыми днями лежал и все время читал всякие имевшиеся у

меня в то время книги, а по вечерам мы вместе ходили в Муштаид и, гуляя по глухим аллеям, все разговаривали и разговаривали.

Раз, гуляя по Муштаиду, я ему шутя предложил пойти со мной работать в железнодорожном депо и был очень удивлен, когда на другой день он пристал ко мне, чтобы я помог ему устроиться в депо.

Я не стал отговаривать его и направил его с запиской к моему хорошему знакомому, инженеру Ярославу, который сейчас же дал ему рекомендательное письмо к начальнику депо, и его приняли на должность помощника слесаря.

Так продолжалось до октября. Мы продолжали увлекаться отвлеченными вопросами, и Погосьян не думал возвращаться домой.

Раз, в доме инженера Ярослава я познакомился с вновь приехавшим на Кавказ для разбивки пути предположенной железной дороги между Тифлисом и Карсом инженером Васильевым.

После нескольких моих встреч с ним он однажды предложил мне поехать вместе на разбивку в качестве десятника, с тем чтобы быть одновременно и переводчиком. Предложенное им мне жалованье было очень соблазнительным, превышая почти в четыре раза то, что я до этого зарабатывал, и так как моя должность мне уже надоела и начинала меня стеснять в моих основных работах, и к тому же выяснилось, что я буду иметь много свободного времени, – то я согласился.

Погосьян же, на мое предложение поехать вместе со мной в качестве кого-нибудь, отказался, так как заинтересовался слесарной работой и желал продолжать начатое дело.

С этим инженером я пропутешествовал три месяца по ущельям между Тифлисом и Караклисом и заработал очень хорошо – кроме официального жалованья я тогда имел несколько неофициальных, довольно предосудительного свойства побочных доходов.

Заранее зная, мимо каких деревень и городков будет проложен железнодорожный путь, я подсылал кого-нибудь к власти имущим этих деревень и городков с предложением, что я могу устроить так, чтобы путь был проложен именно по этим местам. В большинстве случаев предложение мое принималось, и я «за-хлопоты» получал негласную мзду, выражавшуюся иногда довольно крупной суммой.

Когда я вернулся в Тифлис, то вместе с тем, что осталось от прежнего заработка, у меня образовалась крупная сумма денег, и поэтому я не захотел опять пристраиваться на службу, а посвятил себя всецело изучению разных заинтересовавших меня явлений.

Погосьян в это время имел уже должность слесаря и в то же время

успел прочесть массу книг.

Он читал и интересовался в последнее время, главным образом, древней армянской литературой, которую он доставал в большом количестве у тех же букинистов, где и я.

За это время я и Погосьян пришли к определенному выводу, что действительно есть «что-то-такое», о чем прежде людям было известно, но что теперь это знание совершенно забыто.

Найти какую-либо руководящую нить к этим знаниям в современной точной науке и вообще в современных книгах и у людей мы потеряли всякую надежду и все свое внимание направили на древнюю литературу.

Раз мы с Погосьяном случайно достали много книг древнеармянской литературы и, сосредоточив наш интерес на них, решили поехать в Александрополь и там искать уединенное место, где бы мы могли отдаться всецело их изучению.

Приехав в Александрополь, мы таким местом избрали уединенные развалины древней столицы Армении – Ани, находящейся в пятидесяти километрах от города Александрополя, и, устроив на самых развалинах шалаш, стали там жить, доставая провизию из соседних деревень или у пастухов.

Ани стал столицей армянских царей Багратидов в 962 году. Он был взят византийским императором в 1046 году, и в то время уже назывался «Город-Тысячи-Церквей».

Потом он был взят турками-сельджуками. С 1125 года по 1209 он пять раз брался грузинами. В 1236 году был взят монголами, а в 1319 году был окончательно разрушен землетрясениями.

Среди развалин есть, между прочим, остатки Патриаршей церкви, законченной в 1010 году, двух церквей одиннадцатого века и еще одной церкви, законченной только в 1215 году.

В этом месте моих писаний я не могу обойти молчанием один факт, который, по моему мнению, может оказаться небезынтересным для некоторых читателей, а именно, что за все время моей писательской деятельности единственно только эти, сейчас мною приведенные касательно древней столицы Армении – Ани, исторические данные, являются первыми и, как я надеюсь, последними справками, которые я заимствую из уже известных на земле сведений, т. е. это первый случай, когда я прибегаю к помощи энциклопедического словаря.

Об этом городе Ани еще по сей час существует одна очень интересная легенда, объясняющая, почему он раньше назывался «Городом-Тысячи-Церквей», а потом стал называться «Городом-Тысячи-и-Одной-Церкви».

Содержание этой легенды следующее:

Раз жена одного пастуха стала жаловаться своему мужу о безобразиях, творящихся в церквах. Она говорила:

– Нет места для спокойной молитвы; куда ни придешь, везде в церквах полно и шумно, как в пчелином улье.

И пастух, вняв справедливому возмущению своей жены, приступил к постройке церкви специально для нее.

В прежние времена слово «пастух» имело не такое значение, какое оно имеет теперь.

Прежний пастух являлся сам владельцем тех стад, которые он пас, и прежних времен пастухи считались самыми богатыми людьми; некоторые имели даже несколько стад.

Этот пастух, окончив постройку церкви, назвал ее «церковью-богобоязненной-жены-пастуха», и с тех пор город Ани стал называться «Городом-Тысячи-и-Одной-Церкви», хотя другие исторические данные утверждают, что еще до постройки пастухом церкви в нем насчитывалось много больше, чем тысяча церквей.

Говорят, недавно был найден при раскопках камень, подтверждающий эту легенду о пастухе и его богобоязненной жене.

Живя на развалинах этого города и проводя дни в чтении и изучении, мы иногда для отдыха занимались раскопками, в надежде что-нибудь найти.

В развалинах Ани существует много подземных ходов.

Раз мы с Погосьяном, роаясь в одном из таких подземных ходов, заметили, что в одном месте что-то обозначается; мы стали рыть дальше и открыли новый ход, но он оказался небольшим и в своем конце был засыпан камнями.

Мы расчистили их, и перед нами открылась небольшая комната с покосившимися сводами. По всему было видно, что это была бывшая монастырская келья.

В этой келье не было ничего, кроме черепков и обломков сгнившего дерева – очевидно, бывшей мебели; лишь в углублении вроде ниши лежала куча свитков.

Некоторые свитки совершенно истлели, другие более или менее сохранились.

С величайшей осторожностью мы принесли эти свитки в наш шалаш и стали разбираться в них.

На них было что-то написано, частью на армянском, частью на каком-то неизвестном нам языке.

Хотя я хорошо знал армянский язык, а про Погосьяна и говорить уже нечего, тем не менее мы с ним ничего из написанного понять не могли, так как это был очень древний армянский язык, совершенно отличный от современного.

Находка эта нас так заинтересовала, что мы, бросив все, в тот же день вернулись в Александрополь и там много дней и ночей потратили на то, чтобы хоть что-нибудь разобрать.

Наконец, после многих трудов и расспросов разных знающих лиц выяснилось, что эти свитки были просто письмами, писанными неким монахом другому монаху, какому-то отцу Арему.

Нас очень заинтересовало одно письмо, в котором пишущий писал о сведениях, полученных им относительно каких-то тайн.

Этот свиток был как раз в числе тех, которые наиболее пострадали от времени, так что о некоторых словах приходилось только догадываться; но все же нам удалось все это письмо восстановить.

В этом письме наибольший интерес в нас вызвало не его начало, а конец.

В начале письма, после длинного приветствия, сообщалось о малозначащих событиях в жизни какой-то обители, в которой, как можно было заключить, адресат бывал раньше.

Особенно мы обратили внимание на то место в конце письма, где было написано:

«Досточтимому нашему отцу Тельвенту наконец удалось узнать правду о братьях „Сармунг“. Их „Эрнос“<sup>[6]</sup> действительно существовал около города „Сирануш“, и 50 лет тому назад, вскоре после переселения народов, они тоже переселились и обосновались в ущелье „Изрумин“, находящемся в трех днях пути от „Нивсии“», и т. д.

Дальше шла речь о других вещах.

Больше всего нас заинтересовало слово «Сармунг», которое несколько раз встречается в книге «Мерхават».

Этим словом называют известную эзотерическую школу, которая по преданию была основана еще за 2500 лет до Р. Х. в Вавилоне, и о существовании которой где-то в Месопотамии было известно до шестого-седьмого века по Р. Х., а о дальнейшем ее существовании сведений нигде не имелось.

Этой школе приписывалось якобы обладание большими знаниями, служившими ключами ко многим сокровенным тайнам.

Об этой школе мы с Погосьяном много раз говорили и мечтали узнать о ней что-либо достоверное, и вдруг упоминание о ней мы встретили в этом

свитке.

Мы всполошились.

Но кроме этого слова, из этого письма мы ничего более не вынесли.

Мы, как и раньше, не знали, когда и как возникла эта школа и где она существовала, а может быть и существует.

После нескольких трудных дней всевозможных изысканий мы в конце концов смогли установить только следующее:

Приблизительно в шестом-седьмом веке потомки ассирийцев, айсоры, были византийцами оттеснены из Месопотамии в Персию.

Время это совпадало со временем, когда вероятно писались эти письма.

Когда мы, между прочим, установили, что городом «Нивсии», о котором упоминалось в свитке, именовался когда-то теперешний город Мосул – бывшая столица страны Ниеви, и что вокруг этого города население в настоящее время состоит главным образом из айсоров, то мы решили, что по всей вероятности в письме говорилось именно об айсорах.

Если такой факт был, что такая школа существовала и переселилась куда-то, то она была не иначе как айсорской, и если еще существует, то не иначе как среди айсоров, и должна находиться теперь, если принять во внимание указанные три дня пути от Мосула, где-нибудь между Урмией и Курдистаном, и найти место ее нахождения будет не так трудно.

В результате всего этого мы решили во что бы то ни стало отправиться туда и постараться раньше разыскать место нахождения школы и потом попасть в нее.

Айсоры – это потомки ассирийцев, разбросанные по всему свету. Ячейки их встречаются по всей Малой Азии; их много в Закавказье, в северо-западной Персии и в восточной Турции.

В общем, их насчитывают около трех миллионов. По вероисповеданию айсоры в большинстве своем несториане, т. е. не признающие Христа как Бога. Меньшинство состоит из якобитов, маронитов, католиков, григорьян и других; есть среди них и «езиды» – чертопоклонники, но их не очень много.

Миссионеры различных вероисповеданий недавно проявляли большое рвение в обращении айсоров в свою веру, и, надо отдать справедливость айсорам, они с не меньшим рвением «обращались», меняя внешнее свое вероисповедание, и извлекали материальную выгоду из этих «обращений», так что это даже вошло в поговорку.

Почти все племя их, несмотря на различие вероисповеданий, подчиняется одному, восточно-индийскому патриарху.

Айсоры живут большею частью деревнями, которыми управляют священники; несколько деревень или известный район составляет один клан, управляемый князем или, как они его называют, «меликом»; все мелики подчиняются патриарху, должность которого наследственная, переходящая от дяди к племяннику и ведущая свое начало, как говорят, от Симона, брата Господня.

Кстати сказать, айсоры очень сильно пострадали в последнюю войну, сделавшись игрушкой в руках России и Англии. В результате половина их погибла от мести курдов и персов; а если другая половина и уцелела, то только благодаря американскому представителю, консулу доктору Х. с женой. Айсорам, особенно американским – а их много, следовало бы, по моему, если доктор Х. еще жив, организовать и постоянно поддерживать у его дверей айсорское «почетное-дежурство», а если он умер, то непременно поставить ему памятник на его родине.

Как раз в тот год, когда мы решили отправиться на розыски, среди армян было сильное национальное движение, и у всех на устах были имена героев-борцов за свободу, особенно имя молодого Андроника, впоследствии ставшего национальным героем.

Везде и всюду, как среди русских армян, так и среди турецких и персидских, образовывались разные партии, комитеты; делались попытки объединения и одновременно шли междупартийные дразги – словом, в это время была, вечно происходившая время от времени у армян, сильная вспышка политического движения со всеми ее атрибутами.

Как-то раз в Александрополе рано утром я шел, по обыкновению, на реку Арпачай купаться.

На полдороге, у местности, называющейся «Кара-Кули», меня догоняет запыхавшийся Погосьян и говорит, что вчера из разговора со священником Х. он узнал, что Армянский Комитет хочет выбрать из членов партии несколько охотников для посылки в Муш с какими-то поручениями.

– Когда я пришел домой, – продолжал Погосьян, – то вдруг мне пришла в голову идея: нельзя ли эту оказию использовать для нашей цели, т. е. для розыска местонахождения братьев «Сармунг», и потому я встал чуть свет и пришел к тебе посоветоваться, но тебя уже не застал и побежал тебя догонять.

Я прервал его и сказал, что, во-первых, мы не партийные, а вторых...

Но он не дал мне договорить и заявил, что он обо всем уже подумал и знает, как все устроить, а ему, главное, теперь надо знать, соглашусь ли я прибегнуть к такого рода комбинации.

Я ответил, что хочу во что бы то ни стало попасть в район ущелья, когда-то носившего наименование «Изрумин», а каким способом я туда попаду, мне все равно – хоть у черта на спине и даже обнявшись со священником Влаховым (Погосьян знал, что этот Влахов был самым ненавистным для меня человеком, присутствие которого даже за версту меня раздражало).

– Раз ты говоришь, что можешь это устроить, – продолжал я, – то делай все, что твоей душе угодно и как будет угодно обстоятельствам, я же заранее согласен на все, лишь бы в результате попасть туда, куда попасть я поставил себе целью.

Не знаю, что делал и с кем и как говорил Погосьян, но в результате его хлопот было то, что мы через несколько дней, снабженные порядочной суммой русских, турецких и персидских денег и множеством рекомендательных писем к разным лицам, живущим в разных местностях намеченного нами пути, тронулись из Александрополя по направлению на Кагызман.

Через две недели, добравшись до берега реки Аракс, являющейся естественной границей между Россией и Турцией, мы, с помощью каких-то неизвестных нам, кем-то присланных курдов, перешли эту реку.

Нам казалось, что самое трудное нами было уже преодолено, и мы надеялись, что дальше все пойдет легко и удачно.

Большей частью мы передвигались пешком, останавливаясь то у пастухов, то в деревнях у лиц, рекомендованных кем-либо из посещенных нами на уже пройденных местностях, или у лиц, к которым мы имели письма из Александрополя.

Надо признаться, что хотя мы и взяли на себя известные обязательства и старались, по мере возможности, их выполнить, но, имея свою собственную цель путешествия, маршрут которого не всегда совпадал с местами, куда мы имели поручения, мы не очень задумывались над тем, что не выполняли их, и, правду сказать, большого угрызения совести при этом не испытывали.

Перейдя через русскую границу, мы решили перевалить гору Агри Даги. Хотя это был самый трудный путь, но было больше шансов не встретиться с многочисленными в то время шайками курдов и турецкими командами, преследовавшими армянские банды.

Перевалив через Агри Даги, мы взяли влево по направлению в Ван, оставив вправо места, где начинаются истоки великих рек Тигр и Евфрат.

За время этого нашего передвижения мы имели тысячи приключений,

описывать которые я не буду, но не могу умолчать об одном из них, воспоминание о котором, несмотря на то что это было так давно, до сих пор вызывает во мне, с одной стороны, смех, а с другой стороны, повторяется то ощущение, которое я тогда испытал – похожее то на чувство инстинктивного страха, то на предчувствие какого-то неизбежного несчастья.

После этого случая я много раз попадал в крайне критические положения – например, мне неоднократно приходилось быть окруженным десятками враждебно ко мне настроенных людей, мне приходилось пересекать путь туркестанского тигра, не раз меня буквально брали, как говорится, «на-мушку-ружья», но никогда я не испытывал такого чувства, какое я испытал при этом, теперь постфактум можно даже сказать, комическом приключении.

Мы мирно шли с Погосьяном. Он пел какой-то марш и шел, размахивая палкой. Вдруг, откуда ни возьмись, собака, за ней другая, и еще, и еще – штук до пятнадцати овчарок, и давай на нас лаять. Погосьян имел неосторожность бросить в собак камнем, они и накинулись на нас.

Это были курдские овчарки, очень злые, и еще момент – они разорвали бы нас на кусочки, если бы я инстинктивно не потянул Погосьяна и не заставил его сесть со мною на дорогу.

Только потому, что мы сели, собаки перестали лаять и бросаться на нас. Окружив нас, они тоже сели.

Прошло порядочно времени, пока мы пришли в себя, и когда мы сообразили, в какое попали положение – нас невольно даже смех разобрал.

Пока мы сидели, и собаки продолжали сидеть мирно и спокойно, и даже с большим удовольствием подъедали хлеб, который мы бросали им, доставая его из наших провизионных мешков; иные из них в благодарность даже повиливали хвостами, но как только мы, обнадеженные такой их приветливостью, захотели встать, то, как говорится, «не-тут-то-было» – они моментально вскочили и, оскалив зубы, собрались наброситься на нас, и мы вынуждены были опять сесть.

При повторной попытке встать, агрессивность собак выразилась в такой мере, что в третий раз пытаться встать мы уже не рискнули.

В таком положении мы просидели около трех часов, и неизвестно, сколько времени нам пришлось бы просидеть, если бы случайно вдаль не показалась курдская девушка с ослом, собиравшая по полю так называемый «кизяк».

Делая ей разные знаки, мы кое-как наконец привлекли ее внимание, и она, подойдя ближе и узнав в чем дело, пошла позвать находящихся

невдалеке за холмом пастухов, которым эти собаки принадлежали.

Пришли пастухи, отозвали собак, и мы только тогда рискнули встать, когда они отошли уже далеко: шельмы, уходя, все время на нас оглядывались.

Как в дальнейшем оказалось, мы были очень наивны, когда предполагали, что после переправы через реку Аракс самые большие трудности и беспокойства уже остались позади. На самом деле, они только тут-то и начались.

Самое большое затруднение заключалось в том, что после перехода через пограничную реку Аракс, когда мы перевалили через гору Агри Даги, мы уже дальше не могли сходить за айсоров, за которых выдавали себя до описанной встречи с собаками, так как мы уже находились в местностях, населенных настоящими айсорами.

Выдавать же себя за армян в том крае, где в это время они подвергались преследованиям со стороны всех других национальностей, было уже никак невозможно; опасно также было выдавать себя за турок или персов; изображать же из себя русских или евреев, что по тогдашнему времени было бы, пожалуй, самым подходящим, нам не позволяла как моя, так и Погосьяна наружность, слишком несоответствующая этому.

В то время вообще надо было быть особенно осторожным в смысле скрывания своей настоящей национальности; при неудачном подделывании себя под другого можно было подвергнуться большой опасности, так как тогда там не стеснялись в выборе средств к устранению нежелательных чужестранцев.

Так, например, носились достоверные слухи о том, что недавно айсоры содрали кожу с нескольких англичан, пытавшихся снимать копии с каких-то надписей.

После долгих раздумываний мы решили превратиться в кавказских татар.

Кое-как переодевшись соответствующим образом, мы продолжали наше путешествие.

Короче говоря, через два месяца с момента перехода реки Аракс мы попали наконец в город З., откуда наш путь лежал через известное ущелье в направлении к Сирии, где, не доходя до знаменитого водопада К., мы должны были свернуть в направлении к Курдистану, по дороге к которому, по нашему мнению, и должно было находиться то место, которое являлось первой целью нашего путешествия.

В дальнейшем нашем продвижении, благодаря тому что мы уже в

достаточной степени успели приспособиться к окружающим условиям, все шло довольно гладко, но один неожиданный случай изменил все наши намерения и планы.

Однажды, сидя на дороге, мы ели имевшийся при нас хлеб и так называемый «тарех», т. е. очень засоленную, излюбленную в этих местностях рыбу, водящуюся только в озере Ван.

Вдруг мой Погосьян с криком вскочил с места, и я увидел убегавшую из-под него большую желтую фалангу.

Я сразу понял причину его крика, тотчас же вскочил, убил фалангу и бросился к Погосьяну. Оказалось, что фаланга укусила его в икру ноги.

Я знал, что укус этих желтых фаланг часто бывает смертельным, и потому моментально разорвал на нем платье, для того чтобы высосать рану, но увидя, что укус пришелся в мягкую часть ноги, и зная, что высасывание раны при малейшей царапине во рту может кончиться отравлением того, кто высасывает рану, я пошел на меньший риск для нас обоих и, схватив нож, быстро отрезал кусок мякоти от ноги товарища, но второпях отхватил больше, чем следовало.

Устранив таким образом опасность смертельного заражения, я успокоился и сейчас же приступил к промыванию раны, и потом кое-как перевязал ее.

Так как рана была большая и Погосьян потерял много крови, и можно было опасаться всяких осложнений, то думать продолжать в ближайшем будущем намеченный нами путь уже не приходилось.

Надо было подумать, как быть и что предпринять в данный момент.

Посоветовавшись между собой, мы решили провести ночь тут же на месте, а утром найти какой-либо способ, чтобы добраться до находившегося в пятидесяти километрах города Н., куда мы тоже имели поручение передать одному армянскому священнику письмо, но не выполнили его, так как этот город лежал в стороне от пути, намеченного нами до этого несчастья.

На другой день я с помощью одного случайно проходившего старика-курда, оказавшегося очень добрым, нанял в находившейся неподалеку деревушке нечто вроде арбы, запряженной двумя быками и служившей для возки навоза, и, положив на нее Погосьяна, двинулся по направлению к городу Н.

Это небольшое расстояние мы ехали почти двое суток, останавливаясь каждые четыре часа, чтобы покормить быков.

Наконец мы приехали в город Н. и прямо отправились к тому армянскому священнику, к которому у нас было кроме поручения также и

рекомендательное письмо.

Он принял нас очень любезно и, узнав о случившемся с Погосьяном, тотчас же предложил поместить его у себя в доме, на что, конечно, мы с большой благодарностью согласились.

У Погосьяна еще в дороге поднялась температура, и хотя она уже на третий день упала, но рана загноилась и с ней пришлось много повозиться – вот почему нам пришлось в течение почти целого месяца пользоваться гостеприимством этого священника.

Постепенно между нами и этим священником, благодаря столь долгому проживанию в одном доме и частым беседам о всякой всячине, установились очень близкие отношения.

Как-то раз в разговоре он между прочим рассказал мне об одной имеющейся у него вещи и об истории, с ней связанной.

Это был старинный пергамент с оттиском какой-то карты.

Этот пергамент находился в его семье очень давно, перейдя по наследству еще от прадеда.

Вот что рассказал мне священник:

– В позапрошлом году приезжает ко мне какой-то совершенно неизвестный мне человек и просит показать ему карту. Каким образом он мог узнать, что она у меня имеется, я понятия не имею.

Мне это показалось подозрительным, и я, не зная, кто он такой, вначале не хотел показывать ее и даже отрицал, что она у меня вообще имеется, но когда этот господин стал меня настоятельно просить об этом, я подумал, отчего бы мне ему и не показать ее, и показал.

Посмотрев ее, он спросил меня, не продам ли я ему пергамент, и сразу предложил за него двести лир, но я, хотя эта сумма и была большой, не имея нужды в деньгах и не желая расставаться с привычной и дорогой для меня как память вещью, не согласился продавать его.

Оказалось, что этот незнакомец остановился у нашего бека...

На другой день служитель бека пришел от имени этого приезжего их гостя с новым предложением продать пергамент, но уже за пятьсот лир.

Мне еще до этого, сразу после ухода незнакомца, показалось многое подозрительным: и то, что, по-видимому, человек этот приехал издалека специально за этим пергаментом, и тот для меня непонятный способ, каким он мог узнать, что у меня есть этот пергамент, и, наконец, тот сильный интерес, который он к нему проявил, когда рассматривал его.

Все это вместе взятое показывало, что эта вещь должна была быть очень ценной. Поэтому, когда он предложил такую сумму как пятьсот лир – я, хотя в душе и соблазнился таким предложением, но, боясь продешевить,

решил быть очень осторожным и опять отказал.

Вечером этот незнакомец опять зашел ко мне, уже в сопровождении самого бека.

На повторенное мне предложение – заплатить 500 лир за пергамент, я вообще наотрез отказался его продавать. Но так как он на этот раз пришел вместе с нашим беком, то я пригласил их обоих зайти ко мне как гостей.

Они вошли, и мы, попивая кофе, разговорились о том и о сем.

В разговоре выяснилось, что мой посетитель – русский князь.

Он между прочим сказал, что вообще интересуется старинными вещами, и так как эта вещь подходит к его коллекции, то он, как любитель, захотел ее купить и предложил сумму, которую эта вещь никак не может стоить.

Больше же дать он находил невыносимым и очень сожалел, что я не хочу ее продать.

Бек, внимательно прислушивавшийся к нашим разговорам, заинтересовался этой вещью и выразил желание ее посмотреть.

Когда я достал пергамент и они оба стали его рассматривать, то он совершенно искренно удивился, что такая вещь может так дорого стоить.

Среди разговора князь, между прочим, вдруг меня спросил, что я возьму за разрешение снять копию с моего пергамента.

Я задумался, не зная, что ему ответить, так как, откровенно говоря, я испугался, что потерял хорошего покупателя.

Тогда он предложил мне за снятие копии 200 лир.

Мне было уже совестно торговаться, так как, по моему мнению, эту сумму князь давал мне просто ни за что.

Подумайте только, за разрешение снять копию с пергамента я получал такую сумму денег как 200 лир. Я недолго думая согласился на предложение князя, рассуждая, что сам пергамент-то ведь останется у меня и я всегда, если захочу, смогу продать его.

На следующее утро князь пришел ко мне, мы разложили пергамент на хонче, он растворил в воде принесенный им алебастр и, намазав маслом пергамент, залил его алебастром. Через несколько минут он снял алебастр, завернул его в данный мною ему кусок старого джеджима, заплатил мне 200 лир и ушел.

Таким образом, Бог послал мне ни за что 200 лир, и пергамент до сих пор находится у меня.

Рассказ священника меня очень заинтересовал, но я и виду не подал об этом, а просто, как бы из любопытства, попросил его показать мне, что это за штука такая, за которую предлагают такие большие деньги.

Священник полез в сундук и достал свернутый в трубку пергамент. Когда он развернул его, я сразу в нем не разобрался, но после, когда пригляделся – бог ты мой, что стало со мной...

Я этой минуты никогда не забуду.

Меня охватила сильнейшая дрожь, которая еще больше увеличивалась от того, что я внутренне старался сдерживать себя и не показывать своего волнения.

То, что я увидел, могло быть тем, над чем думая, я долгие месяцы не спал ночами?

Это была карта так называемого «Допесочного-Египта».

Продолжая стараться с большими усилиями делать вид, что не проявляю большого интереса к этой вещи, я заговорил о другом.

Священник же опять свернул пергамент и убрал его в сундук.

Я не был русским князем, чтобы уплатить 200 лир за снятую копию, хотя мне эта карта, может быть, была не менее нужна, чем ему. Поэтому я, тут же решив, что копия с этой карты во что бы то ни стало должна быть у меня, сразу стал думать, как это сделать.

В это время Погосьян чувствовал себя уже настолько лучше, что мы выводили его на террасу и он подолгу сидел на солнце.

Условившись заранее с Погосьяном, чтобы он дал мне знать, когда священник уйдет по делам, я на другой день, узнав, что священника нет дома, осторожно забрался к нему в комнату с целью подобрать ключ к заветному сундуку.

С первого раза я не смог отметить всех деталей ключа, и только на третий раз, многократным подпиливанием, я приладил его как следует.

Вечером за два дня до нашего отъезда мне удалось, воспользовавшись отсутствием священника, забраться к нему и вынуть из сундука пергамент, который я унес в нашу комнату, и мы с Погосьяном всю ночь напролет копировали детали плана, наложив на него просаленную бумагу, а на другой день я положил пергамент обратно на место.

Когда я уже имел на себе хорошо и незаметно зашитое в складках моей одежды это «полное-тайн» многообещающее «сокровище», то все другие до этих пор имевшиеся у меня интересы и намерения как будто бы испарились, и во мне образовалось не терпящее отлагательства стремление во что бы то ни стало, как можно скорее, попасть в те места, где с помощью этого «сокровища» я смогу наконец успокоить ту мою любознательность, которая за последние два-три года постоянно не давала мне покоя и, подобно червю, точила, как говорится, «мое-нутро».

После такого моего могущего быть оправданным, но все же как-никак

преступного отношения к гостеприимству армянского священника, я, поговорив с моим еще полубольным товарищем Погосьяном, уговорил его не пожалеть своих «не-очень-жирных-денежных-ресурсов» и купить двух хороших местных верховых лошадей – таких именно лошадей, которых мы за время нашего пребывания здесь наблюдали и особым так называемым «требляще-рысистым» ходом которых мы восхищались – и как можно скорей уехать, сперва по направлению к Сирии.

Действительно, у водящихся в этой местности лошадей ход таков, что можно скакать на них чуть ли не со скоростью полета большой птицы, держа в руках полный стакан воды, и не пролить ни одной капли.

\* \* \*

Здесь я тоже не буду описывать, какие мы имели во время этого нашего путешествия приключения и по каким непредвиденным обстоятельствам нам приходилось много раз изменять наш маршрут, а скажу только, что ровно через четыре месяца после нашего прощания с гостеприимным и добрым армянским священником мы уже находились в городе Смирне, где в первый же вечер нашего приезда имели одно приключение, которое волею судеб послужило как бы поворотным пунктом в дальнейшей судьбе Погосьяна.

В этот вечер мы пошли посидеть в один типичный тамошний греческий ресторан, чтобы немного, как говорится, «порассеяться» после усиленных трудов и перенесенных за последнее время треволнений.

Мы не торопясь попивали знаменитое «дузико», закусывая из поданных нам по местному обычаю бесчисленного количества крошечных тарелочек, наполненных всевозможными закусками, начиная от сушеной скумбрии и кончая соленым моченым горохом.

Кроме нас в ресторане сидело несколько компаний, состоявших преимущественно из матросов с иностранных кораблей, стоявших здесь на рейде.

Матросы вели себя шумно, и видно было, что они посетили уже не один ресторан и изрядно, как они выражаются, «нагрузились».

Между сидевшими за отдельными столиками матросами различных национальностей временами возникали какие-то недоразумения, ограничивавшиеся вначале только словесными перепалками на своеобразном разговорном языке, состоявшем преимущественно из смеси греческих, итальянских и турецких слов, и казалось, ничто не предвещало

того, что вдруг произошло.

Не знаю, из-за чего загорелся сыр-бор, но вдруг довольно многочисленная группа матросов вскочила и с угрожающими жестами и криками бросилась на более малочисленную группу, сидевшую недалеко от нас.

Те, в свою очередь, тоже вскочили, и в один миг кулачная расправа была уже в полном разгаре.

Мы с Погосьяном, тоже немного воодушевленные парами «дузико», бросились на помощь малочисленной группе матросов.

Мы совершенно не знали, в чем было дело и кто такие были избиваемые и избивающие.

Когда прочие посетители ресторана и случайно проходивший мимо ресторана так называемый «военный-патруль» нас разлучили, то оказалось, что почти ни один из участников драки не вышел из нее без повреждения: у одного текла кровь из разбитого носа, другой плевался кровью и т. д., и среди них красовался я с громадным синяком под левым глазом, а Погосьян, все время ругаясь по-армянски, стонал и охал, жалуясь мне на нестерпимую боль под пятым ребром.

Когда вокруг нас, по выражению тех же моряков, «буря-улеглась», я с Погосьяном, находя, что на этот вечер с нас хватит и что добрые люди, даже не спрашивая имени нашего, достаточно нас «порассеяли», тихо побрели домой спать.

Нельзя сказать, чтобы мы по дороге домой много разговаривали: у меня непроизвольно «подмигивал-глаз», а Погосьян кряхтел и ругал себя за то, что «вмешался-не-в-свое-дело».

На следующее утро мы за завтраком, потолковав о нашем вчерашнем, в достаточной степени идиотском поступке и о настоящем нашем физическом состоянии, решили не откладывать задуманную нами еще по дороге сюда поездку в Александрию, рассчитывая, что долгое нахождение на пароходе и чистый морской воздух без остатка излечат к моменту приезда на место полученные нами «боевые-раны», и для этого первым делом отправились на пристань, чтобы узнать, имеется ли отвечающее нашему карману судно, которое в ближайшее время отходило бы в Александрию.

Оказалось, что на рейде стоит греческий парусник, собирающийся отойти туда, и мы тотчас же поспешили в контору пароходной компании, которой принадлежал этот парусник, чтобы навести нужные нам справки.

Когда мы уже находились в дверях конторы пароходной компании, к нам быстро подбежал какой-то матрос и, говоря что-то на ломаном

турецком языке, стал искренно и возбужденно жать то мои, то Погосьяна руки.

Сначала мы ничего не поняли, но потом выяснилось, что это английский моряк – один из тех моряков, в защиту которых мы вступили вчера вечером.

Попросив нас немного подождать, он быстро удалился и через несколько минут вернулся в сопровождении еще двух своих товарищей и одного, как мы уже после узнали, офицера, которые стали нас также горячо благодарить за вчерашнее.

Они нас стали очень просить пойти с ними в недалеко находящийся греческий ресторан выпить по рюмке «дузико».

Уже там в ресторане, когда, после трех рюмок чудотворного «дузико», достойного отпрыска древнегреческой благодатной «мастики», мы начали все шумнее и непринужденнее разговаривать между собой, конечно при посредстве по наследству перешедшей ко всем нам способности изъясняться «древнегреческой-мимикой» и «древнеримской-жестикуляцией», а также при содействии слов, взятых из всех земных приморских разговорных языков, и когда они узнали, между прочим, о том, что мы собираемся как-нибудь попасть в Александрию, тут-то не преминуло очень явно и выпукло выявиться благодатное воздействие достойного «отпрыска-древнегреческого-творения».

А проявилось такое благотворное воздействие благодатного «дузико» со следующей последовательностью: они, как бы забыв о нашем присутствии, тоном не то угрожающим, не то насмешливым, начали о чем-то между собой говорить.

И вдруг двое из них, залпом выпив свои рюмки, с большой торопливостью куда-то ушли, а оставшиеся, перебивая друг друга, скороговоркой, с интонацией «доброжелательного-умиления», стали в чем-то нас уверять и успокаивать.

Наконец мы начали догадываться, в чем дело, и, как позже оказалось, наши догадки были почти верными, а именно что те двое их товарищей, которые только что вышли, отправились хлопотать у кого следует, чтобы мы могли уехать на их судне, которое собирается отойти завтра в Пирей, оттуда в Сицилию, а из Сицилии – в Александрию, где оно, перед своим отходом в Бомбей, простоит около двух недель.

Ушедшие матросы долго не возвращались, а мы в ожидании их под аккомпанемент так называемых «крепких-словечек», взятых со всех языков, отдавали должное «велелепному-отпрыску-мастики».

Несмотря на такое приятное времяпрепровождение в ожидании

благоприятных вестей, Погосьян, очевидно вспомнив о своем пятом ребре, вдруг стал нетерпеливым и начал настойчиво требовать от меня больше не ждать, а отправиться восвояси немедленно, причем серьезно уверял меня, что под моим другим глазом начинает тоже синеть.

Я, считая Погосьяна еще не совсем оправившимся после укуса фаланги, не мог отказать ему в его требовании – покорно встал и, не вступая ни в какие объяснения с нашими случайными компаньонами по истреблению «дузико», поплелся за ним.

Удивленные неожиданным и безмолвным уходом своих вчерашних защитников, матросы встали и тоже побрели за нами.

Мы шли довольно долго. Каждый из нас развлекался по-своему: один пел, другой, жестикулируя, что-то кому-то доказывал, третий насвистывал какой-то военный марш...

Погосьян, добравшись до своего «ложа», сразу лег не раздеваясь.

Я же, уступив свою постель старшему из матросов, лег просто на полу, жестом предложив другому лечь рядом со мной.

Проснувшись ночью от страшной головной боли, я, припоминая с пятого на десятое обо всем происшедшем накануне, между прочим вспомнил и о пришедших с нами матросах, а посмотрев туда, где они легли, обнаружил, что там их нет. Очевидно, они уже ушли.

Я опять заснул и проснулся уже поздно утром от производимого Погосьяном, готовящим чай, стука посуды и от пения им, как он это делал каждое утро, армянской особой утренней молитвы «Лусацав-лусне-парин-ес-ава-дам-дзер-кентанин».

В это утро как мне, так и Погосьяну, чаю совсем не хотелось, а хотелось выпить чего-нибудь очень кислого.

Попив только холодной воды и не обменявшись ни единым словом, мы опять легли.

Настроение у нас обоих было подавленное, и мы чувствовали себя во всех смыслах преотвратительно; лично у меня, кроме всего этого, было и такое ощущение, как будто во рту ночевали не менее десяти казаков со своими лошадьми в сбруях.

Когда мы в таком состоянии продолжали еще лежать, и каждый из нас молча думал свои думы, внезапно с шумом раскрылась дверь, и в комнате появились три английских матроса, из которых один был из вчерашней нашей компании, а двух других мы видели впервые.

Перебивая друг друга, они стали нам что-то говорить; после долгих переспросов и напряженных догадок мы в конце концов поняли, что они просят нас встать, поскорее одеться и отправиться с ними на их судно, так

как получено разрешение начальства взять нас с собою в качестве «сверхштатных-судовых-рабочих».

Пока мы одевались, матросы продолжали между собой, как это видно было по их лицам, говорить что-то веселое, и вдруг, к нашему удивлению, поднявшись все разом с мест, приступили к укладыванию наших вещей.

Когда мы совсем оделись и, позвав «устабаши» караван-сарая, расплатились, наши вещи уже были аккуратно упакованы, и матросы, распределив их между собой, жестами предложили нам следовать за ними.

Мы все вместе вышли на улицу и пошли по направлению к берегу.

Придя туда, мы увидели лодку и сидящих в ней двух других матросов, которые очевидно нас ждали.

Сев в лодку и проплыв с полчаса при неумолкавших английских тихих песнях, мы пристали к борту довольно большого военного судна.

Видно было, что и на судне нас ждали, так как едва мы поднялись на палубу, как стоявшие у трапа матросы быстро расхватили наши вещи и проводили нас в небольшую, очевидно заранее предназначенную и приготовленную для нас каютку, находившуюся в трюме около кухни.

После того как мы кое-как устроились в этом, хотя душном, но показавшемся нам очень уютном уголке военного судна, и когда мы в сопровождении одного из матросов, в защиту которых тогда в ресторане мы выступили, вышли на верхнюю палубу и сели на кучи канатов, нас постепенно окружили почти все находившиеся в это время на судне люди, как простые матросы, так и младшие офицеры.

Со стороны каждого из них, независимо от занимаемого им положения на судне, чувствовалась по отношению к нам определенно выраженная доброжелательность; каждый считал как бы своей обязанностью пожать нам руку и, считаясь с нашим незнанием английского языка, пытался как жестами, так и при помощи всех известных ему слов из всевозможных разговорных языков, сказать что-то, очевидно приятное.

Во время такого в высшей степени оригинального общего разноязычного разговора один из них, довольно сносно говоривший по-гречески, между прочим предложил, чтобы за время данного рейса каждый из присутствующих поставил себе задачей непременно выучить ежедневно не менее двадцати слов – мы английских, а англичане турецких.

Это предложение было всеми принято с бурным одобрением, и тотчас же два матроса – первые наши знакомые – приступили к выбору и записыванию тех английских слов, которые, по их мнению, мы должны были выучить раньше всего, а мы с Погосьяном стали записывать для них турецкие слова.

Когда начали подплывать катера с офицерами высшего ранга и приближалось время отхода судна, то все стали постепенно расходиться для выполнения своих обязанностей, а я с Погосьяном сейчас же приступили к вызубриванию первых двадцати английских слов, написанных на бумаге греческими буквами по фонетическому принципу.

Мы так увлеклись заучиванием этих двадцати слов, стараясь научиться правильно произносить непривычные и чуждые для нашего слуха их созвучия, что не заметили, как наступил вечер и судно тронулось.

Мы оторвались от нашего занятия только тогда, когда подошедший к нам матрос, раскачивавшийся под ритм равно мерной качки двигающегося судна, весьма выразительным жестом объяснил, что пора и покушать, и повел нас в каюту рядом с кухней.

Поговорив во время еды между собой и посоветовавшись с приходившим к нам в каюту матросом, который сносно говорил по-гречески, мы решили и в ту же ночь выхлопотали разрешение – мне начать со следующего утра чистить металлические части судна, а Погосьяну работать в качестве кого-нибудь в машинном отделении.

Я не буду останавливаться на событиях последующих дней нашего пребывания на этом военном судне.

По приезде в Александрию я, тепло попрощавшись с гостеприимными моряками и условившись с Погосьяном не терять друг друга из виду, покинул судно с горячим намерением скорее попасть в Каир, а Погосьян, близко сошедший за это время с некоторыми моряками и увлекшийся работой при машинах, остался у них на судне, желая ехать дальше.

Как я потом узнал, Погосьян, расставшись тогда со мною и продолжая все время работать в машинном отделении судна, сильно пристрастился к механике и тесно сдружился с некоторыми матросами и младшими офицерами этого английского военного судна.

Из Александрии он на этом же судне приехал в Бомбей, а затем, побывав в разных австралийских портах, попал наконец в Англию.

Здесь, именно в городе «Ливерпуль», он по настоянию и при содействии этих своих новых друзей-англичан поступил в морскую техническую школу, в которой, параллельно с усиленным изучением морского дела, совершенствовался в английском разговорном языке и по прошествии двух лет получил звание инженера английской школы.

В заключение этой главы, посвященной моему первому товарищу – другу юности моей, Погосьяну, я хочу упомянуть об одной, имевшейся у него в его юношеском возрасте, в высшей степени оригинальной и характерной для его индивидуальности черте общей его психики.

Погосьян тогда в юности всегда был чем-нибудь занят или над чем-нибудь работал.

Он никогда не сидел, как говорится, «сложаруки», и никогда не лежал, как прочие товарищи, предаваясь чтению ничего реального не дающих книг, предназначенных только для развлечения.

Если он не имел определенного дела, то все же он или размахивал руками, или маршировал на месте, или делал какие-нибудь манипуляции со своими пальцами.

Я раз как-то его спросил, почему он дурачится, не отдыхает, ведь за эти его никчемные упражнения никто ничего ему не заплатит.

Он на это ответил:

– Да, действительно, в настоящее время за такие мои, по-твоему, да и по мнению каждого из той же «бочки», в которой получил и ты свой рассол, «дурацкие-кривлянья» никто ничего не заплатит, но заплатите в будущем или вы сами, или ваши дети.

Говоря без шуток, я это делаю потому, что люблю работу, но люблю ее не своей натурой, которая у меня такая же ленивая, как и у всех вообще людей, и никогда ничего полезного делать не хочет. Я люблю работу своим здравым смыслом.

Затем он добавил:

– Ты, пожалуйста, всегда имей в виду, что когда я употребляю слово «Я», то нужно подразумевать не меня целиком, а только мой ум. Я люблю работу и поставил себе задачу суметь своей настойчивостью добиться, чтобы работу любила вся моя натура, а не только один рассудок.

Кроме этого, я действительно убежден, что на свете никакой сознательный труд даром не пропадает. Рано ли, поздно ли, кто-нибудь должен за него заплатить. Следовательно, если я сейчас так работаю, я достигаю двух моих целей: во-первых, может быть приучу мою природу не лениться, а во-вторых, этим самым я хочу обеспечить свою старость.

Как ты знаешь, нельзя сказать, чтобы мои старики после смерти оставили мне такое наследство, которого хватило бы с лихвой и на мою старость, когда я уже не буду более в силах сам зарабатывать необходимое для существования.

Кроме всего этого, я делаю так еще и потому, что единственная отрада в жизни, это когда работаешь не по принуждению, а сознательно; это и

отличает нас, людей, от карабахского осла, который тоже работает день и ночь.

Такое его рассуждение вполне оправдалось на деле. Несмотря на то, что всю свою молодость, т. е. время, являющееся для человека самым ценным для обеспечения своей старости, он провел как будто в бесполезных скитаниях и не занимался никакими такими делами, которые приносили бы столько денег, чтобы можно было бы отложить и на время старости, а начал заниматься настоящими делами только с 1908 года, – он уже является теперь одним из самых богатых людей на земле.

А что касается честности способов зарабатывания им этих богатств, то об этом и говорить уже не приходится.

Он был прав, когда говорил, что никакой сознательный труд даром не пропадает.

Он действительно всю жизнь почти день и ночь, во всякой обстановке и при всяких условиях, работал сознательно и добросовестно, как вол.

Дай Боже ему теперь, наконец, заслуженно отдохнуть.

## Абрам Елов

Абрам Елов, после Погосьяна, был как раз следующим из числа тех, по моему представлению, замечательных людей, с которыми мне в моем подготовительном возрасте приходилось встречаться и которые – так или иначе, вольно и невольно – явились, так сказать, «животворными-факторами» для свершительного оформливания того или другого аспекта моей теперешней индивидуальности.

Впервые я с ним встретился очень скоро после того, как я окончательно потерял надежду узнать что-либо дельное в области захвативших всего меня тогда вопросов от живых людей современности и из Эчмиадзина вернулся в Тифлис, где и погрузился всецело в чтение древней литературы.

В Тифлис я переехал главным образом потому, что там можно было иметь какие угодно книги.

В этом городе почему-то, как тогда, так и во время моего последнего пребывания там, можно было очень легко разыскать всякие редкие книги на всех языках – особенно же на армянском, грузинском и арабском.

Приехав в Тифлис, я на этот раз обосновался в местности, называемой «Дидубе», и почти каждый день ходил оттуда в район города, именовавшийся «Солдатский-Базар», на одной из улиц которого, прилегавшей к западной стороне так называемого «Александровского-Сада», и находились главным образом магазины тифлисских букинистов.

На этой же улице, против постоянных книжных складов и магазинов, особенно в базарные дни, раскладывали прямо на земле свои книги и лубочные картины мелкие торговцы, прозывавшиеся «книгоноши».

Среди этих мелких торговцев был один молодой айсор, продававший, покупавший и бравший на комиссию всевозможные книги.

Это и был Абрашка Елов, как звали его в молодости. Пройдоха высшей марки, но для меня – человек незаменимый.

Он уже тогда был, так сказать, «ходячим-каталогом», так как знал бесчисленное количество заглавий существующих книг чуть ли не на всех языках и имена авторов, а также место и время издания любой книги, и где какую книгу можно достать.

Вначале я у него покупал книги, а потом стал менять уже прочитанные или отдавать их обратно, а он, со своей стороны, стал помогать мне разыскивать нужные книги, и вскоре я с ним подружился.

В это время Абрам Елов готовился сделаться так называемым «вольноопределяющимся», с тем намерением, чтобы поступить в Юнкерскую школу, и он, хотя почти все свое свободное время отдавал на «зубрежку» для поступления в эту школу, тем не менее, увлекаясь философией, успевал читать много книг по этим вопросам.

Вот на почве интереса к философским вопросам и началось наше взаимное сближение, и с тех пор мы стали часто встречаться по вечерам в Александровском Саду или в так называемом «Муштаиде», и вести беседы на философские темы. Мы часто общались в разном книжном хламе, и я даже стал в базарные дни помогать ему в его торговле.

Наша дружба еще больше окрепла по следующему поводу:

На той же улице, где торговал Елов, обыкновенно рядом с ним в базарные дни ставил свой так называемый «лоток» один грек, торговавший разными гипсовыми изделиями, как то: статуэтками, бюстами знаменитых людей, фигурками Амура и Психеи, Пастуха с Пастушкой, всевозможными копилками в виде кошек, собак, свиней, яблок, груш и других фруктов всевозможных величин – словом, всем тем хламом, которым одно время было в моде украшать столы, комоды и специальные стенные этажерочки.

Раз, Елов во время затишья торговли, указав взглядом на эти изделия, со свойственной ему оригинальной формой выразиться, сказал:

– Вот кто зарабатывает уйму денег, так это тот, кто производит этот хлам. Говорят, что это какой-то приезжий грязный итальянец, который делает эту дрянь в своей грязной лачуге и, благодаря этим дуракам-разносчикам, вроде этого грека, набивает свои карманы деньгами, с трудом зарабатываемыми теми идиотами, которые покупают этот хлам для украшения своих дурацких квартир.

А мы здесь мучаемся в холоде и торчим целый день на одном месте, чтобы вечером иметь возможность давиться одним черствым кукурузным хлебом, чтобы не издохнуть с голоду и завтра утром опять прийти и тянуть ту же проклятую лямку.

Немного погодя я подошел к разносчику-греку и узнал от него, что эти изделия действительно производит итальянец, который всеми мерами старается, чтобы никто не видел, как он их делает.

– И эти изделия мы, двенадцать разносчиков, еле успеваем распродавать по Тифлису, – добавил грек.

Его рассказ и возмущение Елова меня подзадорили, и у меня возникла идея попробовать одурачить этого итальянца, тем более что в это время я уже начинал подумывать насчет какого-нибудь дела и заработка, так как деньги мои были уже на «Исходе-Израиля».

Я предварительно поговорил с этим разносчиком-греком, конечно при этом намеренно возбуждая его патриотическое чувство, и составив себе в мыслях план действия, явился вместе с ним к итальянцу и стал у него просить работы.

На мое счастье оказалось, что как раз перед этим один работавший у него мальчик был расчислен за кражу инструментов, и поэтому итальянцу был нужен кто-нибудь для помощи ему, именно чтобы лить воду во время замешивания гипса. Так как я был согласен работать за любую плату, то он меня сразу принял.

Согласно своему плану, я с первого дня прикинулся дурачком: работал очень хорошо, чуть не за троих, но в других вещах был дурковат.

За это итальянец очень скоро даже полюбил меня и не стал перед дурковатым, малым, безопасным для него человеком скрывать свои секреты так тщательно, как перед другими.

Через две недели я уже знал, как делаются многие вещи.

Хозяин звал меня то клей поддержать, то мешать смесь, и таким образом я проник в его «Святая-Святых» и вскоре узнал все маленькие, но очень важные в этом деле, секреты.

Они в этом деле действительно очень важны; например, когда растворяешь гипс, надо знать, сколько капель лимонного сока надо добавить, чтобы гипс не пузырился и изделия выходили чистыми; в противном случае, на тонких оконечностях статуэток – вроде носа, ушей и других – могут получаться уродливые пустоты.

Также важно знать пропорции клея, желатина и глицерина, из которых делаются формы; немного чего-либо больше или меньше, и получается уже не то, и т. д.

Владение одними только приемами, без знания этих секретов, не дало бы возможности получить хорошие изделия.

Короче говоря, через полтора месяца на базаре появились такие же изделия моего производства.

К тем формам, какие имелись у итальянца, я прибавил несколько комических голов, в которые насыпалась дробь для вставки перьев; кроме того, я пустил в продажу особые копилки, которые распродавались массами и назывались «больная-на-своей-кровати». Думаю, что тогда в Тифлисе не было дома, где бы не было копилки моей работы.

Впоследствии у меня работали несколько человек-рабочих и шесть учениц – грузинок.

Елов с восхищением помогал во всем и даже бросил в будние дни торговать книгами.

Одновременно с этим мы с Еловым продолжали свое дело – чтение книг и изучение философских вопросов.

Через несколько месяцев, когда я скопил уже порядочно денег, да и мастерская мне надоела, я продал ее на полном ходу двум евреям за хорошую цену, а сам, так как надо было освободить свою квартиру, которая была при мастерской, переехал на Молоканскую улицу вблизи вокзала, куда также переехал со своими книгами и Елов.

Елов был невысокого роста коренастый брюнет, с глазами, всегда горевшими как два горячих угля, весь волосатый, с длинными бровями и бородой, росшей чуть не из самого носа и почти закрывавшей щеки, алый цвет которых, тем не менее, всегда просвечивал.

Он был родом из Турции, из ванского вилайета, не то из самого города Битлиса, не то из окрестностей этого города, откуда года четыре-пять тому назад он со своей семьей переехал в Россию и по приезде в Тифлис был определен в так называемую «первую-гимназию», но вскоре, несмотря на то что тогда в этой «первой-гимназии» нравы были очень «просты-и-бесцеремонны», он за какие-то шалости и проделки сделался даже для этого заведения нетерпимым и был так называемым «учительским-советом» исключен из нее, а по прошествии очень короткого срока был выгнан и отцом из дому и с тех пор стал жить, как говорится, «как-Бог-на-душу-положит».

Короче говоря, он, как сам о себе выражался, «был-язва-для-своей-семьи». Но все же мать его, потихоньку от отца, часто посылала ему деньги.

Елов питал очень нежное чувство к своей матери; оно выражалось даже в мелочах. Так, например, у него всегда висела над кроватью фотография матери, и он никогда ни уходил из дома, не поцеловав этой фотографии, и также, возвращаясь домой, всегда еще из дверей кричал: «Добрый день, или добрый вечер, мать!»

Мне теперь кажется, что я его еще больше полюбил за эту черту. Отца своего он тоже любил, но своеобразно – он считал его мелким, тщеславным самодуром.

Отец Елова был подрядчиком и считался очень богатым человеком, а среди айсоров также и очень важным, кажется, потому что он происходил, хотя и по женской линии, из рода Маршимун, из которого в прежние времена происходили цари айсоров, а в настоящее время, когда нет царств, из этого рода происходят их патриархи.

У Абрама еще был брат, который тогда учился в Америке, кажется, в Филадельфии. Этого последнего он уже совсем не любил, имея о нем

определенное мнение как о двуличном эгоисте и животном без сердца.

У Елова было много оригинальностей; между прочим у него была привычка всегда подтягивать свои брюки, и нам, товарищам, впоследствии стоило больших, настойчивых трудов отучить его от этого.

За эту привычку Погосьян его часто дразнил, говоря:

– Эх! А еще собирался быть офицером! В первую же встречу с генералом тебя, дурака, отправили бы на гауптвахту, так как вместо того, чтобы взять под козырек, ты взялся бы за брюки» и т. д. (Погосьян выражался еще менее деликатно.)

Погосьян с Еловым всегда друг друга дразнили и даже при мирном обращении не называли друг друга иначе, как Елов Погосьяна – «соленый-армяшка», а последний того – «хачагох».

Армян вообще называют «солеными-армяшками», а айсоров – «хачагохами».

«Хачагох» буквально значит «вор-крестов».

Мне кажется, что происхождение такого их прозвища следующее.

Айсоры вообще, как говорится, «народ-пройдоха»; в Закавказье даже существует на их счет следующее определение: «Если сварить вместе семь русских, получится один еврей; если семь евреев сварить, получится один армянин, а если семь армян, тогда только получится один айсор».

Среди айсоров, разбросанных повсюду, была масса священников, большинство которых были самозванцами. Им тогда делать это было очень легко: живя одновременно в трех государствах, в России, Турции и Персии, в окрестностях разделявшей эти государства горы Арарат, и имея почти свободный проход через все границы, они себя выдавали в России за турецких айсоров, в Персии за русских и т. д.

Они не только исполняли требы, но и успешно торговали среди религиозного и темного народа всевозможными так называемыми «священными-реликвиями». Например, в глубине России, выдавая себя за греческих священников, к которым среди русских имелось большое доверие, они делали «хорошие-дела», продавая вещи, якобы привезенные из Иерусалима, со святого Афона и других святых мест.

Среди этих «реликвий» были и кусочки дерева от настоящего креста, на котором был распят Христос, и волос Божьей Матери, и ногти Святого Николая Мирликийского, и зуб Иуды, приносящий счастье, и кусочек подковы от лошади Святого Георгия, и даже ребро или череп какого-нибудь великого святого.

Эти вещи с большим благоговением покупались наивными христианами, особенно русским купечеством, и немало русских святых

такой фабрикации айсорских священников имеется и по настоящее время в домах и бесчисленных церквах «Святой-Руси».

Вот за это армяне, знавшие эту «братию» ближе, прозвали их и поныне называют «ворами-крестов».

Армян же называют «солеными» потому, что у них существует обычай при рождении ребенка, как говорится, «солить-его».

Между прочим скажу, что по моему мнению этот обычай практикуется не без пользы. Мои специальные наблюдения показали мне, что сыпь на коже у новорожденных, особенно в тех местах, где обычно у других народностей делают различного рода присыпки для избежания подпревания, у армянских детей, родившихся в тех же местностях, за редкими исключениями, не появляется, хотя у них бывают все остальные детские болезни. Это я приписываю обычаю соления.

Елов не был похож на своих сородичей и в той черте характера, которая очень типична для айсоров: он хотя и был очень вспыльчив, но не злопамятен. Гнев его моментально проходил, и если во время вспыльчивости он кого-нибудь обижал, то, когда проходила злость, он не знал, как загладить то, что он сказал.

Он был особенно щепетилен в отношении религии других.

Однажды, во время разговора относительно ведения в то время среди айсоров миссионерами почти всех отдельных государств Европы очень усиленной пропаганды в целях обращения их в свою веру, он сказал:

– Дело не в том, кому человек поклоняется, а в его вере. Вера – это совесть, которая закладывается в детстве. Если человек меняет религию, то теряет совесть, а совесть есть самое дорогое в человеке.

Я поклоняюсь его совести, а раз его совесть держится на его вере, а вера на его религии, то я поклоняюсь его религии, и для меня было бы большим грехом, если бы я стал судить его религию или разочаровывать его в ней, и таким образом разрушать совесть, которую можно приобрести только в детстве.

Когда он так рассуждал, Погосьян его спрашивал:

– А почему ты хотел быть офицером?!

Тогда щеки Абрама разгорались, и он с чувством выкрикивал:

– Пошел к черту, фаланга соленая!

Он знал про мою операцию над бедным Погосьяном после укуса его фалангой.

У Елова была странная привязанность к своим знакомым. Он готов был, как говорится, отдать свою душу за того, к кому он привязывался.

Елов и Погосьян, когда познакомились, скоро так привязались друг к

другу, что дай Боже всем родным братьям иметь между собой такие отношения. Но наружное проявление дружбы этих двух приятелей было совсем особенное и трудно объяснимое.

Насколько они любили друг друга, настолько же они были грубы друг с другом. Но под этой грубостью скрывалась такая нежная любовь, что видевшего и чувствовавшего это такое отношение трогало до самой души. Несколько раз я, зная подкладку той или иной грубости, не мог владеть собой, и от умиления у меня невольно выступали слезы на глазах.

Например, бывали такие картинки:

Елов попадает к кому-нибудь в гости, где ему предлагают конфеты, и условности данного места обязывают его съесть конфету, чтобы не оскорбить предложившего. Елов, как он ни любил конфет, бывало, ни за что ее не съест, а спрячет в карман, чтобы снести Погосьяну; но даст ему не просто, а употребит при этом всевозможные насмешки и целую кучу словесных оскорблений.

Он это делал обычно так: во время разговора или обеда он как бы нечаянно находит в своем кармане конфету и, протягивая Погосьяну руку с конфетой, прибавляет:

– Черт возьми, откуда у меня завалилась в кармане эта дрянь. На, жри эту гадость! Это по твоей специальности жрать все, что кому не надо.

Погосьян берет ее, тоже ругаясь, вроде:

– Куда твоему рылу такой деликатес; тебе только в пору жрать желуди, как жрут твои братья свиньи!

А пока Погосьян ел конфету, Елов, делая презрительное лицо, говорил:

– Смотрите, как жрет; смакует, как карабахский осел колючки. Теперь, после этой конфеты, он будет за мной бегать, как собака Жучка, потому что я дал ему эту гадость.

И разговор продолжался в таком роде.

Елов, кроме того что был феномен по знанию книг и авторов, стал впоследствии также феноменом по знанию разных языков. Я, который тогда говорил на восемнадцати языках, чувствовал себя перед ним щенком. Когда я еще не знал ни одного слова из языков европейских народов, он говорил уже почти на всех этих языках в совершенстве, так что трудно было узнать, что он не той национальности, на языке которой он сейчас говорит. Например, раз был такой случай:

Профессору археологии Скрыдлову (о нем будет речь впереди) нужно было перенести через реку Аму-Дарью одну афганскую святыню, а сделать этого не было никакой возможности, так как за переходящими русскую границу в обоих направлениях было учреждено большое наблюдение – как

со стороны афганских стражников, так и со стороны английских войск, почему-то там в то время находившихся во множестве.

И вот Елов, достав где-то старую одежду английского офицера, переоделся и пошел туда, где стоял пост этих войск, выдавая себя за англичанина из Индии, попавшего сюда на охоту за туркестанскими тиграми, и сумел так завлечь их внимание своими английскими рассказами, что мы успели без помехи этих английских войск, не торопясь провести с того берега то, что хотели.

Елов, кроме всего, что он делал, еще усиленно учился; но он не поступил, как собирался, вольноопределяющимся, а поехал в Москву, где блестяще выдержал экзамен в Лазаревский Институт и через несколько лет выдержал при университете, кажется Казанском, экзамен на звание филолога.

Как у Погосьяна было своеобразное понятие о физической работе, так и у Елова был очень оригинальный взгляд на мозговую работу. Он говорил:

– Все равно наша мысль работает день и ночь. Чем позволять ей думать о «шапке-невидимке» или о «богатствах-Аладдина», лучше пусть мы будем заняты чем-нибудь полезным. На давание направления мысли, конечно, идет некоторая энергия, но этой энергии пойдет за сутки не больше того, сколько у нас расходуется на переваривание одного завтрака. Поэтому я решил изучать языки, чтобы не только не допускать самую мысль дармоедничать, но и не позволять ей своими идиотскими мечтаниями и ребяческими фантазиями мешать другим моим функциям. А знание языков само по себе, может быть, когда-нибудь и пригодится.

Этот мой друг юности еще жив и здоров и в полном благополучии проживает в одном из городов северной Америки.

Во время мировой войны он был в России и большей частью проживал в Москве.

Русская революция застала его где-то в Сибири, куда он ездил проверять один из многочисленных своих книжных и писчебумажных складов.

Во время революции он вынес очень много неприятностей, и она также смела с лица земли все его богатства.

Только три года тому назад его племянник, доктор Елов, приехав из Америки, уговорил его переселиться туда.

## Князь Юрий Любовецкий

Замечательным, из ряда вон выходящим человеком был также и князь Юрий Любовецкий, родом из России.

Он был намного старше меня и в течение почти сорока лет был моим как бы старшим товарищем и близким другом.

Отдаленной, косвенной причиной того, что мы с ним встретились на жизненном пути и сочетались тесными узами многолетней дружбы, послужило то событие, что семейной жизни его суждено было внезапно трагически оборваться.

Еще в молодости, когда князь был гвардейским офицером, он сильно полюбил очень красивую и схожую с ним по характеру молодую девушку и женился на ней.

Они жили в Москве, на Садовой, в собственном доме князя.

Во время родов первым ребенком княгиня умерла, и князь с горя, ища забвения, сначала заинтересовался спиритизмом, надеясь войти в общение с духом своей любимой покойной жены, а затем, незаметно для самого себя, все более и более стал увлекаться изучением оккультных наук и исканием смысла жизни вообще.

Он до того погрузился во все это, что совершенно изменил весь прежний распорядок своей жизни: никого не принимал, нигде не бывал и, запершись у себя в библиотеке, непрерывно занимался захватившими его вопросами, касавшимися области оккультизма.

И вот однажды, когда он был этим особенно занят, его затворничество нарушил пришедший к нему какой-то неизвестный старик, которого князь, к удивлению всего дома, немедленно принял и, запершись в библиотеке, долго с ним беседовал.

После этого визита князь очень скоро уехал из Москвы и с тех пор почти всю последующую свою жизнь провел в Африке, Индии, Афганистане и Персии.

В Россию он приезжал очень редко, только по необходимости, и то на короткое время.

Князь вначале был очень богатым человеком и все свое богатство тратил на «искания», организовывая специальные экспедиции на места, где он думал найти ответы на заинтересовавшие его вопросы; он подолгу жил в разных соответствующих монастырях и встречался со многими людьми, имевшими тот же интерес, что и он.

Я его, уже в зрелом возрасте, в первый раз встретил, когда сам был еще молодым человеком, и с тех пор до самой его смерти мы постоянно поддерживали между собой контакт.

Эта встреча произошла в Египте, у пирамид, вскоре после того, как я расстался с Погосьяном.

Я только вернулся из Иерусалима, где деньги на жизнь зарабатывал тем, что показывал приезжим, главным образом русским, достопримечательности Иерусалима и давал соответствующие объяснения – словом, был профессиональным проводником.

Вскоре после моего возвращения в Египет я решил и здесь заняться тем же. Языки арабский, греческий и необходимый тогда для европейцев итальянский я знал хорошо и в несколько дней усвоил все, что требовалось знать проводникам, и стал вместе с пройдохами-арабчонками заниматься опутыванием наивных туристов.

Так как в таком деле я был, как говорится, «насобачен», к тому же нельзя сказать, чтобы и на этот раз в карманах было «густо», то уже через несколько дней я стал, в целях заработка и более успешного выполнения задуманного мною, опять проводником.

Вот в это время однажды взял меня в проводники один русский – как после оказалось, профессор археологии Скрыдлов.

Когда мы с ним шли от Сфинкса к пирамиде Хеопса, его окликнул проходивший господин с еле просвечивающей сединой, который назвал моего патрона гробокопателем и, радуясь встрече, стал расспрашивать о его здоровье.

Они между собой говорили по-русски, а мой патрон со мной – на ломаном итальянском языке, не зная, что я говорю по-русски.

Они сели у подошвы пирамиды, и я неподалеку от них сел так, что слышал ясно все, что они говорили, и стал жевать свой чурек.

Подошедший господин, оказавшийся князем, спросил между прочим профессора:

– Неужели вы все еще продолжаете беспокоить прах давно умерших людей и собираете никому не нужную дрянь, когда-то какими-то народами применявшуюся для их дурацкой жизни?

– Что же делать?! – ответил профессор. – Это все же, по крайней мере, что-то реальное, видимое, а не такое эфемерное, чему вы посвятили вашу жизнь, которую вы могли бы пользоваться во всю, как человек полный здоровья и богатый.

Вы ищете какую-то истину, выдуманную когда-то каким-то

сумасшедшим бездельником, а то, что я делаю – если и не дает ничего для удовлетворения любопытства, по крайней мере, если захочешь, дает карману.

В этом духе они говорили долго, пока мой патрон не пожелал пойти к другим пирамидам и попрощался с князем до скорой встречи в старых Фивах.

Надо сказать, что я тогда все свободное время ходил как угорелый по этим местам со своей картой старого Египта, в надежде благо даря ей найти объяснение Сфинкса и других памятников старины.

И вот, спустя несколько дней после встречи профессора с князем, я как-то раз, задумавшись, с раскрытой картой в руках сидел у подошвы одной из пирамид.

Вдруг я почувствовал, что кто-то стоит надо мной.

Я поспешно сложил свою карту и обернулся. Это был тот господин, который окликнул тогда моего патрона, профессора Скрыдлова, у пирамиды Хеопса.

Он, бледный и в сильном волнении, спросил меня на итальянском языке, откуда у меня эта карта.

По его виду и проявленному интересу к карте, я сразу заподозрил, что это, должно быть, тот самый князь, про которого говорил армянский священник, у которого я тайком скопировал эту карту, и я, не отвечая на вопрос, в свою очередь спросил его на русском языке, не тот ли он человек, который у такого-то священника хотел купить карту.

Он ответил:

– Да, я тот самый. – И сел рядом со мною.

Тогда я рассказал ему, кто я и как попала ко мне эта карта, и почему я уже знал о его существовании.

Постепенно мы разговорились.

После того, как он совершенно успокоился, он предложил мне отправиться к нему на квартиру в Каир, чтобы там спокойно продолжать наш разговор.

С этих пор между нами, ввиду общих интересов, и установилась настоящая связь, и мы стали часто встречаться, а наша переписка никогда не прекращалась и продолжалась в течение почти тридцати пяти лет.

За время нашего знакомства мы неоднократно вместе путешествовали; были в Индии, Тибете и в разных местностях Средней Азии.

В предпоследний раз мы встретились в Константинополе, где он имел собственный дом на Пере, недалеко от Русского Посольства, и где он

временами проживал подолгу.

Эта встреча произошла при следующих обстоятельствах:

Я возвращался из Мекки в компании бухарских дервишей, с которыми там познакомился, и еще с несколькими сартами-богомольцами, ехавшими домой.

Я хотел через Константинополь доехать Тифлиса, заехать в Александрополь и, повидавшись с родными, потом вместе с дервишами ехать тоже в Бухару.

Но мои планы, благодаря случайной встрече с князем, изменились.

Дело было так:

Приехав в Константинополь, я узнал, что наш пароход простоит там шесть-семь дней. Это было для меня досадное известие: ждать неделю, околавываясь без дела, было удовольствие не из очень приятных.

Поэтому я решил использовать это время, поехать в Бруссу к своему знакомому дервишу и, кстати, посмотреть на знаменитую Зеленую Мечеть.

Сойдя на берег в Галате, я решил зайти в дом князя, чтобы умыться там и почиститься и заодно повидать симпатичную для меня Марьям Баджи, старую армянку – экономку князя.

Согласно последним письмам, князь должен был быть уже на Цейлоне, но, к моему удивлению, он оказался не только в Константинополе, но и дома.

Как я уже говорил, мы с князем часто переписывались, но не видел я его уже два года, поэтому встреча была для обоих радостным сюрпризом.

Моя поездка в Бруссу отпала. Также пришлось изменить мой план поехать прямо на Кавказ, ввиду просьбы князя проводить в Россию некую девицу, из-за которой не состоялась также и его поездка на Цейлон.

Сходив в тот же день в баню и приведя себя в порядок, я вечером ужинал с князем и он говорил мне о себе; между прочим, с большим возбуждением и очень картинно, рассказал житейскую историю с той девицей, которую я согласился сопровождать в Россию.

Так как эта история относится к женщине, которая впоследствии, с моей точки зрения, стала замечательной во всех отношениях, то поэтому я не только постараюсь возможно подробнее пересказать эту самую, рассказанную мне князем Любоведским историю с этой девицей, но и расскажу немного о ее дальнейшей жизни, уже на основании моих личных встреч с нею и наблюдений, тем более что старая рукопись, посвященная мною более подробному описанию жизни этой замечательной женщины, под названием «Исповедь-польки», осталась среди моих многих рукописей и вещей в России, судьба которых мне до сих пор неизвестна.

Князь начал свой рассказ так:

– Неделю тому назад я собирался уехать на Цейлон пароходом Добровольного Флота. Я уже сел на пароход.

Среди провожавших меня был атташе Русского Посольства. Во время разговора он обратил мое внимание на одного пассажира – почтенного старика.

«Видите этого старика? – сказал он. – Ну, разве можно подумать, что он известный агент торговли живым товаром? А между тем это так».

Сказано это было на ходу. На пароходе была большая суতোлка, да и провожавших меня было много; не до старика мне было, так что я совершенно забыл о том, что мне говорил атташе.

Пароход тронулся. Было утро, ясная погода, я сидел на палубе и читал. Около меня крутился Джек (собака князя, фокстерьер, всюду его сопровождавший).

Проходит какая-то молодая красивая девица и начинает ласкать Джека, потом приносит ему сахару; но Джек без моего разрешения ни от кого ничего не берет. Вижу, он на меня косится: «Можно ли, дескать, взять?». Я кивнул головой, да еще сказал: «Можно, можно!».

Оказалось, что эта девица тоже говорила по-русски; разговорились – обычные вопросы: куда кто едет. Она сказала мне, что едет в Александрию на место гувернантки в семью русского консула.

Во время нашего разговора на палубу пришел тот старик, которого мне указал атташе, и позвал эту девицу.

Когда они вместе уходили, мне вдруг сразу вспомнились слова нашего атташе по поводу этого старика, и его знакомство с этой девицей показалось мне подозрительным.

Я задумался и стал припоминать.

Я знаю консула в Александрии, и, насколько мог припомнить, ему никакой гувернантки не могло требоваться.

Подозрение мое увеличилось.

Пароход наш должен был заходить во многие порты. На первой же остановке в Дарданеллах я послал телеграмму в Александрию консулу с запросом, нужна ли ему гувернантка.

Также, на всякий случай, послал телеграмму и консулу в Салоники, куда пароход должен был зайти, и поделился своими подозрениями с капитаном.

Словом, по приезде в Салоники выяснилась верность моих подозрений, а также и тот факт, что эта девица увезена обманным образом.

Девушка показалась мне симпатичной, и я решил ее выручить от грозившей ей опасности, отвезти ее обратно и даже не ехать на Цейлон, пока как-нибудь не устрою ее.

В Салониках мы с нею сошли с парохода и в тот же день пересели на другой, возвращавшийся в Константинополь. По приезде сюда я хотел сразу отправить ее на родину, но оказалось, что у нее никого нет, к кому бы она могла поехать. Вот мне и пришлось из-за нее здесь задержаться.

История ее довольно необычна.

Она полька, уроженка Волынской губернии. Девочкой жила она недалеко от Ровно в имении одного графа, у которого отец ее был управляющим.

Их было в семье две сестры и два брата.

Мать их умерла, еще когда все они были малолетними, и они воспитывались старой теткой.

Когда этой девице было 14 лет, а сестре ее – 16, умирает отец.

В это время один брат учился где-то в Италии, готовясь в ксендзы, а другой – в гимназии и был большим шалопаем, и вот уже год, как скрылся и, по слухам, стал жить где-то в Одессе.

По смерти отца две сестры со своей теткой принуждены были уехать из имения, так как наняли нового управляющего, и переехали в Ровно.

В скором времени умерла и старая тетка.

Положение сестер стало затруднительным.

Тогда они, по совету одной дальней родственницы, ликвидировали свое имущество и переехали в Одессу, где поступили в профессиональную школу, чтобы стать портнихами.

Младшая сестра была очень красивой и, в противоположность старшей, легкомысленной. У нее была масса поклонников.

В числе их был какой-то коммивояжер, который соблазнил ее и увез в Петербург; причем она, поссорившись со старшей сестрой, взяла часть своего имущества.

В Петербурге коммивояжер, обобрав ее, скрылся, и она осталась в чужом городе совершенно без средств.

После многих мытарств и борьбы она наконец попала к какому-то старому сенатору в любовницы, но однажды он, приревновав ее к какому-то молодому студенту, прогнал ее от себя.

Затем она попадает в какую-то «почтенную» семью одного доктора, и ее очень оригинальным способом приспособливают к расширению

практики доктора.

Жена доктора встретила ее в садике против Александринского Театра, подседа к ней и уговорила поселиться у них, а затем научила проделывать следующий маневр:

Гуляя по Невскому, она должна была, при заговаривании с ней мужчин, как говорится, «не-отшибать-их», а позволять провожать себя до дому и политично давать им некоторые надежды. У подъезда она их оставляла, а преследующий, конечно, справлялся о ней у швейцара и получал справку, что это компаньонка жены такого-то врача. В результате у врача оказывался новый клиент, который выдумывал себе какую-нибудь болезнь, только чтобы войти в квартиру, надеясь на приятную встречу.

Поскольку я успел изучить натуру Витвицкой, – убежденно заметил князь, – она должна была все время своим подсознанием тяготиться такой жизнью, и только крайняя нужда заставила ее пойти на это.

Однажды, гуляя по Невскому с целью уловления клиента для своей патронессы, она совершенно неожиданно встретила своего младшего брата, которого не видела уже несколько лет.

Он был очень хорошо одет, производил впечатление богатого человека.

Встреча с родным братом была лучом счастья в ее беспросветной жизни.

Оказалось, брат имел какие-то дела в Одессе и за границей.

Когда он узнал, что ей не особенно хорошо живется, он предложил ей поехать в Одессу, где он, имея много знакомых, может ее хорошо устроить. Она согласилась.

По приезде в Одессу брат нашел для нее очень хорошее место с видами на будущее, а именно: поступить на службу гувернанткой в одну уважаемую семью – к русскому консулу в Александрию.

Через несколько дней брат познакомил ее с очень почтенным господином, который как раз случайно ехал в Александрию и согласился ее сопровождать.

Таким образом, она в один прекрасный день, в сопровождении этого на вид солидного господина, села на пароход и поехала.

Дальнейшее вам известно...

Князь сказал также, что он считает, что единственно только обстоятельства и несчастные условия семейной жизни привели ее на край гибели. Натура же ее неиспорчена, и у нее много самых хороших задатков.

Поэтому он решил принять участие в ее дальнейшей судьбе и поставить ее на правильный жизненный путь. «А для этого – сказал

князь, – надо прежде всего отправить эту несчастную к моей сестре в мое имение в Тамбовской губернии, чтобы она раньше хорошенько отдохнула, а дальше там уже видно будет».

Зная идеализм князя и его доброту, я отнесся к его затее очень скептически и считал, что в данном случае труд его может оказаться напрасным. Я тогда же подумал: «Что с возу упало, то пропало».

Еще ни разу не видя Витвицкую, у меня к ней почему-то зародилось что-то вроде ненависти, но я не мог отказать князю и, скрепя сердце, согласился проводить эту, как я тогда думал, «ничтожную» женщину.

Я ее впервые увидел через несколько дней, когда мы сели на пароход.

Она была выше среднего роста, очень красивая и хорошо сложенная шатенка.

У нее были добрые, честные глаза, которые иногда делались какими-то дьявольски-хитрыми.

Мне кажется, что историческая Таис должна была быть такого же типа, как она.

При виде ее у меня сразу возникло в отношении к ней двойственное чувство – я испытывал к ней то чувство ненависти, то чувство жалости.

Итак, я ее отвез в Тамбовскую губернию.

Она прожила долго с сестрой князя, которая ее очень любила, возила ее за границу, где они подолгу жили, особенно в Италии.

Понемногу, под влиянием сестры князя и его самого, она заинтересовалась их идеями, и эти идеи скоро стали несомненной частью ее сущности. Она стала не шутя работать над собой, и результат этой работы знает всякий, кто только раз встречался с ней.

После того как я ее проводил в Россию, я долгое время ее не видал.

Кажется, только через четыре года я совершенно случайно встретился с ней и с сестрой князя Юрия Любоведского в Риме при следующих оригинальных обстоятельствах:

Когда однажды я, все преследуя мои цели, приехал в Рим, и имевшиеся у меня деньги были на исходе, то я, с помощью и по совету двух молодых айсоров, с которыми познакомился здесь же в Риме, начал чистить сапоги на улице.

Нельзя сказать, чтобы мои дела сначала шли хорошо, а потому, чтобы увеличить свой доход, я решил это ремесло повести каким-нибудь новым, нешаблонным образом.

С этой целью я заказал специальное кресло, под которым, невидимо для посторонних, поместил фонограф Эдисона, от которого вывел наружу резиновую трубу с наушниками на конце таким способом, чтобы, когда

человек сидел в кресле, они касались бы его ушей, и я незаметно пускал механизм в ход.

Таким образом, пока я чистил сапоги, мой клиент слушал Марсельезу или что-нибудь другое в этом роде.

Кроме того, к правой ручке кресла я приделал своего рода столик, на который ставил графин с водой и вермутом и клал несколько иллюстрированных журналов.

Благодаря этому у меня дела пошли более чем успешно и начали сыпаться лиры, а не чентезими. Особенно хорошо платили молодые богатые туристы.

Вокруг меня целыми днями стояли любопытные ротозеи, большинство из которых ожидали очереди посидеть на кресле, чтобы, пока я чищу их сапоги, они могли бы наслаждаться неслыханным и невиданным и, кстати, показать себя торчащим здесь целый день, таким же тщеславным дуракам, как они сами.

И вот, в окружающей меня толпе я стал часто замечать одну молодую даму. Она обратила на себя мое внимание тем, что показалась мне очень знакомой, но за неимением времени я подробно ее не разглядывал.

Когда же раз случайно услышал ее голос, и она сказала по-русски бывшей с ней пожилой даме: «Держу пари, что это он!» – то это меня настолько заинтересовало, что я, кое-как освободившись от клиентов, прямо подошел к ней и по-русски спросил:

– Скажите пожалуйста, кто вы такая? Мне кажется, что я где-то когда-то вас видел!

– Я та, – ответила она, – которую вы когда-то так ненавидели, что от излучения вашей ненависти попадавшие в эту среду мухи дохли!

Если вы вспомните князя Любоведского, то, может быть, вспомните и ту несчастную, которую вы сопровождали из Константинополя в Россию.

Тут я сразу ее узнал, а также и бывшую с нею пожилую даму, которая была сестрой князя.

С этого дня я, пока они не уехали в Монте-Карло, каждый вечер проводил у них в отеле.

Через полтора года после этой встречи она, в сопровождении Скрыдлова, приехала в сборное место для одного нашего большого путешествия, и с тех пор она стала постоянным членом наших скитаний.

Чтобы дать хотя бы некоторую характеристику внутреннего мира Витвицкой – этой женщины, стоявшей уже на пороге, так сказать, «моральной-гибели» и впоследствии, только благодаря помощи случайно

очувившихся на ее жизненном пути идейных людей, ставшей такой, которая, смело могу сказать, могла бы служить идеалом для всякой женщины – ограничусь здесь только тем, что расскажу об одной стороне ее многогранной жизни.

Она между прочим очень увлекалась наукой о музыке.

Насколько серьезно было отношение у нее к этой науке, очень хорошо может осветить наш разговор, имевший место во время одного нашего совместного путешествия.

Раз мы все проезжали по центру Туркестана и попали, благодаря соответствующей рекомендации, в один, не всем доступный, монастырь; прожив там три дня, мы отправились дальше.

Утром, когда мы выезжали из этого монастыря, на Витвицкой, как говорится, «не-было-лица»; рука ее была отчего-то на перевязи, и она долго не могла самостоятельно сесть на лошадь – я с одним товарищем должны были помочь ей в этом.

Когда весь наш караван тронулся, я верхом на лошади поехал рядом с Витвицкой немного позади всех.

Мне очень хотелось узнать, что с ней произошло, и я настойчиво расспрашивал ее об этом.

Я думал, что кто-нибудь из товарищей, может быть, озверел и осмелился чем-нибудь оскорбить ее как женщину – ее, ставшую для всех нас святою, и мне очень хотелось узнать, кто этот подлец, чтобы сейчас же, не слезая с лошади, без всяких разговоров, подстрелить его как куропатку.

На мои расспросы Витвицкая наконец ответила, что причина ее состояния, как она выразилась, – «проклятая-музыка», и спросила меня, помню ли я музыку позавчерашней ночи.

Я вспомнил, как мы все, сидя в монастыре в углу, чуть не рыдали от монотонной музыки, исполнявшейся во время одной церемонии монастырских братьев, и как, после долгого обмена мнений, никто из нас не мог объяснить, в чем тут было дело.

Немного погодя Витвицкая сама заговорила, и ее ответ на причину такого странного ее состояния вылился в длинный рассказ.

Не знаю, потому ли что природа, среди которой мы ехали, была в это утро неопишимо восхитительна, или была какая-нибудь другая причина, но то, что она мне откровенно рассказала в это утро, я и теперь помню почти дословно, несмотря на то что с тех пор прошло так много лет, и каждое ее слово так сильно запечатлелось в моем мозгу, что мне кажется, что я и сейчас слышу ее.

Она начала так:

– Не помню, трогало ли меня внутренне что-то в музыке, когда я была совсем молодой, но я очень хорошо помню, как я рассуждала о ней тогда.

Мне, как всякому человеку, не хотелось казаться неумной, и я, одобряя или критикуя музыку, рассуждала о ней только умом. Даже в том случае, когда услышанная мною музыка была для меня совершенно безразличной, я, если меня спрашивали о ней, высказывалась за или против, смотря по обстоятельствам.

Иногда, если многие восхищались ею, я говорила против нее, употребляя все те научные слова, которые я знала, чтобы люди думали, что я не какая-нибудь, а образованная, и могу разбираться во всем.

Иногда же осуждала ее в унисон с другими, потому что думала, что раз другие критикуют, то, значит, наверное в ней есть что-нибудь такое, чего я не знаю, но за что ее надо критиковать.

Если же одобряла, то потому что предполагала, что специалист, какой бы он ни был, но занимавшийся всю жизнь этим делом, не стал бы выпускать в свет свое произведение, если бы оно этого не заслуживало. Словом, говорила ли я за или против – я была всегда, как сама с собой, так и с другими, неискренней и никаких угрызений совести при этом не испытывала.

Впоследствии, когда я попала под крылышко доброй старушки, сестры князя Любоведского, она, между прочим, уговорила меня учиться играть на рояле: «Всякая порядочная и интеллигентная женщина, – говорила она, – должна уметь играть на этом инструменте».

Чтобы угодить этой доброй старушке, я вполне отдалась изучению игры на рояле и, действительно, через полгода играла уже так, что меня пригласили даже участвовать в одном благотворительном концерте, и все присутствующие на нем наши знакомые начали меня всячески восхвалять и удивляться моему «таланту».

Раз, после моей игры, подседа ко мне моя милая старушка и очень торжественно и серьезно начала говорить о том, что раз Богом дан мне такой талант, то было бы большим грехом пренебрегать им и не дать расцвести в полной мере. При этом она добавила, что уж если заниматься музыкой, то следует действительно быть образованным по этой части, а не только играть, как всякая Мария Ивановна, а потому, по ее мнению, надо прежде всего изучать теорию музыки и, если будет нужно, то даже держать где следует экзамен.

С этого дня она начала выписывать для меня всякие книги по музыке и даже сама ездила в Москву покупать их, и скоро вдоль стен моей рабочей комнаты стояли громадные шкафы, битком набитые всякими

музыкальными изданиями.

Я тогда с большим рвением отдалась изучению теории музыки, не только потому что хотела угодить старушке, но и потому что сама лично сильно увлеклась этим делом, так как интерес к законам музыки во мне все более и более возрастал. Имевшиеся у меня книги ничего, однако, дать мне не могли, так как в них совсем не говорилось ни о том, что такое музыка, ни о том, в чем состоят ее законы, а лишь на разный лад повторялись указания по истории музыки, вроде: что у нас октава имеет семь нот, а у древних китайцев их было всего пять; что арфа древних египтян носила название «тебуни», а флейта – «мем»; что мелодии древних греков строились на основе различных ладов, как то: ионийском, фригийском, дорийском и многих других; что в девятом веке в музыке появилось «многоголосие», действовавшее вначале столь какофонически, что был даже случай преждевременного разрешения от бремени роженицы, внезапно услышавшей в церкви рев органа, заигравшего эту музыку; что в одиннадцатом веке некий монах Гвидо Аретинский изобрел «сольмизацию» и т. д., и т. д. Главным же образом писалось о том, какие знаменитые люди занимались музыкой и как они стали известными; писалось даже о том, какой галстук и какие очки носил такой-то знаменитый музыкальный автор, но что такое музыка в самом своем существе и какое она имеет действие на психику людей – об этом нигде ничего не говорилось.

Прошел целый год в штудировании мною этой так называемой «теории-музыки». Я прочла почти все свои книги и, в конце концов, окончательно убедилась, что литература мне ничего не даст, но так как интерес мой к музыке не прекращался, то я, бросив всякое чтение, углубилась в собственные мысли.

Раз как-то от скуки я взяла из библиотеки князя одну книгу под названием «Мир-вибраций», которая дала моим мыслям о музыке определенное направление. Автор этой книги вовсе не был музыкант, и по всему было видно, что он и не интересовался музыкой – он был инженер-математик. В одном месте своей книги он упомянул о музыке только как для примера объяснения вибраций. Он писал, что звуки музыки, имеющие известные вибрации, наверно действуют на имеющиеся тоже в человеке вибрации, и потому-то человеку и нравится или не нравится та или другая музыка. Это я сразу поняла и с предположениями инженера вполне согласилась.

Мои мысли в этот период всецело были поглощены этими интересами, и даже когда я разговаривала с сестрой князя, я всегда старалась

переводить разговор на музыку, благодаря чему и старушка постепенно стала интересоваться значением ее, и мы уже вместе или рассуждали о ней, или делали опыты.

Сестра князя даже купила специально для этих опытов несколько кошек и собак и еще некоторых других животных.

Мы стали также призывать к себе для опытов кого-нибудь из нашей прислуги, поили их чаем и часами играли для них на рояле.

Первое время наши опыты были безрезультатны; но раз, когда у нас были в гостях человек пять нашей прислуги и десять человек мужиков из бывшей собственной деревни князя, половина из них заснула от исполнения на рояле сочиненного мною вальса.

Мы этот опыт повторили несколько раз, и с каждым разом число засыпавших все увеличивалось. Хотя я со старушкой сочиняла, по всевозможным принципам, и другую музыку для иных воздействий на людей, но кроме усыпления гостей мы ничего не добились.

В конце концов, я от работы и постоянных дум о музыке так утомилась и исхудала, что когда старушка раз внимательно посмотрела на меня, она испугалась и, по предложению одной знакомой, заторопилась увезти меня в заграницу.

Мы поехали в Италию, и там я, развлекаясь другими впечатлениями, постепенно стала приходить в себя. Только через пять лет, когда я с вами предприняла наше памиро-афганское путешествие и увидела опыты братьев Монопсихов, я опять стала думать о действии музыки, но все-таки уже не с таким увлечением, как вначале.

В последующие годы я всегда, когда вспоминала мои первые опыты с музыкой, не могла удержаться от смеха над нашей тогдашней наивностью и над тем, что мы придавали такое серьезное значение усыплению наших гостей. Нам и в голову не приходило, что эти люди с удовольствием засыпали просто потому, что понемногу привыкли чувствовать себя у нас как дома, и что им было приятно после целого дня работы, хорошо поужинав и выпив рюмку водки, предложенной доброй старушкой, сидеть в мягких креслах.

Когда, после опытов братьев Монопсихов и их объяснений, я вернулась в Россию, я опять начала свои опыты над людьми. Я нашла, как посоветовали братья, абсолютное «ля», согласно давлению воздуха того места, где производится опыт, и настроила соответственно рояль, принимая также во внимание величину комнаты. Кроме того, я выбрала для опытов людей, имевших уже в себе многократно повторившиеся впечатления известных аккордов, и, наконец, приняла также во внимание характер

места и расу людей. Но все же я не могла получить одинаковых результатов, т. е. не могла добиться, чтобы одной и той же мелодией вызывать одинаковые переживания у всех людей.

Слов нет, когда люди попадались абсолютно отвечающие перечисленным условиям, я могла по своему желанию вызывать у них и смех, и плач, и злость, и доброту и т. д., но у людей смешанной расы, или если психика данного субъекта чуть-чуть выходила из ряда обыкновенных, таких результатов достигать не удавалось, и вообще, как я ни старалась, я так и не могла добиться, чтобы у всех людей без исключения вызывать одной и той же музыкой желательное мне настроение, а потому опять бросила свои опыты и как будто, мне по крайней мере так показалось, успокоилась на достигнутых результатах.

И вот, позавчера эта музыка, почти без мелодии, вызвала одинаковое состояние у всех нас – людей не только совершенно разных по расе и национальности, но даже совсем противоположных по характерам, типам, привычкам и темпераментам. Объяснить это чувством человеческой стадности – нельзя, так как мы недавно экспериментально доказали, что как раз у всех позавчерашних товарищей, которые там вместе сидели, благодаря соответствующей работе над собой это чувство совершенно отсутствует. Словом, все причины, которые в таких случаях могли бы вызвать это явление и которыми можно было бы так или иначе объяснить его, позавчера отсутствовали, и у меня, когда я вернулась после этой музыки в свою комнату, опять воскресло то интенсивное хотение узнать настоящую, реальную причину этого феномена, над разрешением которого я в моей жизни так много ломала свою голову.

Я всю ночь не могла спать, все думала, в чем же тут, наконец, дело. Я продолжала думать также и весь следующий день, у меня даже исчез аппетит – я вчера ничего не ела и не пила; а сегодня ночью мое отчаяние дошло до того, что я со злости или от бессонницы, или еще от чего другого, почти непроизвольно укусила свой палец и так сильно, что чуть не отделила его от руки! Вот почему моя рука сейчас на перевязи – она так болит, что я еле сижу на лошади!

Ее рассказ очень меня тронул, и я от души хотел ей чем-нибудь помочь и, в свою очередь, рассказал, как год тому назад я случайно натолкнулся на удивившее меня явление, связанное тоже с музыкой.

Я ей рассказал, как благодаря рекомендательному письму одного великого человека, отца Евлисия, бывшего в детстве моим учителем, я попал к Ессеям, состоящим почти только из евреев, которые очень древней еврейской музыкой и пением выращивали в течение получаса разные

растения, и рассказал ей подробно, как они это делали. Она так увлеклась моим рассказом, что у нее даже щеки разгорелись. Результатом нашего разговора было то, что мы условились, как только приедем в Россию, устроиться в таком городе, где бы мы без помехи со стороны других могли вполне серьезно заниматься опытами с музыкой.

После этого разговора Витвицкая во все время нашего пути была такой, как всегда. Она ловче всех, несмотря на больной палец, взбиралась на всякие скалы и могла чуть ли не за 200 километров различить и найти место какого-нибудь памятника – указателя направления пути.

Витвицкая умерла в России от простуды во время катания по Волге и похоронена в Самаре.

Я был в Самаре во время ее смерти, так как, когда она заболела, был вызван туда из Ташкента.

Вспоминая о ней теперь, когда я уже сам перевалил через половину моей жизни и, побывав почти во всех странах мира, перевидал тысячи женщин, я должен признаться, что такой, как она, я никогда не встречал, да навряд ли когда-либо встречу.

Итак, продолжая мой прерванный рассказ о моем старшем товарище, сущностном друге, князе Любовецком, скажу, что вскоре после моего отъезда из Константинополя он тоже уехал оттуда, и я, после этой нашей константинопольской встречи, в течение двух лет не видался с ним, но периодически получал от него письма.

Благодаря этим письмам я приблизительно был в курсе того, где он находится и в чем в данное время заключается центротяжестный интерес его жизни.

Вначале он попал на Цейлон, а потом предпринял путешествие вверх по течению реки Инд до ее истоков. Позже он мне писал то из Афганистана, то из Белуджистана, то из Кафиристана; а потом эта наша регулярная переписка внезапно прекратилась: о нем не стало, как говорится, «ни-слуху-ни-духу».

Я был уверен, что он во время какого-нибудь своего путешествия погиб, и понемногу свыкся с мыслью, что потерял навсегда самого близкого мне человека, как вдруг, совершенно неожиданно, я с ним столкнулся в исключительной обстановке в самой глубине Азии.

В целях лучшего освещения этой моей последней встречи с человеком, по моим понятиям являвшимся в современных условиях человеческой жизни идеалом, достойным подражания, я должен еще раз прервать данный

мой рассказ и, прежде чем описать эту встречу, рассказать о некоем А. Соловьеве, ставшем впоследствии тоже моим другом-товарищем и сделавшимся первым в мире специалистом по знанию действия опиума и анаши на организм и психику человека, а также знатоком так называемого «восточного-врачеванья» вообще и тибетской медицины в частности.

Моя последняя встреча с Юрием Любовецким и произошла во время предпринятого мною совместно с Соловьевым путешествия по Азии.

### *Соловьев*

В семи-восьми верстах от столицы Бухарского ханства, города Бухары, вокруг станции Закаспийской железной дороги русскими образован новый большой город «Новая-Бухара». В этом новом городе я и проживал, когда впервые встретился с Соловьевым.

Я здесь жил главным образом для того, чтобы иметь возможность бывать на местах, где можно было ближе познакомиться с основами, на которых базируется религия Магомета, и часто встречаться со знакомыми бухарскими дервишами разных толков, в том числе и с большим моим давнишним приятелем – дервишем Богаэдин, которого хотя в то время, как это мне было от других дервишей известно, и не было в Бухаре и никто не знал, где он и куда уехал, но я имел основание рассчитывать на скорое его возвращение туда.

До этого я жил в бухарском городе П., куда ездил тоже чтобы повидаться с некоторыми жившими в это время там дервишами толка З., с которыми познакомиться мне еще раньше советовал Богаэдин.

Когда я приехал в Новую Бухару, я нанял там небольшую комнатку у одной торговки русским квасом, толстой еврейки. Я жил в этой комнатке в компании с моим преданным другом – собакой, громадной курдской овчаркой «Филосом», который до этого времени и после, в течение девяти лет всегда сопровождал меня во всех моих скитаниях. Между прочим, этот Филос во всех городах и местечках различных стран, где мне приходилось хотя бы немного проживать, быстро делался знаменитостью, особенно у местных мальчишек, благодаря своему таланту носить мне для чая кипяток из чайханы и трактиров, куда я его посылал с чайником; таким же манером он с моей запиской ходил иногда даже за покупками.

Эта собака, на мой взгляд, вообще была настолько удивительной, что я даже считаю нелишним потратить немного времени, чтобы ознакомить читателя с ее редкостной психикой.

Опишу хотя бы случай и вытекшую из него ассоциативную сообразительность ее психической проявляемости, имевшие место как раз после того, как мои знакомые дервиши разъехались из города П., а я перебрался в город Самарканд.

Надо сказать, что мои денежные ресурсы пришли к концу, и самое большое, что у меня, после расплаты за комнату в караван-сараяе и оплаты других долгов, могло остаться, было всего шестьдесят копеек, а заработать чем-нибудь деньги в городе П. было невозможно, потому что в данное время года был нерабочий сезон, торговать же какими-нибудь художественными или техническими безделушками в провинциях этих мест, еще далеких от европейской цивилизации, было не так-то легко, а в Самарканде – наоборот, было много русских и всякого другого европейского народа, и, кроме того, предвидя возможность моей поездки туда, я недавно дал адрес для присылки мне из Тифлиса денег на Самарканд.

Не имея на что ехать, я решил это расстояние – около 100 верст – пройти пешком, и в одно прекрасное утро с моим другом Филосом тронулся в путь. На дорогу я купил себе на пять копеек хлеба, а на другие пять копеек – баранью голову для Филоса.

Запас еды как мой, так и Филоса я расходовал очень экономно, и потому нельзя сказать, чтобы мы были сыты.

На одном месте дороги по обеим сторонам ее имелись «бостаны», т. е. огороды.

Там в Туркестане во многих местах принято, для отгораживания одного огорода от другого и от дороги, вместо деревянных или проволочных загоронок сеять земляную грушу, которая растет очень высоко и густо и заменяет забор.

В дороге попались как раз такие загороди.

Так как мне очень хотелось есть, я решил откопать несколько земляных груш. Посмотрев кругом, не видит ли кто-нибудь, я на скорую руку выкопал четыре большие груши и потом, продолжая идти, с удовольствием стал их кушать. Филосу я тоже дал немного попробовать, но он, обнюхав их, не стал есть.

Придя в Новый Самарканд, я нанял себе у одной местной жительницы на окраине города комнату и сейчас же пошел на почт у, узнать, не пришли ли деньги; но оказалось, что они еще не пришли.

Задумавшись, как достать денег, я решил зарабатывать их деланием искусственных бумажных цветов и для этого тотчас же отправился в магазин покупать цветную бумагу; но подсчитав, что на имеющиеся у меня

пятьдесят копеек не очень-то много купишь цветной бумаги, я просто купил белую тонкую бумагу и анилиновой краски, понемногу разных цветов, чтобы самому покрасить бумагу. Таким образом, за небольшую сумму денег я смог иметь много цветной бумаги.

Из магазина я пошел в городской сад, чтобы отдохнуть на скамейке под тенью деревьев. Мой Филос сел тут же.

Погруженный в мои мысли, я смотрел на деревья, где с ветки на ветку летали воробьи, наслаждаясь послеобеденной тишиной и прохладой. Вдруг мне пришла в голову мысль: «Почему бы мне не попробовать зарабатывать деньги воробьями? Здешние жители, сарты, очень любят канареек и разных других певчих птиц – чем же воробей хуже канарейки?»

Тут же на улице, проходившей мимо городского сада, была извозчичья биржа, где стояло много извозчиков, отдохавших и дремавших от послеобеденной духоты на своих козлах. Я пошел туда и понадергал из хвостов лошадей нужные мне волосы, из которых сделал силки и понаставил в разных местах. Филос все время с большим вниманием следил за мною. Скоро в один силок попал воробей. Я его осторожно вынул и понес домой.

Дома у хозяйки я попросил ножницы и подстриг моего воробья, придав ему форму канарейки, а потом анилиновыми красками фантастически раскрасил его. Этого воробья я понес в Старый Самарканд, где моментально его продал, выдав за особую «американскую-канарейку», и взял за него два рубля.

На эти деньги я тут же купил несколько простых раскрашенных клеток, и с этого момента начал продавать воробьев уже в клетках.

За две недели таких «американских-канареек» я продал около восьмидесяти штук.

В первые три-четыре дня, ходя на ловлю воробьев, я брал с собою Филоса; но после, когда он уже стал среди ново-самаркандских мальчишек «знаменитостью», я его не стал брать, так как к нему в городской сад стали приходить много мальчишек, которые вспугивали воробьев и мешали мне ловить их.

И вот, на другой день после того, как я перестал брать с собой Филоса, он утром рано скрылся из дому и только вечером, уставший и весь в грязи, вернулся и важно положил на мою постель воробья – конечно,дохлого. И это так повторялось каждый день – утром он уходил и, возвращаясь домой, всегда приносил и клал на мою постельдохлого воробья.

В Самарканде я не рискнул долго оставаться. Я опасался, что – «чем-черт-не-шутит» – вдруг мои воробьи попадут под дождь или какая-нибудь

«американская-канарейка» в клетке вздумает выкупаться в питьевой воде, и тогда может выйти большой скандал, так как от этого мои «американские-канарейки» обратились бы в безобразных, общипанных и уродливых воробьев, и потому поторопился скорее подобру-поздорову убраться отсюда.

Из Самарканда я тогда как раз и поехал в Новую Бухару, потому что по моим расчетам к этому времени мой приятель, дервиш Богаэдин, мог уже вернуться туда.

Выезжая из Самарканда, я чувствовал себя богатым человеком, так как в кармане у меня было больше, чем сто пятьдесят рублей, а такая сумма денег по тогдашнему времени считалась уже солидной.

В Новой Бухаре я, как уже говорил, снял комнату у одной толстой квасницы.

В этой комнате никакой мебели не было, и я на ночь вместо кровати расстилал для спанья в одном из углов чистую простыню и спал на ней без подушки.

Делал это я тогда так не из одной только экономии, нет... Такой способ спанья, хотя, слов нет, обходится действительно очень дешево, но делал я так главным образом потому, что в тот период моей жизни я был «чистокровным» последователем идей пресловутых индийских йогов. Впрочем, надо признаться, что даже тогда, в период самых больших моих «материальных-затруднений», я не в силах был себе отказать в такой роскоши, как лежать непременно на чистой простыне и непременно обтираться на ночь одеколоном, и обязательно не меньше 80 градусов.

На такую мою импровизированную постель, через пять или десять минут, когда по соображению Филоса я уже должен был спать, ложился и он, причем никогда с той стороны, где было мое лицо, а к спине.

У изголовья моего «ультра-комфортабельного» ложа стоял не менее комфортабельный столик, состоявший из перевязанных веревкой книг, именно тех книг, которые касались вопросов, особенно меня увлекавших в данный период.

На такой мой оригинальный «столик-библиотеку» я и ставил на ночь всякие могущие потребоваться мне предметы, как то: керосиновую лампу, памятную книгу, порошок от клопов и т. д.

И вот, через несколько дней после моего приезда в Новую Бухару, утром на этом моем импровизированном столике я нашел большую земляную грушу!

Увидя это, я, помню, еще подумал: «Ах, шельма-хозяйка! Она, несмотря на свою толщину, все-таки такая чуткая, что сразу почувала мою

слабость к земляным грушам».

Подумав так, я съел ее с большим удовольствием.

В том, что эту грушу принесла именно хозяйка, я был вполне уверен по той простой причине, что кроме нее в это время в мою комнату пока еще никто не входил. Поэтому я, когда столкнулся с ней в этот же день в коридоре, с уверенностью поблагодарил ее за земляную грушу и даже в очень игривой форме подшутил на ее счет, но, к моему удивлению, из ее ответа я очень ясно понял, что она о земляной груше ничего не знает.

Когда на другое утро я опять увидел на том же месте земляную грушу, то хотя и на этот раз съел ее с не меньшим удовольствием, я серьезно задумался о таинственном их появлении в моей комнате.

Каково же было мое удивление, когда и на третий день повторилось то же самое!

На этот раз я решил твердо выследить и непременно выяснить, кто так, хотя и весьма приятно, подшучивает и интригует меня, но в течение нескольких дней я решительно ничего не мог обнаружить, а в то же время аккуратно каждое утро находил на том же самом месте земляную грушу.

Раз утром, в целях наблюдения для выяснения этого с каждым днем все больше и больше поражавшего меня факта, я спрятался за бочкой с заквасочным материалом, стоявшей в коридоре. По прошествии короткого времени я увидел осторожно пробиравшегося мимо бочки Филоса, несущего во рту большую земляную грушу, которую он, войдя в комнату, положил на то же место, где я обычно их находил.

С этого времени я стал уже следить всецело за Филосом.

На другое утро, собравшись выйти из дому, я похлопал Филоса по левой стороне головы, что означало между нами – я ухожу далеко и его с собой не возьму – и, выйдя на улицу, не пошел далеко, а тут же завернул в лавочку напротив нашего дома и стал следить за моими дверями.

Скоро оттуда вышел Филос и, оглянувшись кругом, направился по направлению базара; я незаметно пошел за ним. Там, на базаре, вокруг городских весов было много провизионных лавочек и масса народу.

Я увидел спокойно разгуливающего среди публики Филоса и не спускал с него глаз.

Он, проходя мимо одной лавочки, посмотрел вокруг и, когда убедился, что за ним никто не подсматривает, моментально выхватил из мешка, стоявшего перед лавочкой, земляную грушу и пустился бежать, а когда я вернулся домой, то нашел земляную грушу уже на обычном месте.

Я опишу еще одну черту психики этой удивительной собаки.

Вообще, когда я уходил из дому и не брал его с собой, он всегда

ложился с наружной стороны моих дверей и дожидался моего прихода.

В мою комнату без меня мог заходить всякий, кому было угодно, но выйти из нее он без меня никому не позволял.

В тех случаях, когда кто-нибудь в моем отсутствии хотел выйти из комнаты, этот громадный пес начинал ворчать и оскаливать свои зубы, и этого было уже достаточно, чтобы у каждого постороннего человека, как говорится, «душа-уходила-в-пятки».

Для примера я расскажу один случай, имевший место как раз здесь же в Новой Бухаре.

Надо сказать, что за несколько дней до события, о котором я собираюсь сейчас рассказать, связанного с этим бывшим моим, действительно настоящим другом Филосом, ко мне обратился согласно указанию местных жителей, знающих меня как единственного специалиста по таким работам, один поляк, по профессии, именовавшейся тогда «разъездной-синематографист», с заказом починить пропускавший один из двух имеющихся у него так называемых «баулов» для «карбидного-газа», посредством которого в то время такие «гастролеры» по глухим провинциям просвечивали свои синематографические картины, и я обещал этому поляку зайти как-нибудь на днях в свободное время и починить его «баул».

Но оказалось, что в тот же день, после разговора со мною, вечером поляк-синематографист заметил, что и другой его баул начинает пропускать газ; тогда он, боясь «провалить» совсем следующий свой сеанс, решил не дожидаться моего прихода, а принести самому «баул» в мою квартиру.

Узнав, что меня нет дома, а комната открыта, он, чтобы не тащить лишний раз эту тяжесть, решил оставить его в моей комнате.

В это утро мне надо было ехать в Старую Бухару, где предстояло посетить одну мечеть, а так как вход собак в храм и строения при них, особенно у последователей магометанской религии, считается большим осквернением, то потому я вынужден был оставить Филоса дома, и он по своему обыкновению лежал с наружной стороны двери и ждал моего возвращения.

И вот, этого разъездного синематографиста Филос, по своему обыкновению, впустить-то в комнату впустил, а выйти – «не-тут-то-было». И этот бедный поляк, после нескольких тщетных попыток выйти из нее, принужден был смириться и просидеть на полу в моей комнате не евши и не пивши, все время нервничая, до самого позднего вечера, пока я не вернулся.

Итак, я жил в Новой Бухаре.

Для зарабатывания денег и в видах некоторых других удобств я на этот раз действительно занялся выделыванием искусственных бумажных цветов. Благодаря торговле цветами я мог иметь возможность входа почти во все нужные мне места Бухары, да и доход с цветов в настоящий сезон года обещал быть хорошим.

Время для сбыта их было очень подходящее: был Великий Пост, а как известно, в этих местах на праздниках Пасхи жители любят украшать свои квартиры и стол цветами, к тому же в этом году еврейская Пасха почти совпадала с Пасхой христианской, а население Новой и отчасти Старой Бухары преимущественно состояло из лиц этих двух религий. Вот почему спрос на искусственные цветы был особенно большой, и мне приходилось почти день и ночь не шутя корпеть над работой. Я только изредка оставлял ее, чтобы съездить кое-куда повидаться со своими приятелями-дервишами, да иногда, когда очень уставал, ходил по вечерам для отдыха в находившийся недалеко ресторан играть на бильярде; в молодости я очень любил эту игру и был по этой части большим мастером.

Раз, в Страстной Четверг вечером, когда я после окончания работы пошел поиграть на бильярде, я вдруг во время игры услышал шум и крики в соседней комнате.

Бросив свой кий, я побежал туда и увидел, что какие-то люди вчетвером бьют одного.

Совершенно не зная ни этих людей, ни в чем дело, я бросился на защиту того, которого били. В молодости я очень увлекался японским «джиу-джитсу» и хивинским «фислизлу», и потому всегда был рад случаю, где можно было приложить в этой области свои познания.

Так и тут, ради спорта я горячо вмешался в драку, и вдвоем с моим незнакомцем мы здорово «всыпали» нашим противникам, и они очень скоро принуждены были ретироваться.

В то время Новая Бухара представляла собою еще совершенно новый город.

Население состояло из случайных элементов, среди которых было много ссыльных людей из России, живших под надзором полиции, как там называлось тогда, «по-волчьим-билетам».

Это была пестрая смесь «бывших», а иногда и «будущих» людей всех национальностей.

Тут были и отбывшие сроки своих наказаний осужденные по уголовным делам, было много так называемых «политических-ссыльных», высланных сюда как по суду, так и в «административном-порядке», широко

применявшемся прежней Россией.

Вся обстановка и условия жизни этих ссыльных были до того безотрадны, что все они без исключения постепенно делались пьяницами, и в эту общую, так сказать, «линию» очень легко и естественно попадали даже те, кто раньше никогда не пил и не имел наследственного предрасположения.

Компания, в драку которой я вмешался, была именно такой публикой.

После боя я хотел проводить своего соратника до его дома, боясь, что одному ему в дороге может прийти несладко, но оказалось, что он жил там же, где и остальные четверо, в так называемых «ремонтных-вагонах» на железнодорожном пути.

Ввиду наступившей ночи ничего не оставалось делать, как только предложить ему пойти ко мне, на что он и согласился.

Мой новый знакомый – это и был Соловьев – оказался еще молодым человеком, но видно было, что он уже спивался.

В драке ему все же сильно досталось: лицо было в ссадинах и под глазом большой синяк. На следующее утро его глаз почти совершенно заплыл, и я его уговорил не уходить, а побыть у меня, пока его глаз не станет лучше, тем более что работа его, из-за предстоящей Пасхи, еще вчера закончилась.

В течение дня он куда-то уходил, но ночевать опять вернулся ко мне.

На следующий день, в Страстную Субботу, я был почти весь день в разгоне; надо было сдавать заказанные к празднику цветы. Освободившись только к вечеру, я, так как у меня не было никаких знакомых христиан и некуда было пойти разговляться, купил кулич, пасху, крашенных яиц и все прочее, что полагается для разговенья, а также бутылочку водки и принес все домой.

Соловьева дома я не застал и потому, помывшись и почистившись (переодеться было не во что), один отправился на ночную церковную службу.

Вернувшись домой, я застал Соловьева уже спящим. Не желая его тревожить, я, так как в моей комнате не имелось стола, тихонько принес со двора большой пустой ящик и, покрыв его чистой простыней, поставил все принесенное мною для разговенья и только тогда разбудил Соловьева.

Он был очень удивлен всему увиденному, но охотно согласился принять участие в торжественной трапезе, встал, и мы с ним уселись за «стол», он – на моих книгах, а я – на опрокинутом ведре.

Первым долгом я налил ему и себе по рюмке водки, но к моему удивлению он, поблагодарив меня, отказался пить.

Я выпил один, а Соловьев сразу приступил к еде.

Присутствовавший при таком торжестве Филос получил двойную свою порцию, а именно две бараньих головы.

Мы молча сидели и ели. И для меня, и для Соловьева Пасха была не радостной.

Я, представляя себе знакомую картину семейного праздника, стал думать о своих близких, которые были далеко от меня.

Соловьев тоже о чем-то задумался, и мы молча сидели довольно долго.

Вдруг Соловьев, как бы про себя, произнес:

– Помоги мне, Господи, во имя сегодняшней ночи, смочь больше не пить этой отравы, которая довела меня до такой жизни! – И замолчал, а потом, с жестом безотрадности, с досадой воскликнул: – Э-эх! – и начал рассказывать про свою жизнь.

Не знаю, что подействовало на него: то ли что это была Пасха, связанная у него с далекими, дорогими воспоминаниями того времени, когда он был человеком, или вид стола, заботливо устроенного мною, и это неожиданное для него разговенье, или то и другое вместе – но он тут, как говорится, «выложил-передо-мною-всю-свою-душу».

Оказалось, Соловьев был раньше почтово-телеграфным чиновником, но стал им совершенно случайно.

Он происходил из самарской купеческой семьи.

У отца было большое мукомольное дело.

Мать его была из обедневшей дворянской семьи, с институтским образованием, и воспитание ею детей состояло исключительно в обучении манерам и правилам обхождения; только этим дети и начинались.

Отец же дома почти не бывал, пропадая на своих мельницах и в лабазах; и кроме того, страдая запоем, он несколько раз в году регулярно на несколько недель запивал.

В трезвом же состоянии он был, по выражению Соловьева, «самодур».

Родители Соловьева, живя каждый своей жизнью и своими интересами, только, как говорится, «терпели-друг-друга».

У Соловьева был еще младший брат; оба они учились в гимназии.

Родители даже как бы поделили и детей: старший сын был любимцем матери, младший – отца, и на этой почве между ними постоянно происходили сцены.

К старшему сыну отец не обращался иначе как с насмешкой, и между ними постепенно установилась какая-то неприязнь.

Мать, получая от мужа деньги на расходы, давала Соловьеву ежемесячно определенную сумму; но с годами его аппетиты увеличились,

главным же образом на ухаживание за девицами денег не хватало, и однажды он стащил у матери браслет и продал его, чтобы сделать какие-то подношения.

Мать, узнав про кражу, скрыла от отца, но такие кражи стали повторяться, и однажды отец, узнав об этом, выгнал Соловьева с большим скандалом из дому, хотя потом, по заступничеству родственников и матери, простил его.

Соловьев был в пятом классе гимназии, когда в Самаре проездом остановился какой-то цирк и одна наездница, по имени «Верка», совсем окрутила его.

Когда цирк уехал в Царицын, Соловьев, присвоив себе обманным образом деньги матери, поехал туда же.

В это время он уже стал попивать.

В Царицыне, узнав что его «Верка» связалась с каким-то жандармским ротмистром, Соловьев с горя запил, стал завсегдаем портовых кабаков, и у него появилось много подобных ему товарищей.

Кончилось все это тем, что в один прекрасный день его, пьяного, совершенно обобрали, и он очутился в чужом городе без копейки, не смея дать знать о себе родителям.

Постепенно продавая свои вещи и платье, он наконец принужден был и последнее, оставшееся на нем, променять на какие-то лохмотья, и таким образом превратился в оборванца в полном смысле этого слова.

Голод заставил его поступить на какой-то рыбный промысел, и, переходя с одного промысла на другой, он в конце концов, в компании таких же оборванцев, очутился в городе Баку.

Тут судьба ему немного улыбнулась: кто-то одел его и ему удалось поступить в телефонисты в районе Балахны.

Невзгоды недавнего прошлого заставили его одуматься: он начал работать.

Однажды он встретил кого-то из самарских, который, узнав чей он, т. е. из какой семьи, решил поддержать его и помог ему устроиться получше.

Так как у Соловьева было пятиклассное образование, то его приняли так называемым «кандидатом» на почтово-телеграфного чиновника в Баку, но первые месяцы ему, как кандидату на должность, пришлось служить без жалованья.

Получив классную должность в Шуше, он переехал туда и, продолжая служить уже чиновником, благодаря удерживанию себя от всего, оделся и даже скопил небольшую сумму денег.

Когда ему пошел двадцать первый год, он получил от воинского начальника повестку о предстоящем призыве на военную службу.

Для этого ему предстояло поехать на родину. Приехав в Самару, он остановился в гостинице и написал матери.

Мать, получавшая еще раньше письма от него, была рада, что сын по-видимому образумился, и сумела добиться для него прощения от отца.

Соловьев опять был принят в дом, и отец, видя, что сын «взялся-за-ум», был доволен, что все, хотя бы таким образом, окончилось, и стал относиться к нему по-хорошему.

На призыве Соловьев вытянул жребий служить и, будучи почтово-телеграфным чиновником, должен был несколько месяцев ожидать своего назначения, так как он имел профессию телеграфиста, а таких новобранцев назначает на открывающиеся вакансии Главное Военное Управление.

Таким образом он прожил с родителями еще три-четыре месяца, а после отправился к месту своего назначения, а именно в железнодорожный батальон, обслуживавший Закаспийскую железную дорогу, которая тогда была еще военной.

Приехав на место и отбыв во второй роте несколько недель обязательной службы рядовым в строю, он был назначен на так называемую «Кушкинскую-линию», но вскоре заболел желтухой и был определен в госпиталь в Мерве, где стояла его рота.

По выздоровлении Соловьева перевели в Самарканд, в Штаб батальона, который отправил его в военный госпиталь для освидетельствования годности его к дальнейшей военной службе.

В общем госпитальном корпусе, где помещался Соловьев, была и арестантская палата. Гуляя по коридору и разговаривая иногда через оконце с арестантами, он свел знакомство с одним из них – поляком, судившимся как фальшивомонетчик.

Когда Соловьев получил увольнение от службы по болезни и выписался из госпиталя, этот арестант попросил его доставить письмо его знакомым, жившим при станции Самарканд, и в благодарность за доставку письма потихоньку вручил ему пузырек с какой-то голубоватой жидкостью, объяснив, что жидкость эта употребляется для копировки трехрублевых кредиток. Другие купюры кредиток, кроме зеленых трехрублевок, такой подделке не поддавались.

Делалось это таким образом:

Специальная бумага, смоченная упомянутой жидкостью, накладывалась на обе стороны кредитки, а потом вместе с кредиткой зажималась в книгу.

«Негативы», полученные таким путем с обеих сторон кредитки, давали от трех до четырех хороших копий.

В Средней Азии, где плохо разбирались в русских деньгах, такие кредитки очень легко сходили.

Соловьев, который попробовал сперва любопытства ради копировать деньги, когда собрался ехать на родину, перед самым отъездом, нуждаясь в деньгах, без особого риска сбыв небольшое количество своих подделок.

Дома его приняли с радостью, и отец стал уговаривать его остаться помогать ему, по примеру младшего брата.

Соловьев согласился и получил где-то за Самарой от отца в управление одну из мельниц, но вскоре, проработав там несколько месяцев, стал хандрить, соскучившись по бродячей жизни, приехал к отцу и откровенно заявил, что он больше работать не может.

Отец отпустил его и даже дал ему порядочную сумму денег.

После этого Соловьев попадает в Москву, Петербург, опять запивает и наконец, под пьяную руку, приезжает в Варшаву.

Это было уже к концу года, после того как он был уволен с военной службы.

В Варшаве на улице останавливает его какой-то человек, оказавшийся тем арестантом, который вместе с ним был в самаркандском госпитале; последнего, оказывается, оправдали по суду, и он теперь приехал сюда главным образом за бумагой и за машинкой для печатания кредиток, которая должна была прибыть из Германии, и пригласил его войти с ним в компанию и помогать ему в «работе» в Бухаре.

Преступная, но легкая нажива соблазнила Соловьева, и он поехал в Бухару, чтобы там ожидать своего компаньона; но поляк-фальшивомонетчик из-за неполучения машины задержался в Варшаве, и Соловьев, продолжая пить и промотав свои последние деньги, поступил на железную дорогу, где последние три месяца до встречи со мною и работал, и беспрестанно пил.

Этот искренний рассказ Соловьева меня очень тронул. Я в это время уже был хорошо знаком с гипнотизмом и человеку, приведенному в известное состояние, внушением мог заставить забыть какую угодно нежелательную привычку.

Поэтому я предложил Соловьеву помочь ему, если он действительно хочет избавиться от этой пагубной привычки к питью водки, и объяснил ему, как это делается.

Он согласился, и я со следующего дня начал ежедневно приводить его в гипнотическое состояние и внушать ему все, что требовалось, и он

постепенно стал чувствовать к водке такое отвращение, что даже видеть не мог этой, как он говорил, «отравы».

За это время Соловьев бросил свою железнодорожную работу и окончательно перебрался ко мне, стал помогать мне в выделке цветов, а иногда и носил их продавать на базар.

Как раз когда Соловьев окончательно сделался моим, так сказать, «подручным», и мы привыкли жить вместе как два хороших брата, вернулся наконец в Старую Бухару мой приятель, дервиш Богаэдин, о котором я за последние два-три месяца не имел никаких сведений, и он, узнав о моем пребывании в Новой Бухаре, на другой же день приехал ко мне.

На мой вопрос, почему он так долго не возвращался, Богаэдин ответил мне следующее:

– Я был так долго в отсутствии, потому что в одном из городов Верхней Бухары случайно встретился с одним в высшей степени интересным человеком и, для того чтобы чаще видеться и иметь с ним по возможности больше разговоров о глубоко волнующих меня вопросах, мне удалось устроиться его проводником на время его путешествия по Верхней Бухаре и по берегам Аму-Дарьи, и даже сюда теперь я прибыл вместе с ним.

Этот старик, как оказалось, был членом одного известного среди дервишей братства, существующего под наименованием «Сармунг», главный монастырь какового братства находится где-то в глубине Азии.

Дальше Богаэдин сказал:

– В одном моем разговоре с этим необычным человеком выяснилось, что он откуда-то очень хорошо знает о тебе. Поэтому я даже спросил у него, не будет ли он иметь что-нибудь против, если ты захочешь с ним повидаться.

На такой мой вопрос этот великий старик ответил, что он будет рад видеть тебя, именно тебя, человека, который по происхождению и «кафир», но сумевшего, благодаря своему беспристрастному отношению ко всем людям, приобрести душу, похожую на их.

«Кафирами» там называют всех иноверных иностранцев, живущих, по их понятиям, как звери, без принципов и внутри себя без всякого святого, в том числе и всех вообще европейцев.

От всего того, что мне рассказал Богаэдин про этого старика, у меня даже, как говорится, «в-мозгу-потемнелось», и я стал умолять Богаэдина устроить мне с ним как можно скорее свидание.

Он сейчас же на это согласился, так как старик в это время находился не очень далеко, у каких-то своих знакомых в кишлаке, лежавшем недалеко от Новой Бухары.

Мы с Богаэдином условились поехать туда на другой же день.

С этим почтенным стариком я имел несколько очень длинных разговоров.

В последнем разговоре он мне дал совет поехать в его монастырь и немного пожить там.

– Может быть, – пояснил он, – тебе удастся кое с кем там поговорить об интересующих тебя вопросах, и может быть этими разговорами ты выяснишь себе, чего именно ищешь.

И потом добавил, что если я захочу поехать туда, то при условии, если я дам известную клятву – никогда никому не говорить о местонахождении этого монастыря, он согласен помочь мне в этом и найдет соответствующих проводников.

Я, конечно, моментально согласился на все, но мне только жаль было расставаться с Соловьевым, к которому я успел сильно привязаться, и я на всякий случай спросил старика, не мог ли бы я взять в это путешествие с собою моего хорошего товарища.

На это старик, немного подумав, ответил:

– Пожалуй можно, если, конечно, ты можешь ручаться за его честность и последствие приносимой и от него требуемой присяги.

За Соловьева я вполне мог ручаться, так как за время нашей дружбы он мне доказал свою устойчивость в смысле данного им слова.

Когда мы обо всем переговорили, между нами было условлено, что через месяц, в известное время, мы должны быть на берегу реки Аму-Дарьи, на развалинах Ени-гисар, где нас встретят люди, которых мы узнаем по данному паролю, и они будут служить нам проводниками до самого монастыря.

В назначенное время мы с Соловьевым прибыли к древним развалинам крепости Ени-гисар и в тот же день встретились там с четырьмя присланными за нами каракиргизами.

После известной церемонии мы все вместе закусили, а потом, когда уже начало темнеть, мы, после того как по их требованию повторили нашу клятву и нам нахлобучили на глаза башлыки, сели на лошадей и тронулись в путь.

За все время нашего передвижения мы, действительно, точно и добросовестно выполняли данную клятву не смотреть и не стараться

узнать, куда и через какие места мы едем.

Ночью на перевалах и иногда, когда закусывали в закрытых местах, мы бывали без башлыков; в пути же нам было разрешено только два раза снять наши повязки с глаз. Первый раз это случилось на восьмой день, когда нам предстояло переходить какой-то висячий мост, по которому нельзя было ни ехать верхом, ни идти вдвоем рядом, а только поодиночке, что сделать с закрытыми глазами было невозможно.

По характеру открывшейся тут перед нами местности мы могли заключить, что находимся или в районе течения реки Пяндж, или реки Зарявшан, так как под нами текла широкая река, и самый мост и окружающие это место горы очень походили на мосты в ущельях, по которым текут эти реки.

Кстати скажу, что если бы переход через мост был возможен с закрытыми глазами, то для нас это было бы лучше. Оттого ли, что мы долгое время перед тем шли с завязанными глазами, или по какой другой причине, но я никогда не забуду той нервности и того страха, которые мы испытывали при переходе через этот мост – мы даже долгое время не решались вступить на него.

Такие мосты встречаются в Туркестане очень часто там, где нет возможности проложить дорогу по другому месту, или в тех случаях, когда, чтобы пройти один километр вперед, надо иной раз делать двадцатидневный обход.

Когда стоишь на этих мостах и смотришь вниз, где обыкновенно протекает река, то испытываемое ощущение можно было бы сравнить с тем, которое получается, когда смотришь вниз с верхушки Эйфелевой башни, но только по интенсивности во много раз сильнее; если же смотришь вверх, то совсем не видать верхушки гор – их можно видеть разве только на расстоянии нескольких километров от них.

Ко всему этому, эти мосты, во-первых, почти никогда не имеют перил, и ширина их такова, что может пройти только одна вьючная горная лошадь, а во-вторых, они качаются так, как будто ходишь по хорошему пружинному матрацу; о чувстве же неуверенности в их крепости уже говорить не приходится.

Большей частью они укреплены веревкой из волокон коры одного дерева, один конец которой держит мост, а другой привязан к какому-нибудь стоящему вблизи на косогоре дереву или к выступу скалы.

Во всяком случае, эти мосты даже не для тех, которых в Европе называют «любителями-сильных-ощущений». Душа любого европейца, проходящего по этим мостам, уходит, как говорится, не в «пятки», а куда-то

еще дальше.

Второй раз с нас были сняты повязки, когда навстречу нам шел караван. Проводники, очевидно не желая, чтобы наши закрытые глаза обратили на себя внимание и вызвали бы у других какое-либо подозрение, сочли нужным, чтобы мы на это время сняли наши своеобразные башлыки.

Это совпало как раз с тем, когда мы проходили мимо одного типичного для Туркестана памятника, находившегося на самом перевале.

Таких памятников в Туркестане много, они кем-то очень умно придуманы; без них нам, путешественникам, не было бы никакой возможности ориентироваться в этой хаотической, бездорожной местности.

Памятники эти обыкновенно стоят на таких возвышенных местах, что если знать план их расположения, то их можно видеть с очень далеких мест, другой раз даже за десятки километров.

Они представляют собою не что иное, как отдельные высокие камни или просто воткнутые в землю длинные шесты.

Относительно таких памятников там, среди простого народа, существуют разные поверья вроде следующих: или в этом самом месте похоронен такой-то святой, или отсюда какой-то святой был взят живым на небо, или убил «семиглавого-дракона», или вообще произошло с ним именно здесь что-либо замечательное.

Обыкновенно данный святой, во имя которого этот памятник поставлен, считается покровителем всей местности, окружающей этот памятник, и всякое благополучное преодоление трудностей местной природы приписывают помощи данного святого.

Прошел ли путник благополучно перевал, избег ли он нападения на него разбойников или диких зверей, переплыл ли он благополучно реку или преодолел другую опасность в этом месте – все это приписывается покровительству этого святого и потому, по миновании этих опасностей, всякий торговец, пилигрим или иной какой путешественник приносит в благодарность к его памятнику ту или иную жертву.

Кем-то установлен обычай приносить в жертву что-нибудь такое, что могло бы, по их поверью, механически напоминать святому о молитвах жертвователя. Так, например, они приносят в дар или кусок материи, или хвост животного, или что-либо другое в этом роде, что, привязанное или прикрепленное одним концом к памятнику, может другим концом свободно развеиваться по ветру.

А для нас, путешественников, эти вещи,двигающиеся от ветра, делают очень издали видимым то место, где находится памятник.

И вот, кто знает приблизительно расположение этих памятников, тот с

какого-нибудь возвышенного места находит один из них и держит свой путь по направлению к нему, а от него – к другому и т. д....

Без знания расположения этих памятников путешествовать по этим местам почти невозможно.

Там нет ни дорог, ни тропинок, а если они сами собой образуются, то, ввиду резких перемен климата и сопряженных с ними заносов, очень скоро изменяются или совсем исчезают.

Из-за отсутствия указаний направления путешественник, стараясь выискивать удобные пути для возможности своего передвижения, в конце концов так закручивается, что даже помощь самых чутких компасов делается бесполезной, и передвижение по таким местам только и возможно путем установления направления от памятника к памятнику.

В дороге мы несколько раз меняли лошадей и ослов, а иногда шли пешком; нам приходилось не раз переплывать через реки и переваливать через горы, и по ощущению холода и тепла было видно, что мы часто спускаемся в глубокие долины или забираемся очень высоко.

Наконец, к концу двенадцатого дня пути, когда нам открыли глаза, мы увидели себя в узком ущелье, по дну которого текла небольшая речка, окаймленная берегами с богатой растительностью.

Как оказалось, тут был наш последний привал.

После еды мы двинулись в путь уже без повязок.

Мы ехали на ослах вверх по течению реки, и через полчаса пути по ущелью перед нами открылась небольшая долина, окруженная высокими горами.

Справа от нас и впереди, немного влево, виделись снежные вершины гор.

Пересекая долину, после одного из поворотов, с левой стороны из-за холма мы увидели вдали у косогора какие-то строения.

Подъехав ближе к этим строениям, мы различили нечто, по виду схожее с крепостными сооружениями того типа, какие можно встретить в меньшем размере на берегах Аму-Дарьи или Пянджа.

Все эти строения были обнесены сплошной высокой стеной.

Наконец, мы въехали в первые ворота, где нас встретила какая-то старуха, которой наши проводники что-то сообщили, после чего сейчас же уехали обратно через те же ворота.

Мы остались с этой старухой, и она не торопясь отвела нас в одно из небольших помещений вроде келий, расположенных вокруг дворика, и, указав две стоящие там постели, тоже ушла.

Скоро к нам пришел очень почтенный старик и, нас ни о чем не

расспрашивая, стал на тюркском языке очень любезно разговаривать с нами так, как будто мы были его старые хорошие знакомые. Он указал нам, что где лежит, сказал, что на первое время пищу нам будут приносить сюда, и уходя посоветовал нам отдохнуть с дороги, а если не устали, то выйти и погулять по окрестностям – словом, дал нам понять, что мы можем жить как нашей душе угодно.

Так как мы действительно с дороги очень устали, то решили немного отдохнуть и прилегли.

Я заснул как убитый и проснулся только от стука, производимого мальчиком, принесшим посуду, самовар с зеленым чаем и утреннюю еду, состоявшую из теплых кукурузных лепешек, овечьего сыра и меда.

Я хотел расспросить мальчика относительно места, где можно было бы искупаться, но, к сожалению, оказалось, что он ни на каком языке, кроме языка пшензов, не говорит, а я на этом своеобразном языке, за исключением нескольких ругательных слов, ничего не знал.

Когда я проснулся, Соловьева в комнате уже не было, и он вернулся минут через десять.

Оказалось, что он тоже крепко заснул с вечера, проснулся поздно ночью и, боясь обеспокоить кого-нибудь, сперва тихо лежал и зубрил тибетские слова, а с восходом солнца вышел посмотреть окрестности, но когда намеревался выйти из ворот, его окликнула какая-то старуха и жестом позвала в домик, находившийся в углу двора.

Следуя за старухой, он, по его словам, подумал, что наверно запрещается выходить, но когда он вошел в ее домик, то оказалось, что эта добрая старуха просто хотела дать ему напиток парного молока и, напоив его, даже сама помогла ему открыть ворота.

Так как никто к нам не приходил, мы, напившись чаю, решили пойти погулять и посмотреть окрестности.

Прежде всего, мы обошли эту со всех сторон высокой стеной огороженную местность.

Кроме входа, через который мы попали внутрь этих строений, имелся еще и другой, поменьше, с северо-западной стороны.

Всюду царил жуткая тишина, нарушаемая только издали проходящим монотонным шумом какого-то водопада и иногда чириканьем каких-то птиц.

Стоял жаркий летний день; в воздухе было душно; ничего не хотелось, и нас совершенно не интересовал окружающий величественный пейзаж, только шум водопада, как бы зачаровывая нас, притягивал к себе.

Не сговариваясь, мы с Соловьевым автоматически подошли к самому

водопаду, который впоследствии стал любимым нашим местом.

Ни в этот, ни на другой день к нам никто не заходил, но аккуратно три раза в день приносили еду, состоящую из молочных продуктов, сушеных фруктов и рыбы – чернопятнистой форели, да чуть ли не каждый час меняли самовар.

Мы или лежали на своих постелях, или отправлялись к водопаду, где под монотонный шум его зубрили тибетские слова.

За все это время мы ни у водопада, ни по дороге к нему никого не встретили, только раз, когда мы там сидели, проходили мимо четыре молодые девушки, которые, увидев нас, тотчас же свернули в сторону и, пройдя леском, вошли в замеченную нами раньше калитку, находившуюся на северо-западной стороне.

На третий день утром, когда я сидел в укромном углу у водопада, а Соловьев от скуки что-то мудрил, определяя каким-то ему известным образом, посредством палочек, которые он тут же нарезал, высоту возвышавшихся перед нами снежных вершин, вдруг прибегает к нам мальчик, приносивший нам пищу в первый раз, и подает Соловьеву записку в виде сложенного листа без конверта.

Взяв ее в руки и видя написанную по-сартски надпись «Ага-Джоржи», Соловьев с недоумением передал ее мне.

Когда я развернул записку и узнал почерк, то у меня даже в глазах помутилось, так это было неожиданно.

Это был хорошо знакомый мне почерк самого дорогого мне в жизни человека – князя Любоведского.

Записка была написана по-русски, и содержание ее было следующее:

*«Дорогое мое дитя! Я думал, что со мною случится удар, когда я узнал, что ты здесь! Я сокрушаюсь, что не могу тотчас же броситься обнять тебя и должен дожидаться, пока ты сам придешь ко мне. Я лежу в постели, все эти дни не выходил, ни с кем не разговаривал и только сию минуту узнал, что ты здесь. Ах, как я рад, что скоро увижу тебя! Я рад этому вдвойне, ибо то, что ты попал сюда сам, без моей и без наших общих знакомых – а то бы я знал – помощи, доказывает мне, что за это время ты не спал. Скорее приходи, обо всем поговорим. Я также узнал, что ты здесь с товарищем. Хотя я не знаю его, но буду рад обнять и его, как твоего друга!»*

Не прочитав и до половины записки, я уже бежал, махая Соловьеву, чтобы он скорее шел.

Я бежал, еще не зная куда, на лету дочитывая записку.

Сзади меня бежали Соловьев и мальчик.

Прибежав в первый двор, где мы проживали, мальчик повел нас во второй двор и показал нам келью, где лежал князь.

После радостной встречи и объятий князь, удовлетворяя мой вопрос, рассказал, как он заболел.

– До этого, – сказал он, – я чувствовал себя последнее время очень хорошо. Недели две назад после купания я стриг себе ногти на ногах и, по-видимому, незаметно для себя срезал слишком глубоко, после чего, гуляя по обыкновению босиком, очевидно, занозил себе этот палец, и он стал болеть.

Вначале я не обратил внимания на это, думая – пройдет; но становилось все хуже и хуже, и наконец палец стал гноиться, а неделю тому назад появился сопровождавшийся даже бредом жар, все время увеличивавшийся и заставивший меня слечь.

Как теперь братья говорят, у меня было заражение крови, но теперь опасность миновала и я чувствую себя хорошо.

Но довольно обо мне. Ничего... скоро поправлюсь. Расскажи скорее, как ты попал сюда, каким чудом?!

Я вкратце рассказал о моей жизни за последние два года, в течение которых мы с ним не виделись, о случайных, за это время, встречах, о моей дружбе с дервишем Богаэдином и о последовавших за этим происшествиях, и как я наконец очутился здесь.

А потом спросил его, почему он так внезапно исчез из виду и почему за все это время ни разу от него не было никаких известий, и он заставил меня мучиться неизвестностью и под конец постепенно, с горечью в сердце примириться с мыслью о потере его навсегда. При этом рассказал ему, какие я заказывал по нем, не жалея денег, панихиды, не веря вполне в их действительность, но на всякий случай, авось это ему может пригодиться.

На заданный мною под конец вопрос, как он сам сюда попал, князь рассказал следующее:

– Еще тогда, когда мы в последний раз встретились в Константинополе, во мне начиналось какое-то внутреннее томление, нечто вроде хандры.

По дороге на Цейлон и в последующие затем полтора года эта, так сказать, «внутренняя-хандра» постепенно во мне вылилась, как бы сказать, в «беспросветное-разочарование», вследствие чего внутри меня образовалась какая-то пустота и оборвались все интересы, связывавшие меня с жизнью.

Когда я приехал на Цейлон, то там вскоре познакомился с известным буддийским монахом А., и результатом частых взаимно-искренних разговоров и было то, что я с ним организовал путешествие вверх по течению Ганга с особой всепредусматривающей программой и с детально разработанным маршрутом, в надежде на этот раз наконец выяснить те вопросы, которые, как оказалось, одинаково со мною волновали и его.

Для меня лично это предприятие являлось как бы последней соломинкой, за которую я хватался и на которую еще надеялся, и потому, когда и это путешествие оказалось для меня «погоней-за-миражом», у меня все внутри окончательно умерло, и мне не хотелось ничего больше предпринимать.

После этой экспедиции я случайно вновь попал в Кабул, где вполне отдался восточной лени, живя без каких бы то ни было целей и интересов, автоматически сталкиваясь со старыми знакомыми и с новыми людьми.

Между прочим, я часто бывал у моего старого приятеля Ага-Хана.

В доме такого богатого приключениями хозяина, как он, можно было кое-как коротать скучную кабульскую жизнь.

Раз, придя к нему, я в числе других гостей застал у него сидящим на самом почетном месте старика-тамилу в совсем не соответствующей для дома Ага-Хана одежде.

После приветствия Хан, видя некоторое мое недоумение, наспех шепнул мне, что этот почтенный старик – его большой приятель-чудак, которому он многим обязан, и даже раз спасением жизни, и что старик живет где-то на севере и иногда приезжает сюда, не то навещать близких, не то по каким-то другим делам, и всегда, когда бывает здесь, заходит к нему, чему он, Ага-Хан, всегда несказанно рад, так как лучшего человека он в жизни еще не встречал, и посоветовал мне с ним поговорить, при этом прибавил, что если я буду с ним говорить, то говорить бы громко, так как он плохо слышит.

Прерванный моим приходом разговор опять возобновился.

Говорили о лошадях; старик тоже принимал участие в общем разговоре, и было видно, что он большой знаток лошадей и когда-то был любителем их.

Потом разговор перешел на политику; говорили о соседях – России и Англии, и когда заговорили о России, то Ага-Хан, указывая на меня, шутя сказал:

– Пожалуйста, ничего плохого о русских не говорите, чтобы случайно не обидеть нашего русского гостя...

Хотя это было сказано в шутку, но мне было ясно желание Хана

предупредить этим неизбежное осуждение русских; в это время там среди них была массовая ненависть к русским и англичанам.

Потом общий разговор утих, и стали беседовать между собой отдельными группами.

Я стал говорить со стариком, который становился для меня все больше и больше симпатичным. Он говорил со мною на местном языке и спрашивал, откуда я и давно ли здесь.

Вдруг он заговорил, хотя и с большим акцентом, но на совершенно правильном русском языке, объяснив, что он бывал в России, даже в Москве и Санкт-Петербурге, и кроме того, долго жил в Бухаре, где встречался с русскими, почему он и знает русский язык, и прибавил, что он очень рад случаю говорить по-русски, так как за отсутствием практики начал уже забывать этот язык.

Потом он, между прочим, по-русски же сказал, что если мне приятно и если я желаю иметь практику родного языка, то мы можем отсюда выйти вместе и, если я хочу уважить его, старика, пойти вместе с ним посидеть немного в чайхане и там поговорить.

Он объяснил, что сидеть в кофейных и чайных – это его установившаяся с малолетства привычка и слабость, и теперь он, когда попадает в города, не может не позволить себе удовольствия в свободное время посидеть в чайных, потому что нигде так хорошо не думается, как там, несмотря на шум и гвалт, и добавил:

– Наверно, этот самый шум и гвалт и являются даже причиной того, что там так хорошо думается.

Я с величайшим удовольствием согласился пойти с ним, и конечно не из-за практики в русском языке, а из-за чего – и сам не знаю, как объяснить.

Уже сам старик, я к этому человеку стал чувствовать то, что чувствовал бы внук к любимому, дорогому дедушке.

Вскоре все стали расходиться; ушли и мы со стариком, разговаривая по дороге о том о сем.

Придя в чайную, мы сели в сторонку на открытой террасе, и нам подали бухарский зеленый чай. По тому вниманию и заботам, которые оказывали старику в чайхане, было видно, как его здесь знали и уважали.

Старик повел разговор о таджиках, но после первой чашки чая вдруг прервал разговор и сказал:

– Все это пустяки, о чем мы говорим, дело не в этом, – и посмотрев на меня пристально, немедленно отвел глаза в сторону и замолчал.

То, что он так неожиданно оборвал разговор, и слова, которыми он закончил его, а также и этот пристальный взгляд – все это показалось мне

странным, и я подумал: «Бедный он! Наверное, от старости у него уже начало появляться ослабление сознания и он уже заговаривается!» – и мне стало до боли жаль этого симпатичного старика.

Это чувство жалости понемногу начало переходить на меня самого; я подумал, что вот и я скоро начну заговариваться и в один недалекий день я не смогу тоже управлять своими мыслями и т. п.

Я так отдался этим своим тяжелым и быстротечным мыслям, что даже забыл о старике.

Вдруг я опять услышал его голос. Сказанные им на этот раз слова моментально вышибли из меня мои грустные мысли и вывели меня из моего состояния; жалость сменилась таким удивлением, какого, кажется, я в жизни еще не испытывал.

– Эй, Гого, Гого! Сорок пять лет ты работал, мучился, трудился без перерыва и ни разу не решился и не сумел так работать, что бы хоть на несколько месяцев желание твоего ума стало желанием сердца; а если бы тогда ты сумел этого достигнуть, то теперь, в старости, ты не был бы в таком одиночестве, в каком находишься.

Произнесенное им вначале восклицание «Гого» заставило меня вздрогнуть от изумления.

Каким образом этот индус, который видит меня в первый раз здесь, где-то в Центральной Азии, называет меня тем именем, которым меня называли только в моем детстве, шестьдесят лет назад, да и то только мать и няня, и которого с тех пор никто никогда не повторял?

Ты представляешь себе мое удивление!

Я моментально вспомнил раз приходившего ко мне в Москве после смерти моей жены старика, тогда, когда я еще был молодым человеком.

Я подумал: «Не тот же ли это таинственный старик? Но нет – во-первых, тот был высокого роста и не походил на этого, а во-вторых, того, наверное, давно уже нет в живых, так как с тех пор прошло сорок лет, а он тогда уже был совсем старик».

Я не мог найти никакого объяснения такого очевидного знания этим стариком не только меня, но и моего внутреннего, одному мне известного состояния.

Пока внутри меня протекали разные подобные мысли, старик сидел, глубоко задумавшись, и он даже вздрогнул, когда я, наконец набравшись сил, воскликнул:

– Да кто же вы такой, что знаете меня так хорошо?

– Не все ли тебе равно сейчас, кто я такой и что из себя представляю? Неужели в тебе до сих пор живет то любопытство, которое было одной из

главных причин безрезультатности трудов всей твоей жизни? И неужели оно все еще настолько сильно, что даже в эту минуту ты готов отдаться всем своим существом анализу этого факта, узнания мной твоей личности, только для того, чтобы объяснить себе, кто я и почему я тебя узнал?

Укор старика пришелся по моему самому больному месту.

– Да, отец, ты прав, – сказал я. – Действительно, не все ли мне равно, что делается и как происходят факты вне меня. Мало ли я уже знаю действительных чудес, а какой толк мне от всего этого?!

Я только знаю, что во мне сейчас пусто, и хорошо знаю, что могло бы быть не пусто, если бы, как ты сказал, не мой внутренний враг и если бы я тратил время не на любопытство относительно вне меня происходящего, а на борьбу с этим врагом.

Да!.. Теперь уже слишком поздно! Все вне меня происходящее теперь должно быть для меня безразличным. И потому я и знать не хочу того, о чем я тебя спрашивал, и не хочу больше беспокоить тебя. Искренно прошу простить меня за то огорчение, которое ты испытал из-за меня за эти несколько минут.

После этого мы долго сидели, каждый занятый своими мыслями.

Наконец он прервал молчание, сказав:

– Нет, может быть еще и не поздно. Если ты всем своим существом чувствуешь, что в тебе действительно уже пусто, то советую попробовать еще раз.

Если ты вполне ясно чувствуешь и не сомневаясь сознаешь, что все, к чему ты до сих пор стремился, – только мираж, и согласишься на одно условие, то я попытаюсь помочь тебе.

А условие это заключается в том, чтобы сознательно умереть для той жизни, которую ты имел до сих пор, т. е. сразу прервать все автоматически установившиеся обыкновения твоей внешней жизни и отправиться туда, куда я тебе укажу.

Собственно говоря, мне порывать уже было нечего; это было для меня даже не условием, потому что и без того, если не считать связи с некоторыми людьми, для меня больше никаких интересов уже не существовало; что же касается этих связей, то за последнее время разнообразные причины заставили меня принудить себя и о них не думать.

Я тут же заявил ему, что я готов хотя бы сейчас отправиться куда угодно.

Он встал и, сказав мне, чтобы я ликвидировал все свои дела, не говоря больше ничего, скрылся в толпе.

Я в этот же день закончил все свои дела, отдал некоторые

распоряжения, написал на родину несколько писем делового характера и стал дожидаться.

Через три дня заходит ко мне молодой таджик и говорит просто и лаконически:

– Меня наняли для вас проводником. Путь будет продолжаться около месяца. У меня приготовлено для путешествия то-то и то-то (он перечислил, что именно). Прошу приказать, что еще заготовить, и когда и куда вы прикажете загнать караван.

Мне ничего больше не было нужно, так как все для путешествия уже было предусмотрено, и я ответил ему, что готов хотя бы завтра утром двинуться в путь; а насчет места – просил его самого назначить, куда мне явиться.

Тогда он так же лаконически сказал, чтобы я его встретил завтра в шесть часов утра у караван-сарая Кальматас, который находится при выезде из города по направлению к «Узун-Керпи».

На другой день я с ним тронулся в путь с караваном, который через три недели и привез меня сюда. А что я здесь нашел, ты сам увидишь, а теперь расскажи лучше мне, что знаешь о наших общих друзьях.

Я, видя, что мой дорогой больной старик утомился от своего рассказа, предложил ему наш дальнейший разговор отложить, сказав, что после я ему обо всем с удовольствием расскажу, а пока надо, чтобы он отдохнул и поскорее окончательно поправился.

Пока князь Любоведский был вынужден еще лежать в постели, мы ходили к нему во второй двор, а когда ему стало лучше и он стал выходить из своей кельи, то он начал приходить к нам, и мы ежедневно беседовали в течение двух-трех часов.

Так продолжалось около двух недель, пока нас раз не позвали на третий двор к шейху этой обители, который, поговорив с нами через переводчиков, назначил нам руководителем одного из старших братьев, древнего старика иконообразного вида, которому, по уверению других братьев, было 275 лет.

После этого мы, так сказать, вошли в жизнь обители и, получив почти всюду доступ, начали постепенно обо всем узнавать.

В середине третьего двора находилось большое строение в виде храма, в котором все обитатели второго и третьего двора ежедневно собирались два раза в день для того, чтобы смотреть священные танцы жриц или слушать священную музыку.

Когда князь Любоведский окончательно поправился, то он стал с нами

повсюду бывать и все объяснять, и таким образом явился для нас как бы вторым руководителем.

О подробностях всего того, что представляла из себя эта обитель, как и что там делалось, я, может быть, когда-нибудь напишу специальную книгу, а пока нахожу нужным возможно подробнее описать виденный мною там один оригинальный аппарат, конструкция которого, когда я ее более или менее осмыслил, лично на меня тогда произвела почти потрясающее впечатление.

Когда князь Любоведский стал нашим как бы вторым руководителем, то он однажды, по своей собственной инициативе, выхлопотал разрешение и повел нас в боковой четвертый двор, называвшийся «женским-двором», в класс учениц, будущих «жриц-танцовщиц», которые, как я уже сказал, ежедневно танцевали в упомянутом храме священные танцы.

Князь, зная очень хорошо мой большой интерес к увлекавшим меня в тот период законам движения человеческого тела и психики, посоветовал мне, когда мы осматривали этот класс, специально обратить свое внимание на эти аппараты, с помощью которых и учились своему искусству молодые кандидатки в жрицы-танцовщицы.

Эти своеобразные аппараты уже на первый взгляд по одному своему внешнему виду давали впечатление произведений рук человека очень давних времен.

Они были сделаны из черного дерева с инкрустацией из слоновой кости и перламутра.

Когда они вне употребления стояли собранные вместе, они напоминали «везанельные» деревья с одинаковыми отростками. При внимательном рассмотрении каждый из аппаратов представлял собою прикрепленный на треножнике гладкий столб выше человеческого роста, от которого в семи местах отходили в сторону искусственно прикрепленные к нему, особо выделанные ответвления, в свою очередь делившиеся каждое на семь частей разной величины, причем каждая часть, по мере своего отделения от основного столба, уменьшалась в своей длине и ширине.

Эти составные части каждого ответвления соединялись друг с другом посредством двух полых шариков из слоновой кости, вделанных один в другой, причем внешний шар не вполне закрывал внутренний, давая возможность прикрепления к внутреннему шару одного конца какой-либо части общего ответвления; к внешнему шару прикреплялся другой соседний конец.

Таким образом эти соединения представляли собой подобие плечевого сустава человека и давали возможность семи скрепленным между собою

частям двигаться в любом направлении.

На внутренних шариках были начерчены какие-то знаки. Таких аппаратов в этом помещении стояло три; рядом с каждым из них стоял шкафчик, наполненный квадратными пластинками из какого-то металла.

На этих пластинках были тоже какие-то надписи.

Князь Любоведский нам объяснил, что эти пластинки – копии тех оригиналов, сделанных из чистого золота, которые находятся у шейха.

Давность происхождения как этих пластинок, так и самих аппаратов знатоки относят ко времени не менее четырех с половиной тысяч лет тому назад.

Дальше князь объяснил, что соответственно знакам на пластинках и внутренних шариках последние устанавливаются определенным образом, и с ними устанавливаются и части, прикрепленные к ним.

Когда все шарики установлены определенным образом, форма и размер той позы, которая требуется для данного случая – готовы, и молодые жрицы, стоя целыми часами у регулированных таким образом аппаратов, учатся ощущать и запоминать данные позы.

Много лет проходит, пока эти молодые будущие жрицы будут допущены танцевать в храме, где могут танцевать только уже пожилые и опытные жрицы.

Здесь в обители все знают азбуку этих поз, и когда по вечерам в общем помещении храма эти жрицы танцуют соответствующие для каждого дня танцы, то по этим танцам здешние братья читают о той или другой истине, о которых люди писали много тысяч лет тому назад.

Эти танцы не что иное, как наши современные книги. Как мы это теперь делаем на бумаге, так кем-то, когда-то, разные сведения о давно минувших событиях отмечались в танцах и через них из века в век передаются людям последующих поколений, и называются эти танцы священными.

Жрицами здесь большею частью становятся такие молодые девушки, которые по обету их родителей или по какой-либо другой причине с раннего возраста посвящаются служению Богу или тому или другому святому.

Этих будущих жриц еще с детства отдают в храм, и там их с малолетства учат и готовят ко всему требуемому, как, например, в данном случае к священным танцам.

Когда мне пришлось через несколько дней после этого первого моего осмотра класса тамошних танцовщиц видеть уже настоящих жриц во время исполнения своей профессии, я был поражен не смыслом и значением,

вложенными в их танцы, так как этого тогда я еще не понимал, а той внешней отчетливостью и точностью, с которой исполнялись эти танцы.

Сказанная чистота выполнения даже приблизительно не может быть сравниваема ни с одной подобной работой ни в Европе, ни в других местах, где мне приходилось бывать и тоже наблюдать с сознательным интересом и такое человеческое автоматизированное проявление.

Мы жили в этой обители уже около трех месяцев и начинали, как говорится, «втягиваться» в существующие там условия, когда раз ко мне приходит с печальным видом князь и говорит, что сегодня утром его позвали к шейху, у которого было несколько из старших братьев.

– Шейх мне сказал, – продолжал князь, – что мне осталось жить всего три года, и он советует мне провести это время в монастыре Ольман, который находится на северном склоне Гималаев, чтобы лучше использовать эти три года на то, о чем я мечтал всю жизнь.

Если я соглашусь, он, шейх, даст мне все соответствующие руководящие инструкции и устроит все для моего продуктивного пребывания там.

Я не задумавшись сейчас же выразил свое согласие, и тут же было решено, что я, в сопровождении соответствующих людей, отправлюсь отсюда туда через три дня.

Поэтому я хочу эти последние мои дни всецело проводить с тобой, случайно ставшим мне самым близким человеком в этой жизни.

Я сразу от неожиданности обалдел и долго не был в состоянии что-либо сказать. Когда же я немного пришел в себя, я только спросил его:

– Неужели это правда?

– Да, – ответил князь. – Я ничего не могу сделать лучшего, чтобы использовать это время; может, я сумею наверстать то время, которое я без пользы и так бессмысленно потерял, когда имел в своем распоряжении столько лет всяких возможностей.

Лучше об этом не будем больше говорить и эти дни используем на более существенное для настоящего времени. Ты же продолжай считать, как будто я уже давно умер; ведь ты сам недавно говорил, что уже служил по мне панихиды и постепенно примирился с мыслью, что потерял меня. А теперь, как случайно мы опять встретились, так же случайно без печали и расстанемся.

Может быть, князю было нетрудно так спокойно об этом говорить, но мне было очень тяжело осознать потерю, уже навсегда, этого самого дорогого для меня человека.

Все эти три дня мы почти все время проводили вместе и говорили о

всякой всячине. Но мое сердце все время было беспокойно, особенно тогда, когда князь улыбался.

При виде этой улыбки моя душа разрывалась, так как эта его улыбка была для меня показателем его доброты, любви и терпимости.

Наконец, через три дня, в печальное для меня утро, я сам помогал нагружать караван, который должен был навсегда увезти от меня этого доброго князя.

Он меня попросил не провожать его. Караван тронулся, и когда он заворачивал за гору, князь повернулся, посмотрел на меня и три раза благословил.

Покой твоей душе, святой человек, князь Юрий Любовецкий!

\* \* \*

Сейчас, в заключение этой главы, посвященной князю Юрию Любовецкому, хочу подробно описать трагическую смерть Соловьева, происшедшую в высшей степени оригинальной обстановке.

### *Смерть Соловьева*

Соловьев вскоре после нашего путешествия в главный монастырь братьев «Сармунг», при моей помощи и требовавшемся известном поручительстве, примкнул к упомянутой уже мною группе людей «искатели-истины» и с тех пор, как равноправный член этой группы, благодаря своим настойчивым и добросовестным трудам, параллельно с работой над достижением своего личного самоусовершенствования принимал деятельное участие во всяких работах общего характера, а также в разного рода путешествиях, требовавшихся для специальных целей.

Во время одного такого путешествия, именно в 1898 году, он и умер от укуса дикого верблюда в пустыне Гоби.

Я опишу эти события, как уже обещал, возможно подробнее, потому что не только смерть Соловьева была исключительно оригинальной, но также и самый способ этого нашего передвижения по пустыне Гоби был небывалым и в высшей степени поучительным.

Я начну описание с того момента, когда после больших трудностей путешествия из Ташкента вверх по течению реки Шаракшан и нескольких небольших перевалов, мы попали в местечко Ф., откуда и начинаются

пески пустыни Гоби.

Здесь мы решили, прежде чем начать этот предстоящий переход, несколько недель отдохнуть, и, живя в этом местечке в целях отдыха, мы все вместе и каждый в отдельности имели много встреч с разными местными жителями, которые при наших расспросах много нам рассказывали про разные поверья, связанные с пустыней Гоби.

При таких встречах и разговорах больше всего приходилось слышать о том, что песками этой теперешней пустыни засыпано много когда-то больших людских селений и даже целых городов, а также что под этими песками находится множество кладов и других богатств древних людей, населявших этот когда-то цветущий край. При этом они говорили, что сведения о месте нахождения этих богатств якобы известны некоторым современным жителям ближайших местностей, и они узнают об этом по наследственной передаче под большой тайной, нарушение которой, как уже многими замечено, непременно влечет за собой для виновников определенную расплату, в зависимости от степени тайны.

Многочисленное упоминание во время таких разговоров одного района пустыни Гоби, где якобы определенно известно многим, что там засыпан какой-то большой город, и множество мелких подозрительных, логически не противоречащих фактов многих из нас заинтересовало не на шутку, особенно профессора археологии Скрыдлова, который тоже был в числе членов нашей экспедиции.

Результатом всяких наших между собой разговоров и было то, что мы решили предстоящее пересечение пустыни Гоби произвести с таким расчетом, чтобы пройти по тому району, где, согласно множеству упомянутых, не противоречащих логическим сопоставлениям мелких фактов, должен был находиться сказанный засыпанный песками город и где мы намеревались, на всякий случай, произвести под руководством старого и очень наспециализировавшегося в этой отрасли профессора Скрыдлова некоторые выяснительные раскопки.

В соответствии с таким планом мы и составили наш маршрут.

Хотя этот район не прилегал ни к одному из более или менее известных путей по пустыне Гоби, но все мы, придерживаясь уже давно до этого установленного нами принципа, как говорится, «никогда-не-идти-по-протоптаным-дорогам», не только ничуть не задумались о всех предстоящих трудностях, но даже в первый момент в каждом из нас возникло чувство, похожее на чувство ликования.

Когда же возникшее в нас чувство улеглось и мы приступили к более детальной разработке нашего плана, то тут-то и вырисовалась вся

непомерная трудность нашего проекта и в такой степени, что даже возник вопрос, возможно ли вообще выполнить его.

Дело в том, что по намеченному маршруту дорога выходила очень длинной и преодоление ее обычными способами было невозможно.

Самое важное затруднение состояло в необходимости обеспечить себя на все время нужным количеством воды и провизии, а это по самым даже скромным расчетам должно было представить такое количество, что нести на себе такую ношу было никак невозможно, и в то же время невозможно было для этого воспользоваться никакими вьючными животными, так как в пути не предвиделось для них никакой пищи и ни капли воды! Не ожидалось встретить даже маленького оазиса.

Несмотря на такое положение вещей, мы все-таки от своего плана не отказались, а, задумавшись над этим вопросом, по общему уговору решили временно ничего не предпринимать с тем, чтобы в течение одного месяца каждый из нас весь свой ум посвятил на обдумывание и размышления, как найти выход из этого безвыходного положения; при этом каждому была предоставлена возможность делать что угодно и поехать куда угодно.

Главное руководство этим делом было возложено на профессора Скрыдлова, который, как самый старейший и почтеннейший из нас, состоял нашим старшиной, в ведении которого находилась, между прочим, также и наша общая казна.

По получении от него каждым из нас известной суммы денег, на другой же день некоторые уехали, а некоторые, оставшись на месте, устроились, как кому было надо.

Сборным пунктом было назначено небольшое поселение, расположенное почти на самых песках, откуда мы должны были начать свой переход.

Через месяц мы собрались в условленном месте и под предводительством профессора Скрыдлова устроились лагерем, после чего сейчас же начались доклады о том, кто до чего додумался, причем доклады шли по жребию.

Первыми тремя докладчиками были: 1) горный инженер Карпенко, 2) доктор Сары-Оглы и 3) филолог Елов.

Эти доклады были так полны захватывающего интереса по своим новым и оригинальным мыслям и даже по форме выражения, что они врезались в мою память и я даже теперь могу их воспроизводить почти дословно.

Карпенко начал так:

– Хотя я хорошо знаю, что никто из вас не любит манеры европейских

ученых, которые, вместо того чтобы сразу сказать, в чем дело, разводят обычно длиннейшую, чуть ли не от Адама, ахинею – тем не менее в данном случае, ввиду серьезности вопроса, я считаю нужным, прежде чем сказать, к какому выводу я пришел, ознакомить вас с размышлениями и доводами, которые привели меня к тому, что сегодня я вам предложу.

И дальше он продолжал:

– Гоби – это пустыня, пески которой по утверждению науки всех времен являются позднейшими образованиями, и относительно их происхождения существуют два предположения.

Или эти пески – бывшее морское дно, или они нанесены ветрами со скалистых вершук гор Тянь-Шаня, Гиндукуша и Гималаев и с гор, существовавших когда-то с северной стороны этой пустыни и ныне уже не существующих, так как они веками выветривались и обратились уже в пески.

И вот, имея в виду, что нам прежде всего нужно озаботиться о том, чтобы на все время, пока мы будем находиться в этой пустыне, у нас имелась пища как для нас самих, так и для животных, если мы найдем нужным иметь их, я принял во внимание оба эти предположения и стал думать: нельзя ли как-нибудь, как в том, так и в другом случае, использовать эти пески для наших целей?

Я рассуждал так: если эти пески – бывшее морское дно, то в них обязательно должны быть слои или полосы, состоящие из разных раковин, а так как раковины образуются организмами, следовательно, они должны быть веществами органическими, и потому только надо найти средство и способ, как превратить эти вещества в такие, чтобы их можно было бы переваривать и таким образом получать из них требуемую для жизни энергию.

Если же пески этой пустыни наносные, т. е. происхождение имеют каменистое, то опять-таки уже доказано и не подлежит никакому сомнению, что почва большинства благородных оазисов Туркестана, а также местностей, прилегающих к этой пустыне, имеет свое происхождение чисто растительное, т. е. почва их состоит из органических веществ, занесенных сюда из более возвышенных мест.

Если так, то за время существования этой пустыни в общую ее массу веками должны были заноситься также и такие органические вещества и смешиваться здесь с песками.

Дальше я подумал: ведь закон тяжести устанавливает, что все вещества и элементы всегда группируются по их весомости, потому и здесь, в песках, наносные органические вещества, будучи намного легче песков

каменистого происхождения, должны были также постепенно сгруппировываться и ложиться особыми полосами или пластами.

Придя к такому теоретическому выводу, я, в целях проверки на практике, организовал небольшую экспедицию в глубь пустыни и, пройдя расстояние трехдневного пути, начал производить мои изыскания.

Вскоре я нашел в некоторых местах слои, которые, хотя мало отличались от общей массы песков, все же уже по виду и при поверхностных исследованиях были ясно другого происхождения.

При ближайшем рассмотрении отдельных частей этой обнаруженной мною смеси, при микроскопическом и химическом анализе их оказалось, что они состоят из трупов мелких организмов и частиц растительного мира.

Нагрузив все семь имеющихся в моем распоряжении верблюдов этим своеобразным песком, я вернулся сюда и, приобретя с разрешения профессора Скрыдлова несколько годных для выюка животных, приступил к своим опытам над ними.

Я купил двух верблюдов, двух яков, двух лошадей, двух мулов, двух ослов, десять баранов, десять коз, десять собак и десять керийских кошек и, держа их впроголодь, т. е. давая им пищу в очень ограниченном количестве, только для непрерывания их жизни, стал понемногу вводить в их пищу этот песок, приготавливаемый мною разными способами.

Вначале, в течение нескольких дней моих экспериментов, никто из перечисленных животных никаких разносоставных моих смесей не хотел есть; только спустя около недели, после обработки и приготовления этого песка новым способом, вдруг бараны и козы начали есть с большим удовольствием.

Тогда я все свое внимание сосредоточил на этих животных.

Спустя два дня я окончательно убедился, что бараны и козы эту смесь уже начали предпочитать всякой другой пище.

Эта смесь мною составлялась из семи с половиной частей песку, двух частей молотой баранины и полчасти обыкновенной соли.

С самого начала все подвергавшиеся моим экспериментам животные, также бараны и козы, ежедневно теряли от половины до двух с половиной процентов своего общего веса, а со дня, когда бараны и козы начали есть эту смесь, они не только перестали терять в весе, но ежедневно начали прибавлять от семи до двадцати двух золотников.

У меня лично, благодаря этим экспериментам, исчезли все сомнения в том, что этот песок может быть использован для питания коз и баранов при условии смешивания в соответствующем количестве с мясом их же породы. Поэтому я сегодня могу предложить вам следующее:

Для преодоления главного затруднения в нашем путешествии по этим пескам нам нужно купить несколько сот баранов и коз и постепенно, по мере надобности, резать их, пользуясь их мясом как для питания нас самих, так и для приготовления вышеуказанной смеси для кормления остающихся животных.

Недостатка в нужном для нас песке опасаться не приходится, так как все имеющиеся у меня данные показывают, что в известных местах он всегда будет находиться.

Что же касается воды, то для обеспечения себя ею надо приобрести бараньих и козьих «пузырей» или желудков в двойном количестве по сравнению с числом баранты и, приспособив их наподобие «хурджунов», налить в них воды и нагрузить на каждого барана или козу по два хурджуна.

Как я уже выяснил, баран это количество воды может нести на себе совершенно свободно, без всякого для себя ущерба, и в то же время опыт и расчет показали мне, что этого количества воды, как для наших личных потребностей, так и для баранты, будет уже с самого начала достаточно, при условии некоторой экономии ее употребления в первые дни, а через два-три дня водою, которую несли зарезанные бараны, можно удовлетворить себя и оставшуюся баранту в полной мере.

После горного инженера Карпенко второй доклад сделал доктор Сары-Оглы.

С этим доктором Сары-Оглы я встретился и подружился лет за пять до этого.

Он хотя по своему происхождению был перс и уроженец Восточной Персии, но образование получил во Франции.

Может быть, когда-нибудь я и о нем напишу подробно, так как он был человек из ряда вон выходящий и в высшей степени замечательный.

Доктор Сары-Оглы произнес тогда приблизительно следующее:

– После доклада инженера Карпенко я с первой половиной моего доклада «пасую», так как, выслушав его предложение, нахожу, что ничего лучшего найти нельзя. Что же касается второй части моего доклада, то в нем я имею в виду поделиться с вами теми моими мыслями и результатами моих экспериментов, которые я имел при поставленной себе и такой задаче, как найти способ преодоления трудностей передвижения по пескам пустыни во время буранов, и так как осуществление полученных мною выводов и экспериментальных данных может, на мой взгляд, служить дополнением к предложению инженера Карпенко, то я с этого и начну.

В этих пустынях большею частью приходится идти при ветрах и

буранах, во время которых движение становится подчас совершенно немислимым не только для людей, но и для животных, так как часть песков ветром подымается в воздух и, постоянно перемещаясь, наносит целые горы песку даже на те места, которые минуту тому назад представляли собой углубления.

И вот я подумал: ведь движение вперед тормозится тем песком, который в воздухе, и следующей моей мыслью было то соображение, что песок по своей тяжести не может подняться особо высоко и что, вероятно, есть граница, выше которой ветер никакую песчинку поднять не может.

Размышляя так, я решил узнать эту теоретически предполагаемую границу.

Для этого я здесь в местечке Ф. заказал особую складную высокую лестницу и с двумя верблюдами и одним провожатым отправился в пустыню.

Когда я прошел расстояние однодневного пути и собирался устроиться на ночлег, внезапно поднялся ветер, и через час буря разразилась в такой степени, что не только невозможно было стоять на месте, но даже от находящегося в воздухе песка нельзя было дышать.

Я с большими затруднениями начал раздвигать привезенную лестницу и кое-как, утилизируя даже для этого верблюдов, установил ее и поднялся по ней наверх.

Можете себе представить мое удивление, когда я обнаружил, что на высоте уже всего семи метров не было ни одной песчинки!

Моя лестница была рассчитана на двадцать метров; я не поднялся по ней и на треть ее высоты, как уже вышел из бывшего внизу ада и увидел прекрасную, звездную и лунную ночь, при тишине и спокойствии, какие редко бывают даже у нас в Восточной Персии; внизу же продолжало твориться нечто невообразимое: было впечатление, будто стоишь на высоком морском берегу во время самой страшной бури и морского волнения.

Пока я с полчаса находился наверху и любовался чудной ночью, начало становиться заметным, что внизу буря утихает, и я спустился вниз; там меня ожидало несчастье.

Я видел, что сопровождавший меня человек, хотя буран уже был наполовину слабее, продолжал еще, как это принято во время таких буранов, двигаться по верхушкам дюн по ветру, вода за собою только одного верблюда; другой, по его словам, вскоре после моего подъема развязался и ушел неизвестно куда.

Когда начало светать и мы приступили к розыску этого второго

верблюда, очень скоро, недалеко от того места, где стояла лестница, мы заметили в одной дюне торчащую часть мягкой подошвы верблюда.

Мы не стали раскапывать его, так как видно было, что он уже мертв и засыпан песком довольно глубоко, а сейчас же отправились в обратный путь, не тратя время даже на закусывание, делая это на ходу, и к вечеру были уже в нашем местечке.

На другой же день я заказал в разных местах, во избежание подозрений, несколько пар ходуль различной величины и, взяв с собой одного верблюда с провизией и некоторыми необходимыми вещами, отправился опять в пустыню, где начал упражняться в хождении на ходулях – сначала на низких, а затем постепенно на все более и более высоких.

Оказалось, передвигаться по пескам на ходулях было уже не так трудно, после того как я приделал к ним придуманные мною и заказанные, опять-таки из предосторожности, не в тех местах, где ходули, железные подошвы.

И вот, за мое пребывание в целях упражнений в пустыне я пережил еще два бурана; один из них был, правда, слабый, но все же обычным способом идти и ориентироваться и при нем было немислимо, и я при помощи моих ходулей разгуливал во время обоих этих буранов по пескам в любом направлении, как у себя в комнате. Немного трудно только было привыкать уметь не оступаться, так как очень часто, особенно, как я сказал, во время буранов, попадаются возвышенности и низины. Но, к счастью, как я это обнаружил, линия границы песчаной атмосферы имеет неровности, соответствующие неровностям самих песков, и потому хождение на ходулях значительно облегчалось тем, что можно было по этой линии границы песчаной атмосферы почти ясно видеть, где кончается одна и начинается другая дюна.

Во всяком случае, – закончил доктор Сары-Оглы, – использование этого открытия, т. е. что высота поднимаемого ветром в пустыне песка имеет свой определенный и не очень высокий предел и что поверхность границы этой, так сказать, «песчаной-атмосферы» всегда воспроизводит рельеф поверхности песков пустыни, в предстоящем нам путешествии можно было бы признать безусловно необходимым.

На табуретку докладчиков третьим сел филолог Елов и со свойственной ему своеобразной экспрессивной манерой выразиться сказал следующее:

– Если вы позволите, господа, я скажу то же самое, как относительно первой половины своего проекта заявил наш почтенный эскулап, именно – «пас». Но я «пас» и вообще относительно всего того, о чем я думал и

мудрствовал за все дни этого месяца.

До чего я додумался и что я хотел вам сегодня сообщить, в сравнении с теми идеями, которые нам сегодня дали инженер Карпенко и мой незаменимый, как в смысле происхождения, так и обладания диплома, друг доктор – просто «детская-игра».

А вот сегодня, за то время, пока говорили оба предыдущих докладчика, у меня благодаря их предложениям возникли новые соображения, которые, может быть, и вы найдете приемлемыми и полезными для использования в нашем путешествии.

Дело вот в чем: по предложению доктора мы все, наверное, будем упражняться ходить на ходулях разной высоты, но ходули для пользования во время самого путешествия, одну пару которых каждый должен иметь при себе, будут не меньше шести метров.

По предложению же Карпенко у нас, наверное, будет множество баранов и коз.

И вот я думаю, что наши ходули, на то время, когда они не будут в употреблении, очень легко приспособить так, чтобы вместо того, чтобы нам носить их на себе, их таскали наши бараны и козы.

Каждому из нас известно, что баранта имеет привычку идти туда, куда идет первый баран, так называемый «вожак», и поэтому нужно будет направлять путь только тех баранов, которые запряжены в первые ходули, а остальные уже сами пройдут длинной цепью, один за другим.

Помимо того, что при такой постановке дела мы освободимся от необходимости таскать ходули на себе, мы можем устроить так, чтобы наша баранта несла и нас самих. Ведь между поставленными параллельно ходулями в шесть метров длины, можно свободно поместить семь рядов баранов, по три в ряд, т. е. в общей сложности двадцать одного барана, для которых вес одного человека явится плевым делом.

Для этого надо только впряженных в ходули баранов разместить так, чтобы в середине оставалось свободное место, метра в полтора длины и около метра ширины, которое и можно будет употребить для устройства очень удобного ложа.

Тогда каждый из нас, вместо того чтобы мучиться и обливаться потом, таща на себе свои ходули, пусть себе лежит как Мухтар-Паша в своем гареме или как богатый дармоед, едущий в собственном экипаже по аллеям Булонского леса.

При таких условиях перехода пустыни мы даже можем за это время изучить почти все языки, которые нам понадобятся при дальнейшем нашем путешествии.

После сделанных первых двух докладов с таким финалом Елова надобность в других предложениях сама собой отпала. Мы все были до такой степени поражены услышанным, что нам даже показалось, что представление о трудностях и даже невозможности перехода через Гоби кем-то нарочно преувеличены и внушены человеку.

Итак, остановившись на этих предложениях, мы тут же без всяких прений решили временно скрывать от всех местных жителей предстоящее наше вступление в пески Гоби – в этот мир голода, смерти и неизвестности.

Для этого мы условились выдавать профессора Скрыдлова за отчаянного русского купца, попавшего в эти края с целью бесшабашной торговой аферы; он хочет-де в этих краях покупать для отправки в Россию баранту, которая там в цене, а здесь может быть приобретаема намного дешевле, и также заодно он намерен начать вывозить из этих мест тонкие, длинные и крепкие деревья для российских мануфактурных фабрик, на которых из них делают рамы для натягивания ситца.

В России таких крепких деревьев нет, рамы же из там имеющегося дерева, ввиду постоянного движения их в машинах, скоро изнашиваются, и потому такие крепкие деревья ценятся очень дорого. Вот будто бы по указанным причинам этот отчаянный купец и выдумал такое рискованное коммерческое предприятие.

Порешив на этом, все мы начали ликовать, говоря о предстоящем путешествии с такою легкостью, как будто речь шла о переходе площади Конкорд в Париже.

На другой же день мы все перебрались на берег реки к тому месту, где она начинает исчезать в бездонном море песка, и здесь разбили имевшиеся у нас, еще вывезенные из России палатки.

Хотя место нашего нового лагеря и находилось совсем недалеко от населенных мест, тем не менее здесь уже никто не жил, и нельзя было ожидать, чтобы кому-нибудь пришла в голову фантазия пойти туда, где уже начинается вход в этот суший «ад-кромешный».

Некоторые из нас под видом приказчиков и других служащих русского купца-чудака Иванова пошли по немногочисленным окрестным поселкам и начали закупать там коз и овец и тонкие деревья разной длины.

Скоро в нашем лагере появилась баранта.

Начались также усиленные упражнения в хождении на ходулях, сначала на низких, а потом постепенно на все более высоких, и уже через двенадцать дней, в одно прекрасное утро наш необыкновенный кортеж тронулся в глущь песков под бляние коз и баранов, лаянье собак и ржание

и крики приобретенных на всякий случай лошади и осла.

Кортеж скоро растянулся в длинное шествие с многочисленными носилками наподобие торжественных процессий прежних царей.

Долгое время не умолкали наши веселые песни и перебивания с импровизированных носилок, следовавших на значительном расстоянии друг от друга; конечно, как всегда, замечания, исходившие от Елова, вызывали взрыв хохота.

Через несколько дней мы, несмотря на то что перенесли за это время два отчаянных бурана, без всякого утомления и вполне удовлетворенные всем – даже тем, что хорошо изучили нужный нам язык, – достигли почти центра пустыни и подходили к месту, бывшему ближайшей целью нашего маршрута.

Наверное, все и закончилось бы так, как мы предполагали, если бы не несчастный случай с Соловьевым.

Пользуясь способностью нашего товарища, опытного астронома Даштамирова, ориентироваться по звездам, мы большею частью ехали ночами и раз, под утро, сделали остановку, чтобы закусить и накормить нашу баранту.

Было раннее утро; солнце еще только начинало печь. Только мы собрались приняться за свежеприготовленную баранину с рисом, как вдруг на горизонте показалось стадо верблюдов. Мы сразу догадались, что это были дикие верблюды.

Соловьев, как страстный охотник, стрелявший без промаха, сейчас же схватил свою шестизарядку и побежал по направлению, где показались силуэты верблюдов, а мы, высмеивая страсть Соловьева к охоте, приступили к горячей пище, чудно приготовленной в такой небывалой обстановке. Я говорю «небывалой», потому что в таких песках и на таком расстоянии от их берегов обычно разводить огонь немислимо, так как там на песках другой раз на тысячу километров не попадает даже саксаула, а у нас по крайней мере два раза в сутки разводился костер для варки еды и для приготовления кофе или чая, и притом чая не только обыкновенного китайского, но также и тибетского – на бульоне из костей зарезанных баранов.

Такой роскошью мы были обязаны выдумке Погосьяна, который дал идею сделать седла для нагрузки на баранов пузырями с водой из специальных деревянных палок, и теперь, когда резали баранов, ежедневно нам оставалось столько дров, что вполне хватало на костры.

С того времени, как Соловьев побежал за верблюдами, прошло полтора часа.

Мы уже все приготовились для продолжения пути, а его все не было видно.

Подождали еще полчаса. Зная хорошо щепетильность Соловьева, никогда не заставлявшего себя ждать, мы опасались беды и потому, взяв оружие, все, кроме двух, отправились на розыски. Вскоре мы опять заметили вдали силуэты верблюдов и пошли по направлению к ним. Когда мы начали приближаться к этому месту, верблюды, очевидно почувствовав наше приближение, скрылись на юг; мы продолжали идти.

Прошло уже четыре часа с того времени, когда Соловьев ушел. Вдруг один из нас заметил лежащего в нескольких стах шагах человека и, когда мы пришли туда, мы узнали Соловьева, который был уже мертв и лежал с перегрызенной шеей. Всех нас охватила сердце раздирающая печаль, так как все искренно любили этого исключительного добряка.

Устроив из наших ружей носилки, мы потащили тело Соловьева к нашей стоянке. В тот же день с большой торжественностью, во главе со Скрыдловым, исполнявшим обязанности священника, мы похоронили его в сердце песков, после чего покинули это проклятое для нас место.

Хотя нами уже много было сделано для розыска того легендарного города, который мы рассчитывали обнаружить на нашем пути, но мы изменили все наши планы и решили как можно скорее выйти из пустыни.

Для этого мы взяли путь гораздо левее и через четыре дня попали в Керийский оазис, откуда уже начиналась нормальная природа.

Из оазиса Керия мы отправились дальше, но уже без милого для всех нас Соловьева.

Покой душе твоей, честный, никогда не изменявший друг всех друзей.

## Эким Бей

Эту главу второй серии моих писаний я хочу посвятить воспоминаниям об одном человеке, которого из встретившихся со мною людей тоже отношу к числу замечательных, воспоминаниям о таком именно человеке, у которого, между прочим, волею ли судеб или благодаря законам, вытекающим из, так сказать, «самим-развитой-индивидуальности», большинство мелких аспектов уклада его «подстаростной-жизни» до самых мелочей сложилось так же, как и мои. Этот человек и по сие время живет с обычной точки зрения в полном здравии, но, на мой взгляд, говоря между нами, желаемым здоровьем обладает лишь его физическое тело.

Интересен в данном случае тот факт, что вопреки ожиданиям и общепринятому мнению о том, что у людей, принадлежащих к двум национальностям, находившимся в многовековой расовой борьбе, должно обычно испытываться друг к другу инстинктивное чувство враждебности и даже ненависти, у меня с ним несмотря на это, а также на различие происхождения, семейно-бытовых воспитательных устоев и религиозных убеждений, после первой, состоявшейся при не совсем обычных жизненных условиях встречи в ранней нашей молодости, позже, когда мы в зрелом возрасте благодаря всяким житейским случайностям близко сошлись своими внутренними мирами, просто как два, так сказать, «возникновения-однородной-причинности», образовалось в отношении друг к другу чувство, по степени равное чувству «единокровного-братства».

В этой главе я опишу мою первую случайную встречу с искренно уважаемым всеми знающими его серьезными людьми, а людьми среднего и низшего уровня считаемым даже «великим-магом-чародеем» – доктором Эким Беем, а также расскажу вкратце о некоторых поучительных событиях, происходивших в последовавших наших совместных скитаниях по разным дебрям Азии и Африки.

В настоящее время он доживает кое-как свой век в одном маленьком и незначительном местечке Египта, с титулом Большого Турецкого Паши и орденами за заслуги в прошлом, оказавшимися, так сказать, «эфемерными».

Кстати сказать, он избрал своим местожительством под старость лет такое захолустное местечко, несмотря на то что обладает всякими

возможностями жить, где ему угодно, и заслуженно пользоваться существующими в современной жизни удобствами, главным образом потому, что желал избежать назойливости праздных и любопытных людей – этого недостойного для человека свойства, сделавшегося присущностью большинства современных людей.

Итак, в первый раз я с Эким Беем встретился, когда он был еще совсем молодым и, учась в военном училище в Германии, в летние месяцы приезжал к отцу в Константинополь. Мы были ровесниками.

Прежде чем описывать обстоятельства, при которых состоялась моя встреча с Эким Беем, надо сказать, что перед моим первым, уже описанным в одной из предыдущих глав, посещением Эчмиадзина, где я впервые встретился с Погосьяном, когда я, как можно было бы сказать, еще толкался всюду «как-загнанная-собака», ища ответов на возникшие в моем, по понятиям большинства современных людей, заболевшем «психопатизмом» мозгу вопросы, я попал также в Константинополь, привлеченный туда слухами о множестве чудес, творимых якобы тамошними дервишами.

По приезде в Константинополь я устроился жить в местности, именуемой Пера, и оттуда начал ездить в монастыри к разным дервишам.

Живя тогда там с таким моим на этот раз, так сказать, «дервишеским-увлечением», и, конечно, ничем дельным не занимаясь и ни о чем другом, кроме всякой «дервишеской-белиберды», и не думая, я раз в один пасмурный день проконстатировал ясно, без всякой иллюзии, тот факт, что очень скоро у меня совершенно не будет так называемых «пети-мети».

После такого констатирования я дня два ходил нельзя сказать, чтобы «беспечно», и все время под моим черепом, как мухи – фавориты испанских мулов, копошились мысли о том, каким бы образом достать то презренное «нечто», которое является для современного человека почти единственным стимулом его жизни.

С такими заботами я раз стоял на большом мосту между Перой и Стамбулом и задумался относительно смысла и значения долгого движения так называемых «вертящихся-дервишей», на первый взгляд кажущегося автоматическим, без всякого участия сознания.

Под мостом и около него все время проходили пароходы и всюду шныряли лодки.

Непосредственно начиная от моста, на берегу Галаты была пристань для пароходов, совершавших рейсы между Константинополем и другим берегом Босфора.

У этой пристани я увидел между приходящими и отходящими пароходами плававших мальчишек, которые занимались тем, что ныряли и доставали монеты, бросаемые публикой с парохода.

Меня это очень заинтересовало. Я подошел ближе и стал смотреть.

Мальчишки, не торопясь, очень ловко ловили монеты, не упуская ни одной из бросаемых в разные места пассажирами с пароходов.

Я долго смотрел и любовался легкостью и ловкостью этих мальчишек.

Они были разного возраста, от восьми лет и не старше восемнадцати.

Вдруг мне в голову пришла мысль: «Почему бы и мне не научиться такой профессии? Чем я хуже этих мальчишек?» – и со следующего дня я начал ходить на берег бухты «Золотой-Рог», на места, находящиеся ниже, как там называют, «Адмиралтейства», чтобы учиться нырять.

В эти дни моего практикования в нырянии у меня случайно объявился даже учитель, один грек, знаток этого дела, ходивший сюда купаться.

Он отчасти сам показывал мне всякие детали этой «премудрости», а отчасти я выведывал у него их, со свойственной мне уже тогда хитростью, за чашкой кофе, который мы пили после купанья в недалеко находившейся греческой кофейне; не буду, конечно, распространяться о том, кто платил за кофе.

Первое время мне было очень трудно; требовалось нырять с открытыми глазами, а морская вода разъедала слизистую оболочку, вызывая страшные боли, которые меня мучили, особенно по ночам.

Все же скоро мои глаза привыкли, и я начал свободно видеть в воде так же хорошо, как и в воздухе.

Через две недели я уже вместе с местными мальчишками всякого возраста начал тоже «промышлять» вокруг пароходов ловлей бросаемых монет, но, конечно, вначале не очень успешно, хотя вскоре уже не упускал из виду ни одной.

Надо сказать, что брошенная в воду монета вначале ко дну идет очень быстро, но постепенно, чем ниже от поверхности, она опускается все медленнее; особенно если места глубоки, то требуется много времени, чтобы монета окончательно опустилась на дно.

Таким образом, нужно только хорошо заметить район, куда она первоначально падает, а там, в воде, зная уже место, ее легко заметить и поспевать за ней.

И вот раз какой-то пассажир, о чем-то задумавшись, смотрел, облокотившись на борт парохода, на «монетоловов» и вдруг нечаянно уронил в воду находившиеся у него в руках так называемые «четки» – эту необходимую принадлежность каждого азиатского серьезного человека во

время перерывов в выполнении своих установившихся жизненных обязанностей.

Хотя он сейчас же, чтобы достать их, позвал мальчиков-ловцов, но те, как ни искали, не могли найти четки, так как, находясь далеко, не успели заметить место, куда они упали.

Очевидно, четки были очень дорогие, так как пассажир обещал заплатить тому, кто найдет их, двадцать пять лир.

После ухода парохода все «монетоловы» долгое время искали, но их старания ни к чему не привели; место было глубокое, и «обшаривать-дно», как они выражались, было невозможно.

Вообще, добраться до дна в глубоких местах очень трудно; насколько легко вода поднимает живое тело наверх, настолько же она оказывает сильное сопротивление при спуске его вниз.

Через несколько дней после этого я ловил монеты на этом же месте, и раз как-то пассажир бросил монету так далеко, что, пока я подплыл к месту ее падения, монета ушла уже далеко вниз; так как день этот был не очень «уловливый», то мне захотелось во что бы то ни стало поймать эту монету.

Когда я уже настиг ее, то невдалеке на дне промелькнул силуэт, похожий на четки, и я, выплыв опять на поверхность, вспомнил о четках, за которые предлагали двадцать пять лир.

Запомнив это место, я начал там нырять, никому ничего не говоря, а когда убедился, что спуститься обыкновенным способом до дна невозможно, то на другой день принес с собою несколько тяжелых каменоломных молотков, взятых мною у одного кузнеца напрокат, и, привязав их вокруг своего тела, начал нырять с этой тяжестью.

Четки я скоро нашел; они оказались янтарными и усыпаны были мелкими бриллиантами и гранатами.

В тот же день я узнал, что пассажир, потерявший четки, был Паша Н., экс-губернатор ближайшего к Константинополю вилайета, и что он в настоящее время проживает на другом берегу Босфора, недалеко от Скутари.

Так как за последние дни я себя чувствовал неважно и с каждым днем мне становилось все хуже и хуже, то я решил не идти на другой день на ловлю монет, а поехать в Скутари, чтобы отнести четки их владельцу и, кстати, посмотреть на скутарийское кладбище.

И я на другой день поехал туда и скоро нашел дом Паши.

Он оказался дома, и когда ему доложили о приходе какого-то ловца монет, который непременно хочет видеть его лично, то он, очевидно, сразу понял, в чем дело, сам вышел ко мне и, когда я передал ему четки, так

искренно обрадовался, что эта его искренность, равно как и простота обхождения со мной, расстроили меня, и я ни за что не захотел взять у него обещанного вознаграждения.

Тогда он предложил мне хотя бы пообедать у него, от чего я не отказался.

После обеда я сейчас же ушел, чтобы успеть к предпоследнему отходящему обратно пароходу.

По дороге, однако, я почувствовал себя так скверно, что принужден был присесть на выступ одного дома и тут же, как оказалось, потерял сознание.

Проходившие мимо люди заметили мое состояние, и слух о внезапном заболевании какого-то мальчика, так как место, где я сел, было недалеко от дома Паши, скоро дошел и до него; узнав, что заболевший был тот, кто принес четки, Паша немедленно сам со своими людьми прибежал и приказал внести меня в свой дом и сейчас же распорядился позвать одного военного врача.

Хотя я скоро пришел в себя, но состояние мое было таково, что я не мог двигаться и вынужден был остаться пока в доме Паши.

В первую же ночь вся моя кожа начала трескаться и невыносимо гореть; очевидно, моя непривычная к морской воде кожа от продолжительного пребывания в соленой воде не выдержала действия последней.

Меня поместили в одном флигеле и приставили ухаживать за мной старуху, по имени Фатьма Баджи.

Сюда же стал приходить помогать этой старухе ухаживать за мной сын Паши, воспитанник какого-то германского военного училища.

Это и был Эким Бей, ставший впоследствии моим душевным приятелем.

Когда я начал поправляться, мы с ним разговорились и стали болтать о всякой всячине, но постепенно наши разговоры приняли философский характер.

После, как я поправился, мы расстались с ним уже как друзья и с этих пор постоянно состояли в непрерывной переписке.

Он в этот же год из военного училища перешел, там же в Германии, в медицинскую школу, так как изменившиеся за это время его внутренние убеждения побудили его бросить военную карьеру для того, чтобы стать в будущем военным врачом.

С тех пор прошло четыре года.

Раз, я на Кавказе получил от него письмо, в котором он писал, что он

уже врач, и выражал желание повидаться со мною и за одно посмотреть давно его интересовавший Кавказ, и он спрашивал, когда и где он мог бы меня увидеть.

В это лето я жил в городе Сурами, где занимался выделкой гипсовых изделий.

Я послал ему телеграмму, что с нетерпением жду сюда его приезда.

Вскоре он приехал в Сурами. Туда же в этом году приехали провести лето Погосьян, Елов и Карпенко, который тоже был моим товарищем с детства и которому я собираюсь посвятить следующую главу этой книги.

Эким Бей с этими моими старыми товарищами очень скоро сошелся и чувствовал себя с ними как с давнишними приятелями.

В Сурами мы провели все лето и оттуда часто предпринимали, обыкновенно пешком, небольшие экскурсии.

Мы поднимались на «Сурамский-перевал», ходили по окрестностям «Боржома», «Михайлова» и намеренно завязывали знакомство с разными людьми этих местностей, не подвергшихся еще воздействию современной цивилизации, и раз даже посетили знаменитую, сводившую с ума всех ученых по этнографии, «Хевсурию».

Эким Бей, живя несколько месяцев в таких условиях с нами, именно с людьми его возраста, уже как следует «начиненными» всякими, так сказать, «донкихотскими-стремлениями», и принимая участие во всех наших обменах мнениями, волею-неволею постепенно втянулся в наш, так сказать, «психопатизм» и тоже захотел вместе с нами непременно, как говорится, «прыгнуть-выше-колен».

Мы четверо – Погосьян, Елов, Карпенко и я, – товарищи уже с давних пор, как раз в это время много говорили относительно сделанного нам недавно князем Юрием Любовецким предложения принять участие в предполагаемом им и некоторыми его друзьями большом путешествии пешком, с планом начать с пограничного города Нахичевана, пересечь Персию и выйти к Персидскому заливу.

Эти разговоры между нами, а также всякие перспективы, связанные с такого рода путешествием, в конце концов так заинтересовали Эким Бей, что он начал нас просить устроить и его в число участников этой экспедиции, и со своей стороны стал обдумывать, как поступить, чтобы получить на нее разрешение своего отца и годовой отпуск от своего начальства.

Результатом всего этого было то, что он, после того как выхлопотал то и другое – отчасти по телеграфу, отчасти лично, когда вернулся с Кавказа к себе домой для того, чтобы приготовиться к этому большому

путешествию, – оказался ко дню нашего выхода из Нахичевана, состоявшегося первого января следующего года, в нашей компании и начал с нами свое первое большое путешествие.

В тот же день в полночь мы тронулись из Нахичевана, и когда очередное утро вступило в свои права, уже были объектами проявления «мудрости» тех двуногих обитателей нашей милой планеты, которые называются «пограничной-стражей» и которые везде и всюду, в смысле проявляемости своей сообразительности и своего «всеведения», одинаково тонко развиты.

Нас было двадцать три человека, в числе которых были все эти мои друзья и товарищи, памяти которых я решил даже посвятить отдельные главы в этой серии моих писаний. Трое из них – Погосьян, Елов и князь Любоведский – уже мною описаны; с доктором Эким Беем я знакомлю читателя в этой главе, а остальным двум – инженеру Карпенко и профессору археологии Скрыдлову – я предназначаю следующие главы данной книги.

Переход наш до города Тавриза, куда мы прибыли через десять дней, ничем особенным не ознаменовался; после же Тавриза происшедшее событие я опишу возможно подробнее, не только потому, что в нем принимал участие и проявил к нему серьезный интерес Эким Бей, которому я посвящаю эту главу, но и потому, что оно явилось для меня лично, так сказать, переломом в моем мирозерцании.

Еще в Тавризе мы много слышали про одного персидского дервиша, творившего якобы необычайные чудеса, и очень им заинтересовались; когда же мы в нашем дальнейшем пути опять услышали о нем от одного армянского священника, то на этот раз, несмотря даже на то, что его местожительство находилось намного в стороне от намеченного нами пути, мы все же решили изменить наш маршрут, чтобы попасть к нему и лично его увидеть и узнать, что он из себя представляет.

Только на тринадцатый день утомительного пути, ночуя по дороге то в шалашах исфаханских и курдских пастухов, то в деревнях, мы наконец пришли в деревню, где жил дервиш, и нам сразу указали его дом.

Жил он в стороне от деревни, и мы, немедленно направившись туда, нашли его в тени группы деревьев, стоявших около его дома, где он по обыкновению вел беседы с приходившими к нему.

Мы увидели уже пожилого человека, почти старика, одетого в какие-то лохмотья, сидевшего со скрещенными босыми ногами на земле.

Невдалеке от него сидело несколько молодых персов; как мы потом узнали, это были его ученики.

Мы подошли и, испросив его благословения, сели тоже на земле, образовав около него полукруг.

Начался разговор; мы задавали ему вопросы, он нам отвечал и в свою очередь спрашивал нас.

Он нас принял вначале довольно холодно и говорил как бы неохотно, но потом, узнав, что мы пришли из дальних мест специально, чтобы побеседовать с ним, стал с нами общительнее.

Говорил он очень просто, так сказать, «кустарно», и вначале произвел, по крайней мере лично на меня, впечатление несведущего, т. е. в европейском смысле слова необразованного человека.

Беседа с дервишем велась на персидском языке, но на том особом наречии его, которое, кроме меня, доктора Сары-Оглы и еще одного, немного владевшего им, никто из нашей компании не знал, так что вопросы задавали я и Сары-Оглы и тут же остальным переводили все сказанное.

Было обеденное время. Пришедший ученик принес дервишу пищу – рис в тыквенной чашке.

Дервиш, продолжая беседу, стал есть.

Мы тоже, раскрыв наши дорожные сумки, стали есть, так как с самого утра, как встали и отправились в путь, ничего еще не ели.

Надо сказать, что я в ту пору был очень ярим последователем пресловутых индийских йогов и, между прочим, очень точно выполнял все указания так называемых «хатха-йогов», и потому во время еды я старался как можно лучше разжевывать пищу, вследствие чего, когда почти все, в том числе и дервиш, окончили свою скромную трапезу, я продолжал еще долго и медленно есть, стараясь не проглотить ни одного куска, не разжевавши его по всем правилам.

Старик, заметив это, спросил меня:

– Скажите мне, молодой чужеземец, зачем вы так едите?

Я настолько искренно был удивлен этим вопросом, показавшимся мне тогда столь странным и не говорящим в пользу его знаний, что у меня даже отпала охота отвечать ему, и я подумал, что напрасно мы сделали такой крюк ради разговора с человеком, который совершенно не стоит того, чтобы с ним серьезно разговаривать, но, посмотрев в его глаза, мне стало не то жалко его, не то стыдно за него, и я с апломбом ответил, что я тщательно пережевываю пищу для того, чтобы она лучше усваивалась в кишечнике, и, сославшись на всем известный факт, что лучше переваренная пища дает организму большее количество калорий, необходимых для отправления всех наших функций, вкратце повторил все то, что я почерпнул по этому поводу из разных книжек.

Старик, покачивая головой, искренно и медленно произнес существующее среди персиян изречение:

– Убей, Господи, того, кто сам не знает, а другим путь к дверям Царства Твоего утвердительно указывать дерзает.

В это время Сары-Оглы, со своей стороны, задал дервишу какой-то вопрос, но тот, коротко ответив на него, опять обратился ко мне и спросил:

– Скажите, молодой чужеземец, вы наверно занимаетесь так же и гимнастикой?

Я действительно тогда усиленно занимался гимнастикой, и хотя мне были известны все приемы, рекомендуемые тоже индийскими йогами, но я предпочитал придерживаться системы датчанина Мюллера.

Я ответил, что занимаюсь гимнастикой, считаю необходимым делать ее два раза в день – утром и вечером – и вкратце пояснил, какого рода гимнастику я делаю.

– Но ведь это только хорошо для развития рук, ног и вообще наружных мышц, – сказал старик, – а у вас, кроме того, есть также мышцы и внутренние, на которые никакие ваши механические движения не распространяются.

– Конечно, есть, – сказал я.

– Хорошо. Вернемся теперь опять к вашему способу жевать пищу, – продолжал старик. – Если вы это долгое разжевывание употребляете как одно из средств в целях вашего здоровья или каких-нибудь других достижений, то если вы спросите мое искреннее мнение, я должен буду сказать, что вы избрали наихудшее средство для этого.

Тем, что вы тщательно пережевываете пищу, вы сокращаете необходимую вашему желудку работу.

Теперь вы молоды и все обстоит благополучно, но вы приучаете ваш желудок к бездействию, и к тому времени, когда вы будете старше, мышцы, от отсутствия естественной работы, до известной степени будут атрофированы.

Это неизбежно произойдет, если вы будете продолжать вашу систему пережевывания.

Вы знаете, что в старости наше тело и наши мышцы слабеют уже в силу возраста. И вот вы в старости, помимо такой естественной слабости, будете еще иметь и воспитанную вами слабость, так как приучаете ваш желудок не работать.

Вы представляете себе, что будет тогда?

Наоборот, не только не надо тщательно пережевывать пищу, но в ваши года лучше ее совсем не жевать, а глотать кусками, и если можно, то

глотать даже кости, чтобы дать работу желудку.

Видно, что те, кто вам советовал такое пережевывание, да и те, кто пишут книги об этом, как говорится, «слышали-звон-да-не-знают-где-он».

Простые и вместе с тем ясные и содержательные слова старика заставили меня совершенно изменить мнение, которое я себе вначале о нем составил.

До этого я задавал ему вопросы только из простого любопытства, но теперь у меня сразу возник серьезный интерес к нему, и с этого момента я внимательно и даже напряженно выслушивал все, что он продолжал говорить на эту тему.

Результатом всего им высказанного по этому поводу было то, что я всем существом своим понял, что принимавшееся мною до сих пор за неоспоримую истину было неправильно.

Я понял, что до этого я видел вещи только с одной их стороны; теперь многое предстало для меня в совершенно новом освещении, в голове возникали все новые и новые вопросы, касающиеся выяснения все новых и новых деталей затронутой темы.

Очень увлеченные разговором с дервишем, я и доктор совершенно забыли об остальных товарищах и перестали переводить им, а они, видя, в свою очередь, насколько сильно мы заинтересованы, стали часто спрашивать то меня, то Сары-Оглы: «Что говорит дервиш? Что он сказал?..» – и нам каждый раз приходилось отделяться от них обещанием потом рассказать все во всех подробностях.

Когда дервиш кончил говорить про «искусственное-жевание» и вообще о способах восприятия нами пищи и автоматической закономерной трансформации ее внутри нас, я сказал:

– Будьте добры, отец, объясните мне, что вы думаете также о так называемом «искусственном-дыхании»? Я считаю это полезным, практикую его по указанию тех же йогов, а именно: вдыхая воздух, задерживаю его известное время и потом так же медленно выдыхаю. Может быть, этого тоже не следует делать?

Дервиш, видя, что мое отношение к его словам совершенно переменялось, стал очень участливо и подробно объяснять мне следующее:

– Если пережевыванием пищи, как вы это делаете, вы приносите себе вред, то в тысячу раз еще вреднее то, что вы занимаетесь таким дыханием. Все упражнения в дыхании, которые приводятся в книгах и которым учат во всех современных «эзотерических-школах», кроме вреда, ничего принести не могут.

Дыхание, как это должен понять всякий мало-мальски

здравомыслящий человек, является тоже процессом другого рода нашего питания.

Воздух, как и обыкновенная наша пища, попадая в организм и перерабатываясь там, распадается на свои составные части, которые во время общего процесса жизни организма входят в различные потребные соединения как между собою, так и с уже имеющимися в организме соответствующими частями определенных веществ, в результате чего и получают те новые необходимые вещества, которые непрерывно расходуются на беспрестанно происходящие в организме человека различного рода жизненные процессы.

Нельзя не знать, что для получения всякого нового определенного вещества составляющие его части должны быть взяты во вполне определенных количественных соотношениях.

Возьмем самый обыденный простой пример:

Нужно испечь хлеб. Для этого раньше всего готовится тесто, для чего берутся строго определенные пропорции муки и воды.

Если воды взято слишком мало, вместо теста получится нечто рассыпающееся при первом прикосновении; если же воды будет слишком много, получится просто так называемое «месиво», употребляемое для корма скота; как в том, так и в другом случае, теста, необходимого для выпечки хлеба, не получится.

То же самое происходит при образовании всякого нужного для организма вещества. Части, входящие в состав такого вещества, должны находиться между собой в строго определенных как качественных, так и количественных соотношениях.

Когда вы дышите обычным порядком, вы дышите механически. Организм сам без вас берет то количество веществ из воздуха, которое ему нужно. Легкие уже так приноровились и привыкли работать с определенным количеством воздуха.

Если же состав перерабатываемого легкими воздуха изменится, то неизбежно должны измениться и дальнейшие внутренние процессы смешивания и уравнивания.

Без знания всех деталей основных законов этого дыхания неизбежно должно произойти, при применении искусственного дыхания, хотя очень медленное, но во всяком случае верное самоуничтожение.

Надо иметь в виду, что в воздухе кроме нужных организму веществ имеются еще и ненужные, и даже вредные.

И вот, искусственное дыхание, т. е. насильственное изменение естественного дыхания, способствует проникновению в организм этих

многих имеющихся в воздухе вредоносных для жизни веществ и в то же время нарушает количественно и качественно соотношение полезных для нормальной жизни веществ.

При искусственном дыхании нарушается отношение количества пищи, получаемой из воздуха, к количеству остальной нашей пищи. Поэтому, увеличивая или уменьшая приток воздуха, надо соответственно увеличить или уменьшить количество других родов пищи.

А чтобы поддерживать правильное соотношение, надо иметь полное знание своего организма.

Знаете ли вы себя настолько? Знаете ли вы, например, что желудку нужна пища не только для питания, но и потому, что он привык к известному количеству пищи?

Мы едим больше для удовлетворения своего вкуса, для удовлетворения того привычного ощущения давления, которое желудок испытывает при введении в него известного количества пищи. В стенках желудка разветвляются так называемые «блуждающие-нервы», которые, приходя в движение при отсутствии известного рода давления, и вызывают в нас то ощущение, которое мы называем голодом. Таким образом, голод бывает разный – голод, так сказать, телесный или физический и голод, если можно так выразиться, «нервный» или «психический».

Каждый наш орган работает механически, и в каждом органе, благодаря его природе и образовавшимся привычкам, создан особый темп функционизации его, и темпы функционизации разных органов находятся между собой в известном соотношении; в организме установилось, так сказать, известное равновесие, один орган зависит от другого – все связано.

Изменяя искусственно наше дыхание, мы меняем прежде всего темп функционизации легких, но так как деятельность легких связана с деятельностью, например, желудка, то сначала немного, а затем все сильнее и сильнее меняется темп функционизации желудка. Например, на переваривание пищи желудку нужно известное время, скажем, надо, чтобы пища оставалась там час. Когда же темп функционизации желудка меняется, то изменяется и период времени прохождения пищи, например, пища может пройти быстро и желудок не успеет сделать то, что нужно, и сделает только часть. То же самое и с другими органами.

Поэтому в тысячу раз лучше ничего не делать с нашим организмом, лучше оставить его испорченным, чем поправлять, не зная, как поправлять.

Повторяю, организм наш – очень сложный аппарат, в нем много органов с разными темпами происходящих в них процессов, с разными

потребностями. Надо или все менять, или ничего. В противном случае, вместо добра может получиться худо.

Масса болезней происходит только от искусственного дыхания. Во многих случаях дело кончается расширением сердца или сокращением дыхательного горла, или портится желудок, печень, почки и нервы.

Очень редко бывает, чтобы человек при упражнениях в искусственном дыхании не испортил себя окончательно, и то этот редкий случай бывает тогда, когда он вовремя останавливается. Кто применял длительно искусственное дыхание, тот всегда получал плачевные результаты.

Если вы знаете каждый винтик, каждый гвоздик своей машины, тогда вы можете знать, что вам надо делать. Если же вы знаете немного и пробуете, то многим рискуете, потому что машина очень сложная, и есть очень маленькие винтики, которые при сильном толчке можно легко сломать, а в лавочке их потом не купишь.

И потому мой совет вам, раз вы его спрашиваете, остановиться и в этих ваших упражнениях с дыханием.

В этот день наша беседа с этим дервишем долго затянулась. За это время я успел посоветоваться с князем о дальнейшем, и, когда мы, поблагодарив дервиша, хотели уйти, я ему сказал, что в этой деревне мы предполагаем еще оставаться день-два и не позволит ли он как-нибудь еще раз с ним побеседовать, на что он дал свое согласие и даже сказал, что если мы захотим, то можем прийти к нему и завтра после обеда.

Мы остались в этой деревне не два дня, как я сказал, а целую неделю, и каждый день после обеда все отправлялись к этому дервишу и беседовали с ним, после чего я или Сары-Оглы до поздней ночи передавали остальным товарищам, не понимавшим наречия, на котором говорил дервиш, все сказанное во время этих бесед.

Последний раз, когда мы пошли к дервишу, чтобы поблагодарить и проститься с ним, вдруг совершенно неожиданно для нас Эким Бей, с несвойственным ему смиренным тоном, обратился к нему по-персидски со следующими словами:

– Добрый отец! С одной стороны, за эти дни я всем своим существом убедился, что вы, именно вы, – в этом месте своей речи, перебивая себя, он скороговоркой попросил меня и Сары-Оглы не мешать ему говорить самостоятельно и следить и поправлять только в тех случаях, если его выражения на местном наречии будут иметь специфическое значение и могут изменить смысл сказанного им, а потом продолжал, – тот самый человек, которого в последнее время я инстинктивно ищу, чтобы вполне доверить руководство моим внутренним миром для урегулирования и

нейтрализации возникшей в нем за последнее время борьбы двух совершенно противоположных стремлений. А с другой стороны, множество житейских, не от меня зависящих обстоятельств не дали бы мне возможность жить где-нибудь здесь, неподалеку от вас, чтобы последовательно, в нужные моменты приходить к вам и с благоговением выслушивать ваши указания и советы, как жить, чтобы, во-первых, не было бы этой мучающей меня внутренней борьбы, а во-вторых, подготовить себя для достойного и долженствующего человеку бытия.

И поэтому я теперь прошу вас, если это возможно, не отказать дать мне, пока в сокращенной форме, указания и несколько руководящих принципов жизни, подобающих человеку в моем возрасте.

На такую неожиданную для нас и витиеватую просьбу Эким Бея этот почтенный старец, персидский дервиш, ответил тогда очень подробно и обстоятельно.

То, что было разъяснено этим персидским дервишем в ответ на заданный Эким Беем вопрос, я теперь в этой второй серии моих писаний описывать не буду, считая это преждевременным и даже вредным в смысле правильного последовательного восприятия серьезными читателями всех моих изложений в целях настоящего понимания, а не просто пустого знания, и потому решил, с чистой совестью, «квинтэссенцию» и этого понятия изложить позже в соответствующей главе третьей серии моих писаний, а именно в главе под наименованием «Физическое-тело-человека-и-его-закономерные-потребности-и-возможности-проявляемости».

На другой день утром рано после этого последнего посещения дервиша мы вместе отправились дальше, но скоро изменили намеченное нами раньше направление пути и пошли не на Персидский залив, а взяли направо, к Багдаду, так как двое из наших – Карпенко и Нижерадзе – заболели лихорадкой, и им с каждым днем становилось все хуже и хуже.

Придя в Багдад и прожив там около месяца, мы разошлись в разные стороны; часть из нас, а именно князь Любоведский, Елов и Эким Бей отправились в Константинополь; Карпенко, Нижерадзе и Погосьян пошли вверх по течению Евфрата. Они хотели пойти до его верховья, пересечь горы и перейти границу России, а я с доктором Сары-Оглы и остальными решили вернуться обратно и пойти по направлению Хорасана, и там уже решить, как закончить наше путешествие.

В своих воспоминаниях о личности доктора Эким Бея нельзя не упомянуть о его серьезном увлечении гипнотизмом и связанными с ним явлениями; его в особенности интересовали те явления, которые в

совокупности своей называются «сила-человеческой-мысли» и входят, как отдельная отрасль, в современную науку о гипнотизме.

Сам он в гипнотизме и в сказанной отрасли достиг действительно небывалых практических результатов.

Главным образом благодаря этим опытам, производимым им над другими людьми с целью выяснить себе всевозможные детали разных проявлений силы и значения человеческой мысли, он и прослыл среди окружающих грозным «магом-и-чародеем».

Именно эти его выяснительные эксперименты, которые он в сказанных целях проделывал над своими знакомыми и их друзьями, и привели к тому, что некоторые встретившиеся с ним люди или даже только слышавшие о нем стали его бояться, а другие, наоборот, начали оказывать ему уже чересчур необычайное почитание и даже, как говорится, «стали-лизать-ему-пятки».

Я думаю, что основной причиной создавшегося среди окружавших его людей такого, совершенно не соответствующего действительности мнения о нем послужили не его серьезные знания и развитые им, необычайные для человека, внутренние силы, а просто это получилось благодаря знанию им одного, присущего всем ординарным людям свойства функционизации их организма, которое тоже можно отнести к известному ряду, так сказать, «рабства-человеческой-натуры».

Это свойство заключается в том, что у каждого человека, к какому бы классу населения он ни принадлежал и какого бы возраста он ни был, когда он думает о вне его лежащем конкретном предмете, то вместе с его мыслями напрягаются или, как говорят, сокращаются и его мышцы и, так сказать, «вибрируют» в том направлении, где находится предмет, на который направлены его мысли.

Например, если человек думает об Америке и его мысли направлены в сторону, где, по его представлению, находится Америка, то его мышцы, особенно так называемые «мелкие», вибрируют именно в ту сторону, т. е. всей совокупностью своей напряженности как бы давят в эту сторону.

Если, скажем, мысли человека направлены на второй этаж дома, а сам он находится в это время на первом этаже того же дома, то его мышцы напрягаются и как бы приподнимаются вверх – словом, направлению мыслей в определенную сторону соответствует в ту же сторону и напряжение мышц.

Это явление происходит даже у тех людей, которые знают об этом свойстве человека и стараются всеми доступными им средствами противиться этому.

Каждому, наверное, приходилось видеть в каком-нибудь театре или цирке или другом общественном месте, как разные так называемые «индийские-факиры», «маги», «чудотворцы» и другие замечательные «ученые-тайн-сверхъестественных-наук» поражают всех своими «магическими» явлениями, находят спрятанные вещи или производят с ними то или другое, заранее задуманное публикой действие.

Эти «маги-и-волшебники» при выполнении таких своих «чародейств», беря чью-нибудь руку из числа присутствующих во время «загадывания», просто-напросто выполняют задуманное через бессознательные указания или толчки того, чью руку они держат и который, конечно, знает задуманное.

Они это могут делать не потому, что знают какие-нибудь тайные науки, а только потому, что знают секрет о таком свойстве человека.

Зная этот секрет, всякий человек сумеет сделать то же самое, если будет в этом немного упражняться.

Здесь надо только уметь сосредоточить свое внимание на руке другого и улавливать ее легкие, почти незаметные движения. Упражнением и практикой можно всегда добиться того, что будешь, как «маг», узнавать задуманное по произвольным движениям руки человека, взятого для опыта, даже в том случае, если последний, зная этот трюк, будет нарочно во время опыта стараться думать о чем-нибудь совершенно другом.

Например, если человек задумает, чтобы «маг» взял лежащую на столе шапку, то как бы он ни старался во время опыта думать о лежащих на диване сапогах, он все же бессознательно будет думать именно о шапке, потому что мышцы, которые нужны «магу», подчинены больше подсознанию, чем сознанию.

Как я уже сказал, Эким Бей производил над своими знакомыми подобные опыты с целью лучше изучить людскую психику и через это выявить причину гипнотических воздействий.

В числе таких его опытов, больше, чем всякие приемы факиров, поражал профанов один в высшей степени оригинальный способ, применявшийся им в целях достижения поставленной им себе задачи.

Этот прием его заключался в следующем:

На листе бумаги, разделенном на клетки, им была в алфавитном порядке заранее написана вся азбука, а в самом нижнем ряду – все цифры, т. е. от единицы до девяти и нуль. Таких листов он заготавливал несколько, причем на каждом листе был написан алфавит другой национальности.

Садясь за стол, он клал такой лист с алфавитом немного влево перед собой, в правую руку брал карандаш, а левой своей рукой брал правую руку

посаженного им с левой стороны, как раз напротив азбуки, человека, над которым он производил свой эксперимент, или того, кто сам просил «погадать» ему.

Усевшись таким образом, он и начинал говорить приблизительно следующее: «Раньше всего следует узнать, как вас зовут... – а затем как бы про себя медленно продолжал, – первая буква вашего имени...» – и в это время он водил руку желающего узнать свою судьбу над азбукой.

Благодаря упомянутому человеческому свойству, когда рука приходилась над той буквой, с которой начиналось имя, она делала произвольный толчок.

Эким Бей, зная значение этого толчка, улавливал его и продолжал: «Первая буква вашего имени...» – и он, назвав букву, над которой рука давала толчок, записывал ее на блокноте.

Продолжая дальше действовать таким же способом, он устанавливал несколько букв, которые определяли имя, и затем он уже догадывался о полном имени; например, получив буквы С, Т, Е, он уже знал, что это имя – Степан.

Тогда он говорил: «Вас зовут Степан. Теперь следует узнать, сколько вам лет», – и начинал водить рукой над цифрами.

Дальше он узнавал, женат ли он, сколько у него детей, кого как зовут, имя его жены, имя его самого большого врага, доброжелателя и т. д., и т. д.

После нескольких таких отгадываний его клиенты настолько поражались этим, что уже забывали все на свете и почти сами все, что было нужно Эким Бейю, диктовали; ему оставалось только повторять сказанное ими; и какие бы фантастические вещи Эким Бей после, уже отпустив руку спрашивающего, ни говорил о их будущем – они всему верили и с благоговением улавливали каждый звук его голоса.

Впоследствии каждый, с кем Эким Бей проделывал этот опыт, везде и всюду, при всяком удобном случае вполне искренно рассказывал, уже, конечно, с фантастическими прибавлениями, такие ужасы о его могуществе, что у того, кому он это рассказывал, как говорится, «волосы-становились-дыбом».

Таким образом, только потому, что Эким Бей изучал это человеческое свойство, его личность постепенно приобрела среди знающих его и слышавших о нем ореол какого-то волшебника, и даже имя его стали произносить шепотом, с каким-то «трепетом».

Многие, не только турки, но и люди других национальностей, даже из других стран, преимущественно европейских, начали ему писать и надоедать всевозможными просьбами. Одни его просили по почерку

определить их будущность, другие – помочь любви без взаимности, третьи – вылечить заочно от какой-то застарелой болезни. Он получал всевозможные письма от пашей, генералов, офицеров, мулл, учителей, священников, купцов, женщин всякого возраста, но больше всего от барышень всех национальностей.

Словом, этих писем с различного рода запросами получалось такое количество, что, если бы Эким Бей захотел удовлетворять запрашивающих одними только хотя бы пустыми письменными ответами, ему пришлось бы иметь не менее пятидесяти секретарей.

Я помню, как один раз, когда я приехал к нему в имение его отца, находившееся на берегу Босфора, недалеко от Скутари, он мне показывал много таких писем, и помню, как мы до упаду хохотали над наивностью и дуростью людей.

В конце концов ему так стали надоедать со всякого рода обращениями, что он совсем бросил даже свое любимое дело врача и уехал из тех мест, где его хорошо знали.

Основательное знакомство Эким Бея с гипнотизмом и его знание всяких автоматических свойств психики рядовых людей оказались во время одного нашего путешествия очень полезными; благодаря им нам удалось выбраться из очень затруднительного положения, в которое мы с ним попали.

Однажды, когда во время этого путешествия мы, т. е. я, Эким Бей и еще несколько других наших товарищей, предавались нашему обычному большому отдыху, на этот раз в городе Янгишаре в Кашгарии, и намеревались уже отправиться дальше в долины гор Гиндукуша, Эким Бей получил из Турции от своего дяди сообщение о том, что отец Эким Бея сильно стареет и что, по мнению дяди, он долго не проживет.

Это известие так расстроило Эким Бея, что он решил прервать путешествие и как можно скорее вернуться в Турцию, чтобы хотя немного пожить еще со своим любимым отцом.

Так как мне за последнее время начали уже надоедать эти беспрестанные, с постоянным напряжением нервов скитания с места на место и так как я также соскучился по своим и тоже хотел повидать стариков, то и я решил прервать путешествие, присоединиться к Эким Бею и поехать в Россию.

Расставшись с нашими товарищами, мы направились через Иркештам по направлению к России.

После многих приключений и преодоления ряда больших трудностей мы, несмотря на то что все пути из Кашгарии ведут в город Ош, попали в

Ферганскую область, в город Андижан.

Произошло это потому, что мы под конец нашего пути в Россию решили воспользоваться случаем и осмотреть по дороге некоторые развалины, о которых мы уже раньше слышали, старинных городов этой когда-то великой на земле местности, и разыскивали их, главным образом, на основании логических предположений, вытекающих из разных исторических данных.

Мы таким образом сильно удлиннили наш путь и в конце концов вышли на дорогу около города Андижана.

И вот, когда мы в Маргилане купили билет для проезда по железной дороге до Красноводска и сели в вагон, то с большим прискорбием выяснили, что у нас уже нет денег не только для дальнейшей поездки, но даже со следующего дня не будет достаточно для пропитания. Кроме того, мы за время путешествия по Кашгарии так обносились одеждой, что становилось уже невозможно показываться в таком виде, как говорится, «на-людях», следовательно деньги были нам нужны также для покупки какой-либо одежды.

Вследствие этого мы решили не ехать в Красноводск, а в городе Черняеве пересесть на поезд, идущий в Ташкент, и оттуда – как это большой центр – мы сможем запросить по телеграфу денег и до получения их как-нибудь дожить.

Мы так и сделали. Приехав туда и взяв в одной дешевой гостинице комнату неподалеку от вокзала, первым делом мы пошли отправить телеграммы, и после, так как почти последние деньги истратили на телеграммы, пошли на толкучку продавать уцелевшие наши вещи: ружья, часы, шагомер, компас, географические карты – словом, все то, за что можно было хоть сколько-нибудь выручить денег.

Вечером, идя по улице и рассуждая о нашем положении и о том, могут ли оказаться в данное время дома, кому послали телеграммы, и догадаются ли сразу перевести, мы незаметно дошли до Старого Ташкента.

Там, усевшись в одной сартовской чайхане и продолжая обдумывать, как нам быть дальше в случае опоздания денег, мы после долгих рассуждений и рассмотрения ряда комбинаций наконец решили, что здесь, в Ташкенте, Эким Бей выдаст себя за индийского факира, а я – за глотателя шпаг и человека, могущего вводить в себя любое количество ядовитых веществ.

Порешив так, мы начали шутить.

На другое утро мы первым делом отправились в редакцию одной ташкентской газеты, в конторе которой принимали заказы не только на

объявления, но также и на какие угодно афиши.

Там оказался очень симпатичный, недавно приехавший из России конторщик-еврей.

Поговорив с ним немного, мы заказали ему объявления во всех трех газетах, имеющихся в Ташкенте, а также громадные афиши о том, что приехал такой-то индийский факир (я сейчас уже не помню, под каким именем он тогда выступал – кажется, Эким Бея звали Ганез или Ганзин) и что он с своим помощником Салаканом будет завтра вечером в зале такого-то клуба производить гипнотические опыты и массу других сверхъестественных явлений.

Конторщик газеты взял на себя также достать разрешение полиции для расклейки по городу афиш, и через день уже афиши о небывалых чудесах мозолили глаза обывателей не только Нового, но и Старого Ташкента.

За это время мы нашли двух безработных, приезжих из внутренних губерний России, которых раньше всего послали в баню хорошенько помыться, а потом взяли их к себе в отель и подготовили к гипнотическим сеансам, т. е. постепенно начали приводить их в такое состояние гипноза, что можно было втыкать им под кожу грудной клетки громадные булавки, сшивать им настоящим образом рты, приводить их в такое каталептическое состояние, что, когда их клали головой на один стул, а ступнями на другой, они на своем животе выдерживали какие угодно тяжести, и всякий желающий из публики мог выдернуть волос из головы этих «медиумов» и т. д., и т. д.

Особенно поразило всех так называемых ученых, докторов, юристов и других, когда Эким Бей своим, мною уже описанным способом узнавал их имена или кому сколько лет.

Словом, когда кончился первый сеанс, мы кроме полной кассы денег получили также тысячи приглашений ужинать, а о том, как нам «делали-глазки» женщины всех сословий, говорить уже не приходится.

Мы три вечера подряд давали «сеансы» и так как денег выручили намного больше, чем нам было нужно, то, чтобы скорее избавиться от надоедливых поклонников, поторопились оттуда уехать.

Часто упоминая в этой главе о всяких наших путешествиях и экскурсиях, в моей памяти вообще оживились воспоминания о всех моих скитаниях по Азии, и наряду с этим, по ассоциации, вспомнилось то курьезное, всегда поражавшее меня представление о материке Азия, которое имеется у большинства европейцев.

Живя вот уже пятнадцать лет безвыездно в Европе и постоянно

сталкиваясь с людьми почти всех народностей, населяющих Европу, я вынес впечатление, что в Европе не знают и не представляют себе, что такое Азия.

Большинство людей Европы и Америки имеют такое представление, что Азия – это какой-то неопределенной величины материк, который находится рядом с Европой, и что на нем живут какие-то дикие, в лучшем случае – полудикие группы народов, случайно попавших туда и одичавших.

Их представление о ее величине весьма проблематично – они почти готовы сравнить ее территорию с территориями европейских стран, и не подозревают, что Азия такой величины материк, что на нем можно поместить несколько Европ, и что на ней находятся такие народы, о которых не знают не только европейцы, но о них даже никогда не слышали сами жители Азии.

Некоторые народы, населяющие Азию, своей численностью часто во много раз превышают численность любой народности Европы, и среди них уже в настоящее время некоторые науки, как, например, медицина, астрология, естествоведение и т. д. – достигли на практике, без мудрежки, без гипотетических объяснений, такого совершенства, до которого европейская цивилизация дойдет, может быть, только через несколько веков.

## Петр Карпенко

Я хочу посвятить эту главу воспоминаниям о моем друге детства, Петре Карпенко, ставшем впоследствии по своим действительным достижениям, а не только, как это бывает в большинстве случаев в современности, «по-диплому», выдающимся горным инженером – ныне уже скончавшемся...

Царство ему Небесное!

По моему разумению, будет вполне достаточно, как для всестороннего охарактеризования индивидуальности самого Петра Карпенко, так и для оправдания намеченной мною цели этой серии моих писаний, т. е. для получения читателем и от этой главы полезного материала и поучительных сведений, если я опишу, во-первых, события, при которых состоялось мое первое, так сказать, «внутреннее-сближение» с этим моим другом детства, а во-вторых, расскажу о происшедших событиях во время одного нашего совместного путешествия, при котором волею судеб стряслось то несчастье, которое породило факторы для его преждевременной смерти.

Наше первое сближение произошло еще тогда, когда мы оба были мальчишками.

События, послужившие началом такого нашего сближения, я опишу по возможности подробно, тем более что это вообще может очень хорошо осветить некоторые детали психики «мальчишек-сорванцов» – из числа которых в будущем, когда они становятся взрослыми, подчас выходят нерядовые люди.

Это было в городе Карсе, в то именно время, когда я состоял в числе певчих тамошнего крепостного собора.

Прежде всего надо сказать, что после того, как из Карса уехал мой учитель Богачевский, уехал также в отпуск по болезни мой главный наставник, протоиерей Борщ, и я, лишившись этих двух авторитетных для меня людей, а также ввиду того, что в моей семье шли разговоры о возможности возвращения в недалеком будущем опять в Александрополь, не хотел больше оставаться в Карсе и стал подумывать поехать в город Тифлис, где, в крайнем случае, мог устроиться, как давно мечтал, в так называемом «Архиерейском-хоре», поступить в какой делались мне неоднократные, очень соблазнительные и лестные для моего юношеского самолюбия, предложения.

Вот, в тот самый период моей жизни, с такими центротяжестными

мечтами в моем только еще начавшем оформливаться мышлении, раз рано утром прибегает ко мне один из певчих военного собора, «военный-писарь», сделавшийся моим приятелем благодаря частым встречам, а главное, благодаря приносимым мною иногда ему хорошим папиросам, которые, кстати признаться, я таскал тайком из папиросницы моего дяди, и запыхавшись говорит, что он случайно слышал разговор между комендантом крепости, генералом Фадеевым, и жандармским ротмистром, которые, говоря об аресте каких-то лиц и о допросе их по вопросу, связанному с полигоном, упомянули также и мое имя, будто бы замешанное тоже в этом деле.

Это сообщение меня очень напугало, так как у меня на совести лежало одно дело, связанное с этим полигоном, и я во избежание могущих быть неприятностей решил не откладывать своего отъезда и на другой же день спешно покинул Карс.

Вот это самое событие, связанное с полигоном, из-за которого был в моей психике слагаем фактор, порождающий угрызение совести, и из-за которого я, боясь последствий за него, поторопился уехать, и послужило причиной нашего сближения с покойным Петром Карпенко.

В городе Карсе, как и в Александрополе, у меня было, особенно в последнее время, много товарищей-сверстников и приятелей намного старше меня.

Среди первых был один очень симпатичный юноша, сын водочного заводчика, по фамилии не то Рязузов, не то Рязов, который часто звал меня к себе, а иногда я заходил к нему и без приглашения.

Родители очень его баловали. У него была даже своя отдельная комната, в которой и мне было очень удобно готовить уроки; к тому же на его письменном столе почти постоянно находилась полная тарелка свежих, тогда очень мною любимых, так называемых «слоеных-пирогов», но, может быть, самое же важное было то, что у него была сестра лет двенадцати-тринадцати, которая часто заходила в эту комнату, когда я бывал там.

У меня с нею завязалась дружба, и незаметно для самого себя я в нее влюбился – и она тоже, кажется, ко мне была равнодушна.

Короче говоря, между нами начался молчаливый роман.

Туда же ходил другой мой товарищ, сын одного артиллерийского офицера, не принятый в кадетский корпус, потому что при испытании он оказался на одно ухо глуховат, и он для поступления куда-то готовился на дому.

Это и был Петя Карпенко. Он тоже был влюблен в эту «рязузовскую-

девочку», и она и к нему тоже благоволила.

К нему она была благосклонна, кажется, из-за того, что он часто приносил ей конфеты и цветы, а ко мне из-за того, что я хорошо играл на гитаре и был мастером рисовать метки на платках, которые она была любительница вышивать и рисунки которых выдавала за свои.

Так вот, мы оба были влюблены в эту девочку, и понемногу в нас, как говорится, «разгоралась-ревность-соперников».

Раз, после всенощной в соборе, где была и эта общая «сердцеедка», я, придумав что-то уважительное, испросил у регента разрешение уйти пораньше, с целью встретить ее при выходе и проводить домой.

При выходе из собора я столкнулся со своим соперником.

Оба мы горели ненавистью друг к другу, но, провожая нашу «даму», держали себя рыцарями. Когда уже после проводов мы возвращались домой, я не стерпел и, к чему-то придравшись, отлупил его как следует.

К вечеру следующего дня после столкновения с моим соперником я по обыкновению пошел в наш «клуб», т. е. на церковную колокольню.

Настоящей колокольни в ограде крепостного собора тогда еще не было, ее как раз начинали строить, и колокола висели во временной деревянной постройке, представлявшей из себя нечто вроде восьмиугольной будки с высокой крышей.

Между балками, на которых были подвешены колокола, и крышей и был наш «клуб», где мы почти ежедневно собирались и, сидя верхом на балках или на узеньком помосте, шедшем под самой крышей вдоль стен, курили, рассказывали анекдоты и даже готовили уроки.

Впоследствии, когда постоянная каменная колокольня была построена и колокола были подняты на нее, эта временная колокольня крепостного собора была русским правительством подарена ново-строившейся греческой церкви, и, кажется, она и поныне существует и служит колокольней для этой церкви.

В клубе, кроме постоянных завсегдатаев его, я застал приехавшего случайно в Карс моего товарища из Александрополя – сына почтово-телеграфного начальника – Петю Керенского, убитого впоследствии во время Русско-японской войны в чине офицера, а также мальчика из греческой части города Карса, по прозвищу «Фехи», а по настоящей фамилии Корханиди, ставшего впоследствии автором многих школьных учебников. Последний принес в подарок от своей тетки нам, мальчикам-певчим, своим пением часто трогавшим ее «до-глубины-души», греческой домашней халвы.

Мы сидели, ели принесенную халву, курили и болтали.

Через некоторое время туда же приходит Петя Карпенко с перевязанным глазом, в сопровождении двух других русских мальчиков, не состоявших «членами» нашего «клуба», и вступает со мной в «объяснение» относительно моего вчерашнего оскорбления его.

Он, будучи тогда одним из тех юношей, которые, начитавшись поэзии, любят выражаться возвышенным слогом, после длинного и витиеватого предисловия вдруг закончил свою тираду категорическим заявлением, сказав мне:

– Обоим нам жить на земле тесно, и, следовательно, один из нас должен непременно умереть.

Выслушав его «высокопарную-тираду», мне в первый момент захотелось сразу выбить, в прямом смысле, из его головы эту «дурь», но когда другие товарищи стали меня урезонивать, говоря, так сводят счеты только люди, до которых совершенно еще не коснулась современная культура, вроде, например, курдов, а приличные люди прибегают к более культурным приемам, во мне заговорила моя гордость, и я, чтобы не прослыть невоспитанным и трусом, вступил в серьезное обсуждение этого инцидента.

После долгих споров, называвшихся у нас уже тогда «дебатами», во время которых выяснилось, что некоторые из присутствовавших мальчиков были на моей стороне, а некоторые – на стороне моего противника, после таких именно «дебатов», которые временами переходили в оглушительный галдеж и грозили иногда перейти к сбрасыванию друг друга с верхушки колокольни, было решено, что мы должны «драться-на-дуэли».

Тогда и возник вопрос: где же достать оружие?

Ни пистолетов, ни шпаг достать было негде, и положение получалось весьма затруднительное. Все наше возбуждение, за минуту до этого доходившее до крайних пределов, сразу спало, и мы сосредоточились на том, как найти выход из создавшегося положения.

В числе нас был мальчик, некто Турчанинов, тоже мой товарищ, обладатель очень пискливого голоса и считавшийся всеми нами отчаянным комиком.

Когда мы все задумались, как же быть, он вдруг своим пискливым голосом сказал:

– Если трудно достать пистолеты, то, я думаю, очень легко достать пушки!

Все рассмеялись, как это было всегда при его репликах.

– Чего вы смеетесь, черти?! Использовать для этой цели пушки действительно можно. Только одно плохо. Вы вот решили, что из вас один

должен умереть, а при дуэли на пушках может случиться так, что вы оба умрете. Если на такой риск вы согласитесь, то выполнение моего предложения будет проще простого.

И он предложил нам обоим пойти на полигон, т. е. на место, где происходит артиллерийская учебная стрельба, залечь незаметно где-нибудь в разных местах между орудиями и мишенями и ждать своей участи – кого там шальная пуля из снарядов убьет, тому, значит, и суждено из-за своей нечестности умереть.

Это место, которое именовалось «полигон», мы все знали хорошо; оно находилось недалеко от города, сейчас же за окружающими его горами, и представляло из себя довольно большую холмистую площадь, километров в десять-пятнадцать в поперечнике, куда в известное время года – во время происходящей там стрельбы – никого не пускали, строго охраняя ее кругом.

Мы туда до этого, по наущению и под влиянием двух больших мальчиков, по фамилиям Айвазов и Денисенко, пользовавшихся у нас, мальчишек, авторитетом, не раз ходили, главным образом по ночам, собирать – вернее, воровать медные части разорвавшихся снарядов и свинцовые пули, рассыпавшиеся после разрыва снарядов, которые мы, вследствие хорошего спроса на них в городе, потом продавали на вес.

Хотя собирать, а тем более продавать остатки снарядов строго воспрещалось, мы тем не менее изловчились проделывать это, пользуясь лунными ночами или тем временем, когда охрана (называвшаяся «оцепление») становилась менее бдительной.

В результате новых «дебатов» по поводу сделанного Турчаниновым предложения всеми присутствующими было категорически решено этот проект выполнить на следующий же день.

Согласно «постановлению» секундантов, которыми с моей стороны явились Керенский и Корханиди, а со стороны моего противника – пришедшие с ним два посторонних мальчика, мы должны были рано утром, еще до начала стрельбы, прийти на полигон и на расстоянии приблизительно ста метров до мишеней забраться в находящиеся на некотором расстоянии друг от друга большие ямы, так чтобы никто не мог нас видеть, и лежать там до вечера, а вечером тот, кто останется в живых, может с наступлением темноты уйти куда пожелает.

Секундантами было также решено, что они сами весь этот день проведут недалеко от полигона, на берегу реки «Карс-чай», и вечером разыщут нас в наших ямах, чтобы узнать результат дуэли, и если окажется, что один из нас или мы оба ранены, то они что-нибудь предпримут, а если окажется, что мы убиты, то они распространят версию, что мы пошли

собирать медь и свинец, не зная, что в этот день будет стрельба, и вот нас и «укокошили».

На другой день чуть свет вся наша компания, забрав с собой провизию, отправилась на берег Карс-чая.

Там нам, соперникам, выделили нашу порцию провизии, и двое секундантов отвели нас на гору, где мы залегли в разных местах в канавах; сопровождавшие же вернулись к реке и занялись вместе с остальными рыбной ловлей.

До начала стрельбы все носило характер как бы шуток, но, когда началась стрельба, стало уже не до шуток.

Я не знаю, в какой форме и в какой последовательности протекали субъективные переживания и мыслительные ассоциации моего соперника, но то, что во мне начало происходить при начале стрельбы, что я переживал и перечувствовал, когда над моей головой начали пролетать и разрываться снаряды, я помню до сих пор так хорошо, как будто это произошло только вчера.

С первого же момента я, с одной стороны, как можно было бы сказать, «обалдел», а с другой стороны, при участии всей совокупной проявляемости моего чувствования, интенсивность и логическая сопоставительность моего мышления до такой степени увеличились, что в каждый момент думалось и переживалось больше, чем в течение целого года.

Одновременно с этим во мне впервые возникло и начало прогрессивно увеличиваться, так сказать, «всецельное-самоощущение-самого-себя», и, между прочим, впервые за эти дни я ясно понял, что сам своей легкомысленностью поставил себя перед возможностью быть уничтоженным, причем в тот момент моя смерть мне казалась неизбежной.

Инстинктивный страх перед этой неизбежностью настолько завладел всем моим существом, что окружающая действительность как бы исчезла и остался один непреодолимый животный ужас.

Я помню, что мне хотелось сделаться как можно меньше и как бы укрыться в какой-нибудь складке почвы, чтобы ничего не слышать и ни о чем не думать.

Начавшаяся во всем моем теле дрожь постепенно дошла до таких пределов, что каждая клеточка моего тела как будто бы стала вибрировать самостоятельно; в то же время, несмотря на грохотающие орудия, я очень отчетливо слышал биение моего сердца, а челюсти так стучали, что казалось, сейчас поломаются все зубы.

Отмечу здесь между прочим то, что, по моему мнению, именно тогда,

из-за этого в моей юношеской жизни случая, впервые возникли в моей индивидуальности, а затем – благодаря разным сознательным воздействиям на эту же мою индивидуальность со стороны некоторых встретившихся со мною нормально воспитавшихся людей – и оформились те данные, которые, с одной стороны, позволили мне ясно сознавать и реально ощущать настоящий, только действительный страх и которые всегда за время моей ответственной жизни препятствовали и поныне препятствуют руководствоваться в предъявляемых жизнью вопросах исключительно только своими собственными эгоистическими интересами, а с другой стороны, дали возможность уметь беспристрастно и без самообмана понимать другого, испытывающего страх перед чем-нибудь, и входить в его положение.

Не помню, как долго я лежал тогда в яме в описанном состоянии, могу только сказать, что и в данном случае, как всегда, «Наш-Всевеличайший-Одновременно-Всеблагий-и-Всенеумолимый-Владыко-Время» не преминул постепенно взять верх над всем, и я начал свыкаться как со своими переживаниями, так и с грохотом орудий и разрывом снарядов вокруг меня.

Мучившая меня вначале мысль о возможности печального для меня конца тоже начала понемногу исчезать.

Стрельба, как обыкновенно, производилась в несколько смен с перерывами, но и во время перерывов уйти было невозможно, главным образом из опасения попасть в руки охраны.

Ничего нельзя было поделать, приходилось спокойно лежать.

После «обеда» я незаметно для самого себя даже заснул; очевидно, усиленная работа нервной системы властно сама потребовала отдыха.

Не знаю, сколько я спал, но когда я проснулся, кругом было все тихо и уже начинало вечереть.

Когда я окончательно пришел в себя от сна и ясно отдал себе отчет в причине моего нахождения в данном месте, я первым делом с ликующей радостью удостоверился в своей невредимости, а как только эта моя эгоистическая радость стала проходить, тотчас вспомнил и стал беспокоиться о своем товарище по несчастью, вылез потихоньку из канавы, осмотрелся кругом – никого не было – и пополз к тому месту, где он должен был находиться.

Когда я увидел его лежащим в канаве без движения, хотя во мне в первый момент и произошла какая-то растерянность, но я подумал и был уверен, что он спит; когда же я вдруг заметил на его ноге кровь, я так испугался, что чуть не потерял сознание.

Вся вчерашняя ненависть к нему сразу превратилась в жалость.

Переживая ужас не меньшей степени, чем за несколько часов до этого за свою собственную жизнь, я замер, как был, на корточках, так как инстинктивно еще продолжал принимать меры не быть заметным.

Я еще находился в этом состоянии, когда подползли ко мне на четвереньках секунданты.

Они, увидя меня раньше так странно смотрящим на лежащего Карпенко, а потом тоже заметив на его ноге кровь, почуяли что-то неладное и замерли, как и я, на корточках и начали вместе со мною смотреть на него.

Они, как после выяснилось, тоже подумали и вполне были уверены, что он умер.

Нас, представлявших собою как бы самой жизнью загипнотизированную группу, случайно вывел из состояния оцепенения Керенский; у него, как он сам после объяснил, от долгого нахождения в неудобной позе, когда он смотрел на Карпенко, вдруг сильно разболелась мозоль, и он, чтобы переменить позу, подался немного вперед и при этом ясно заметил равномерное движение края тужурки Карпенко, что его безотчетно заставило подползти ближе к нему и удостовериться, что последний дышит.

И вот, когда он, заметив это, почти с криком объявил нам об этом, мы все пришли в себя и тоже поползли к нему, и, убедившись сами в правоте Керенского, мы, за минуту до этого находившиеся в полном безмолвии и как бы парализованные во всех своих проявлениях, сразу оживились и тут же в канаве, вокруг бездвижного Карпенко, перебивая друг друга, стали рассуждать, что нам делать, а потом вдруг, без всякого предварительного соглашения и в то же время как будто заранее сговорившись, положили Карпенко на наши скрещенные руки и понесли его по направлению в берегу Карс-чая.

Придя туда, мы остановились на развалинах бывшего кирпичного завода, после чего, сделав первым делом с большой торопливостью из наших верхних одежд ложе и положив на него Карпенко, мы приступили к осмотру его раны. Оказалось, что шрапнелью была задета только одна нога, и в неопасном месте.

Так как Карпенко продолжал оставаться без памяти и никто не знал, что нужно делать, двое из нас побежали в город к одному знакомому фельдшеру, тоже состоявшему певчим крепостного собора, а остальные в это время промыли и кое-как перевязали его рану.

Вскоре подъехал фаэтон с фельдшером. Мы ему дали объяснение, что собирали медь, не зная, что будет стрельба, и вот случилось такое

несчастье.

Осмотрев рану, он сказал, что она неопасная и что обморок произошел от потери крови.

Когда раненому дали понюхать нашатырный спирт, он сразу пришел в себя.

Мы конечно просили фельдшера никому не говорить о причине ранения, так как из-за этого могли произойти большие неприятности ввиду строгого запрета ходить на стрельбище.

С того момента как Карпенко, еще в развалинах кирпичного завода, придя в себя и начав смотреть на лица присутствующих, остановил свой взгляд на мне дольше, чем на других, и улыбнулся, во мне что-то произошло, и я, испытывая сильные угрызения совести и жалость, начал чувствовать в отношении его то же самое, что к родному брату или сестре.

Привезя раненого домой, мы объяснили его домашним, что ходили на рыбную ловлю, и когда проходили одним ущельем, то со скалы сорвался камень и, задев его, поранил ему ногу.

Родители его поверили нашей выдумке, и я испросил разрешение у них ухаживать за ним и все ночи, пока он лежал больным, проводил у его постели.

Вот тогда-то, в эти дни, когда Карпенко, будучи еще слабым, лежал в постели, а я исполнял обязанности брата милосердия и мы разговаривали о всякой всячине, и произошло упомянутое наше первое внутреннее сближение.

Что касается любви к нашей «даме», из-за которой произошло все это, то как у меня, так и у него это чувство сразу испарилось.

Родители Карпенко вскоре после его окончательного выздоровления увезли его в Россию, где он в одном из городов сдал экзамен и был определен в какое-то специальное учебное заведение.

Несколько лет я его не видел, но всегда в день моих именин и рождения я аккуратно получал от него длиннейшие письма, в которых он обыкновенно раньше всего подробно описывал свою внутреннюю и внешнюю жизнь, а потом запрашивал мое мнение по целому ряду интересующих его вопросов, преимущественно на религиозные темы.

Первое его серьезное увлечение нашими общими идеями произошло через семь лет после описанной дуэли.

Раз летом, когда Карпенко проезжал на почтовом омнибусе через Александрополь в Карс на каникулы – тогда там еще не существовало железнодорожного сообщения, – он, узнав, что я в данное время нахожусь в

Александрополе, сделал остановку, чтобы повидаться со мной.

В это лето я приехал в Александрополь специально для того, чтобы там в уединении и без помехи произвести практические опыты в области особенно интересовавших меня в то время вопросов, касающихся законов воздействия вибраций звука на разные типности людей и другие формы жизни на земле.

В тот же день, как он приехал, я, пообедав с ним и поговорив немного, предложил ему пойти со мной в нашу большую конюшню, превращенную мною в своеобразную лабораторию, куда я имел обыкновение забираться сразу же после обеда.

Наблюдая за всем тем, что я там делал, он так заинтересовался этим, что, не откладывая, в тот же день уехал в Карс повидать своих родителей, а на третий день уже был опять у меня.

Возвратившись, он прожил у меня почти все лето, изредка только уезжая на день, на два в Карс к своим родным.

В конце лета ко мне в Александрополь приехало несколько членов нашей, недавно до этого организовавшейся группы «искателей-истины» с целью отправиться отсюда на раскопки развалин Ани – древней столицы Армении.

В эту экспедицию впервые с нами попал также и Карпенко, и именно тогда-то он, имея в течение нескольких недель общение с разными членами этой группы, постепенно втянулся в круг интересовавших нас вопросов.

По окончании этой экспедиции он вернулся в Россию и вскоре стал дипломированным горным инженером.

После этой первой нашей совместной экскурсии я не видел Карпенко в течение трех лет, но все это время мы не теряли общения друг с другом благодаря непрерывавшейся переписке.

За это время Карпенко переписывался также и со многими другими членами «искателей-истины», с которыми он познакомился и сошелся во время первого путешествия с нами.

По прошествии этих трех лет он, будучи уже инженером, окончательно вошел как равноправный член в это наше своеобразное общество и с этого времени совершил со мною и другими нашими приятелями несколько серьезных путешествий по Азии и по Африке.

Упомянутый мною случай, послуживший причиной его преждевременной смерти, произошел во время одного нашего большого путешествия, во время которого мы намеревались от Памира пересечь Гималаи и попасть в Индию.

Приведшие к этому печальному случаю одни из других вытекавшие события начались с того, что, двигаясь от Памира в направлении северо-западных склонов Гималаев, при переходе через один трудно преодолимый перевал произошел большой оползень снега, и мы все очутились под снегом.

Все, за исключением двух из нас, с большими трудностями сами высвободились из-под снега, а эти двое, хотя их и откопали с большой поспешностью, оказались уже мертвыми.

Один из них был доктор, барон Ф. – страстный оккультист, другой – наш проводник Каракир-Хайну.

Таким образом, при этом несчастье мы не только потеряли хорошего общего друга в лице барона Ф., но также лишились хорошо знавшего эту местность проводника.

Между прочим надо сказать, что весь район между горами Гиндукуша и большой цепью Гималаев, где произошло сказанное несчастье, вообще представляет из себя, в смысле последовательности «чередующихся-и-пересекающихся-ущелий», самый перепутанный из всех образованных на поверхности нашей планеты подобных катаклизмических результатов, по которым мне приходилось скитаться.

Эта местность как будто нарочно Высшими Силами перепутана и запутана так, чтобы никто из людей не смел проникнуть в нее.

После несчастья, во время которого мы лишились нашего проводника, считавшегося даже среди своих самым лучшим знатоком всех углов и закоулков этих местностей, мы несколько дней бродили, ища возможности выбраться из этой неприветливой местности.

«Неужели у них не было географических карт и компасов?» – наверно подумает каждый читатель.

Как не было! Их было у нас даже больше, чем полагалось, но если бы этих так называемых «географических-карт» для ненаселенных местностей вообще не существовало, то это было бы счастьем для всех настоящих путешественников.

«Географическая карта, – как-то сказал мой товарищ юности Елов, – именуется на каком-то языке словом „хорманупка“, что значит „мудрость“, а слово „мудрость“ на этом же языке характеризуется так: „умственное-доказательство-о-том-что-два-раза-два-равняется-семи-с-половиной-минус-три-с-хвостиком”».

Для того чтобы применение современных географических карт по сказанным местностям оказалось идеально полезным, по моему мнению, следовало бы ими пользоваться, придерживаясь смысла одного дошедшего

до наших дней очень древнего поучительного изречения, гласящего: «Если-ты-хочешь-что-либо-сделать-удачно-то-спроси-совета-женщины-и- поступи-наоборот».

Так и с этими географическими картами: если вы хотите пойти по правильной дороге, посмотрите на них и пойдите в противоположную сторону, и вы можете почти всегда быть уверенным, что попадете именно туда, куда вам нужно.

Эти карты, пожалуй, хороши для тех современных людей, которые, не имея времени и возможности бывать где-либо, должны, сидя у себя в кабинете, писать разные книги о всяких путешествиях и приключениях. Для них эти карты очень хороши, потому что они, пользуясь ими, могут экономить свое время для лучшего фантазирования.

Может быть, для каких-нибудь местностей и существуют хорошие географические карты, но я, имевший в моей жизни много дела с ними, начиная от древнекитайских и кончая специальными военно-топографическими картами многих государств, подобных карт, когда я в них действительно нуждался, никогда не видел.

Некоторые из них еще могут иногда помочь путешественнику более или менее ориентироваться, да и то только в густонаселенных местах, а что касается ненаселенных местностей, т. е. там, где они всего больше необходимы, как, например, в данном случае в Центральной Азии, то, как я уже сказал, было бы даже лучше, если бы их вовсе не существовало.

В них действительность извращена до комизма.

От таких современных географических карт получается для настоящих путешественников много нежелательных и тягостных результатов.

Скажем, например, согласно указанию этих карт вам завтра придется проходить по высокому месту, где, конечно, будет холодно.

Ночью, упаковывая ваш багаж, вы вынимаете теплые одежды и другие необходимые для защиты от холода вещи и откладываете их в сторону.

Связав все остальные вещи в тюки и нагрузив их на сопровождающих вас животных – лошадей, яков или других животных, – вы кладете заготовленные вещи поверх тюков, чтобы иметь их под рукой, как только они понадобятся.

И вот, почти всегда оказывается, что на другой день вы, вопреки указаниям географической карты, должны идти по долинам и низким местам и что вместо холода там стоит такая жара, что мечтаешь снять буквально все платье.

А так как заготовленные вещи не упакованы в тюки и не плотно пригнаны к спинам животных, они на каждом шагу или падают, или,

сдвигаясь с места, нарушают равновесие и мучают не только животных, но и самих путешественников.

А что значит во время пути переупаковывать требуемые в путешествии вещи, может понять только тот, кому хоть раз приходилось целый день идти по горам и иметь дело с упаковыванием тюков.

Конечно, для тех путешествий, которые производятся за счет какого-нибудь правительства ради какой-либо политической цели и на которые отпускаются большие деньги – или на деньги, отпускаемые вдовой банкира, увлекающейся теософией, – можно нанять сколько угодно людей, которые будут делать все: и упаковывать, и распаковывать, но настоящему путешественнику приходится делать это все самому; даже в том случае, если у него есть слуги, он им не может не помогать, так как при преодолении трудностей путешествия нормальному человеку тяжело видеть мучения других.

Эти современные географические карты таковы, очевидно, потому, что они составляются способом вроде того, очевидцем которого я однажды был.

Раз я с некоторыми членами группы «искателей-истины» проходил по Памиру мимо так называемого «Пика-Александра-III».

В это время в одной из ближайших к этому пику долин находилась так называемая «штаб-квартира» съемщиков Туркестанского военно-топографического отдела.

Начальником съемщиков был один полковник, хороший знакомый одного шедшего со мною товарища, и мы, узнав об этом, специально завернули в эту долину, где в военных палатках разместилась штаб-квартира.

У этого полковника состояли помощниками несколько молодых офицеров, как их называли, «генерального-штаба», которые, проживая несколько месяцев в местах, где на расстоянии тысяч верст почти не попадает ни одна живая душа, встретили нас очень радостно.

Мы у них пробыли три дня, решив хорошенько отдохнуть в их палатках.

Когда мы собрались уходить, один молодой офицер просил позволения пойти с нами, так как в месте, отстоявшем на расстоянии двухдневного пути отсюда, ему надо было делать разбивку; он пошел с нами в сопровождении двух солдат-помощников.

В одной долине нам встретились кочевники каракиргизы и мы с ними заговорили; шедший с нами офицер тоже говорил на этом языке.

Один из этих каракиргизов был человек пожилой и, видно, бывалый, и

я, этот офицер и один мой товарищ попросили этого пожилого каракиргиза с нами закутить, в надежде выведать у него, как у знатока этих мест, что нам нужно.

Закусывая, мы разговорились.

У нас был набитый хорошей «ковурмой» бараний желудок, а у офицера – привезенная из Ташкента водка, которую очень любят эти кочевники, особенно когда никто из своих не видит, что они пьют.

Этот пожилой каракиргиз, попивая водку, давал нам разные объяснения об этих местностях, указывая, где какая находится «достопримечательность».

Между прочим он, указывая на уже известную нам своими вечными снегами вершушку горы, сказал:

– Вон, видите эту вершушку? Сразу за ней имеется то-то и то-то; там же и знаменитая могила Искандера.

А наш офицер все сказанное тщательно зарисовывал на бумаге. Он был, между прочим, недурной художник.

Когда мы кончили закушивать и каракиргиз ушел к своим, я посмотрел на рисунок, который рисовал этот офицер, и увидел, что он все рассказанное каракиргизом нарисовал не за этой горой, как указывал тот, а перед этой горой.

Я указал ему на этот недочет, и оказалось, что офицер принял слово «перед» за слово «за», так как на этом языке слова «за» и «перед» – «бу-ты» и «пу-ты» – почти похожи, особенно когда их скоро произносят вместе с другими словами и в ухе нетвердо знающего этот язык эти выражения звучат почти одинаково.

Офицер на это мое указание сказал только: «Ну, черт с ним!» – и захлопнул свою тетрадку.

Он рисовал почти два часа, и перерисовывать ему, конечно, не хотелось, тем более что мы все уже собрались продолжать свой путь.

Я уверен, что этот рисунок потом был перенесен на карту таким, каким нарисовал его этот офицер, а после, конечно, перепечатавающий карту, никогда не бывавший в этих местах, занес эти детали не на ту сторону горы, а на эту; и наш брат путешественник будет ожидать увидеть указанные детали именно на этой стороне – и в этом роде все, за малым исключением, в этих картах так.

И потому, когда на карте указано, что сейчас будет река, ожидай с уверенностью увидеть одну из дочерей «господ-Гималаев».

Итак, мы без знатока местности шли несколько дней наугад, причем

соблюдали большую осторожность, чтобы не встретиться с какой-либо из тех шаек местных жителей, которые, между прочим, были, особенно тогда, большими любителями с торжественной церемонией превращать попадавшихся в их руки европейцев в так называемых «пленных», а потом с не меньшей торжественностью обменивать их у какой-либо другой народности, населяющей эту же часть поверхности нашей дорогой планеты, на хорошую лошадь, или на ружье новой системы, или просто на молодую девушку, конечно тоже «пленную».

Передвигаясь с места на место, мы наконец набрали на какую-то небольшую речку и решили держаться ее направления, полагая, что она должна в конце концов привести нас куда-нибудь.

Мы даже не знали, приведет ли она нас на север или на юг, так как местность, в которой очутились, была водораздельной.

Вначале, пока было возможно, мы шли берегом этой речки, но вскоре, когда ее берега местами стали очень крутыми и почти непроходимыми, мы должны были решиться пойти не по берегам ее, а по самому руслу речки.

Пройдя таким образом всего лишь несколько километров, когда оказалось, что благодаря притоку множества мелких ручейков вода этой речки поднялась настолько, что уже становилось невозможным продолжать наш путь, идя по дну самой реки, мы вынуждены были остановиться и серьезно обсудить вопрос, как нам дальше поступать.

После долгого всестороннего обсуждения мы решили зарезать всех наших коз, которых гнали с собой для перевозки наших вещей и для пропитания, снять с них шкуры для бурдюков и, надув их, укрепить на них плот и поплыть дальше уже на нем.

С намерением осуществить на деле такое наше решение, мы выбрали неподалеку от самой речки соответствующее в смысле легкой защищаемости от всякой опасности и также, конечно, уютное местечко и расположились лагерем.

В этот день приступать к чему-либо дальнейшему для выполнения нашего плана было уже поздно, и мы, закрепив только палатки и разведя установленным практикой образом костры, поели и легли спать, поставив, конечно, очередных дежурных.

На другой же день мы, в согласии с нашей совестью, перерожденной, как у всякого современного человека, до точного соответствия требованиям ада, первым долгом уничтожили всех за один день до этого искренно нами считавшихся друзьями коз – этих наших важных помощников в возможности преодоления трудностей проходимого пути.

После такого нашего христиано-магометанского проявления одни из

нас начали крошить мясо, чтобы зажарить и набить в бурдюки, другие стали готовить самые бурдюки и надувать их, третьи – крутить козьи кишки и делать из них струны, чтобы ими связывать плот и к нему привязывать надутые бурдюки, а четвертые, в том числе и я, взяли топоры и пошли искать соответствующие для основы плота крепкие деревья.

Разыскивая такие деревья, мы забрались довольно далеко от нашего лагеря.

Мы искали деревья породы «жилистая-береза» и «чинар», именующийся там «карагач»; только этой породы деревья из имевшихся в окрестностях того места могли более или менее отвечать той крепости, которая нам была нужна.

Деревья требовались большой крепости для того, чтобы могли противостоять ударам о скалы и камни при прохождении плота по узким и порожистым местам.

Близко от нашего лагеря нам попадались главным образом деревья инжирные и другие из некрепких пород.

И вот, идя и высматривая деревья, мы вдруг увидели невдалеке сидящего человека из местных племен.

Посоветовавшись друг с другом, мы решили подойти к нему и расспросить его, где растут нужные нам деревья.

Подойдя ближе, мы заметили, что он очень оборван, и по лицу можно было узнать, что он какой-нибудь «ез-езунавуран», т. е. человек, работающий над собой для спасения души, или, как называли бы такого типа европейцы, «факир».

Употребив случайно это слово «факир», я нахожу нелишним отвлечься в сторону от темы данного рассказа и немного осветить это пресловутое слово, сделавшееся для всех современных европейцев одним из тех так называемых «автоматически-действующих-пустословных-факторов», которые, благодаря приписываемому этим словам неправильному значению, стали, особенно за последнее время, являться одним из основных зол, способствующих еще большему, так сказать, «разжижению» их мышления.

Слова «факир» в том смысле, в каком понимают его европейцы, никто из азиатских народов не знает, и в то же время это слово употребляется там почти у всех народов.

«Факир», или правильнее «фахр», своим корнем имеет тюркское слово, означающее «бедняк», и за последнее время это слово почти у всех народов, обитающих на материке Азия и имеющих разговорный язык, образовавшийся на корнях древнего тюркского языка, имеет нарицательное

понятие «мошенник» или «обманщик».

Для определения понятия «мошенник» или «обманщик» у сказанных народов употребляются два разных слова, и оба взяты с тюркского языка: одно из них – это самое слово «факир», а другое – «лури».

Разница заключается в том, что первым именуют такого обманщика или мошенника, который своей хитростью извлекает пользу от других на почве и благодаря их религиозности, а вторым – такого, который достигает того же благодаря просто дурости этих других.

Словом «лури» называют как всю народность цыган, так и отдельных представителей этой народности.

Цыгане вообще водятся среди почти всех народностей и всюду ведут одинаково кочующую жизнь. Везде они преимущественно занимаются торговлей лошадьми, лужением посуды, пением во время кутежей, гаданием и всем в этом роде.

Они обыкновенно разбивают свои таборы близ населенных мест и всякого рода хитростями опутывают наивных горожан и сельчан. Поэтому слово «лури», т. е. цыган, обозначающее название такой определенной народности, еще издавна стало нарицательным и употребляется в Азии для всякого человека, к какой бы народности он ни принадлежал, если он мошенник и обманщик.

Для определения того понятия, для которого европейцы употребляют слово «факир», среди азиатских народов имеется несколько слов, преимущественно же применяется слово «ез-езунавуран», и это слово состоит из корней тюркского разговорного языка и означает «сам-себя-бьющий».

Я сам много читал и слышал о «факирах», особенно от европейцев, которые говорили и писали об их проделках как о чем-то «сверхъестественном» и «чудесном», о проделках именно тех из числа массы людей материка Азия, которые, на взгляд и по мнению всех тамошних более или менее нормальных людей, представляют из себя бессовестных обманщиков и мошенников высшей марки.

По-моему, будет достаточно освещено понятие слова «факир» и усвоена ошибочность подразумеваемого европейцами в этом слове смысла, если я скажу, что таких «факиров», какими их представляют себе европейцы, я, бывавший почти всюду, где, по их же понятиям, они должны были бы водиться, никогда не видел, а видел еще совсем недавно такого, какими они, по мнению людей материка Азия, на самом деле бывают, но только не в тех странах, где, по понятиям европейцев, они водятся, как, например, в Индии или другой стране материка Азия, а в самом центре

Европы – в городе Берлине.

А сподобился я такому счастью при следующей обстановке:

Раз я шел с Курфюрстендамма по направлению главного входа в Зоологический Сад и увидел на тротуаре в тележке для безногих одного калеку без обеих ног, крутящего небольшой «допотопный» музыкальный ящик.

В Берлине, т. е. в сердце Германии, так же как и в некоторых других группировках людей, составляющих, так сказать, «ядро» современной цивилизации, просить просто милостыню запрещается, а нищенствовать можно чем угодно, и потому одни крутят старые шарманки, другие торгуют пустыми коробками спичек или нецензурными открытками и разной подобной же литературой – тогда полисмен их не трогает.

И вот этот нищий крутил музыкальный ящик с отсутствующими наполовину нотами.

Он был одет в форму германского солдата.

Проходя мимо, я кинул ему какую-то мелкую монету, и мне, при случайно брошенном на него взгляде, его лицо показалось очень знакомым.

Я ни о чем его не спросил, так как я вообще самостоятельно, как тогда, так и теперь, не рискую говорить с посторонними на моем «немецком-языке», но стал думать, где я мог раньше видеть это лицо.

Покончив со своими делами, я возвращался опять по той же улице; калека был еще там. Я пошел очень медленно и стал внимательно смотреть на него и припоминать, почему его лицо мне так хорошо знакомо, но в тот момент никак не мог вспомнить; а только когда пришел в мою берлинскую «контору», «Романише-кафе», вдруг вспомнил, что этот человек не кто другой, как только муж той дамы, которую несколько лет тому назад в Константинополе послал ко мне мой один хороший знакомый со своей карточкой и очень просил оказать ей медицинскую помощь.

Муж этой дамы был бывший русский офицер и эвакуировался из России в Константинополь, кажется, вместе с войсками Врангеля.

Я вспомнил, как однажды со сказанной карточкой ко мне пришла очень молодая дама с вывихнутой рукой и многими синяками на теле и, пока я возился с ее рукой, рассказала мне, что ее избил ее собственный муж за то, что она не захотела продать себя за хорошую сумму какому-то испанскому еврею.

Я кое-как, с помощью докторов Викторова и Максимовича, привел ее руку в порядок, и она ушла.

Через две или три недели я сидел в русском ресторане под названием «Черная-Роза».

Вдруг ко мне подошла эта самая дама и, расспрашивая скороговоркой о моем здоровье и о здоровье помогавших мне тогда врачей, указала на мужчину, с которым она перед этим сидела в ресторане, и сказала: «Вон тот – мой муж, – и потом прибавила: – Я со своим мужем опять помирилась. Он, собственно говоря, очень хороший человек, но иногда бывает вспыльчив». Проговорив все это, она так же неожиданно отошла. Я тут только понял, к какому типу принадлежит эта женщина.

После этого, так как я был один и мне нечего было делать, я, заинтересовавшись редкостью типа этого человека, долго всматривался в него.

Я теперь ни одной минуты не сомневался, что этот безногий, в костюме германского солдата калека, крутящий музыкальный ящик и собирающий германские мелкие монеты, был тот самый бывший офицер.

За целый день этих мелких монет сердобольная публика дает очень много этим несчастным жертвам войны.

Вот этот был, по-моему, настоящий «факир», в том смысле, как его понимают все народы Азии, а что касается его ног, то дай Боже, чтобы мои ноги были такими же здоровыми и крепкими, как у этого «безногого»!

Ну, довольно об этом. Вернемся к первоначальному рас сказу...

Итак, мы подошли к этому человеку и после выражения соответствующих приветствий подсели к нему; но прежде чем спрашивать, о чем хотели, мы, соблюдая разные вежливости, принятые у этих народов, начали с ним говорить о посторонних вещах.

Здесь интересно отметить, что народы, населяющие эти местности, имеют совершенно различную психику от психики европейца.

У европейца почти всегда – что в мыслях, то и на языке. У них же не так; у них страшно развита двойственность.

Любой человек этих местностей насколько внешне может быть вежлив и любезен, настолько внутренне может вас ненавидеть и придумывать для вас всякие пакости.

Многие европейцы, живя среди них десятки лет, не усвоили себе эту их особенность и судят по себе, отчего всегда очень много теряют, и с ними постоянно получают такие недоразумения, которых можно было бы избежать.

Эти народности очень горды и самолюбивы; каждый, что бы из себя ни представлял, требует к себе известного отношения как к личности, и у них на определенные проявления сталкивающихся с ними людей имеются очень определенные взгляды.

Мы, например, когда подошли к этому человеку, не сразу спросили его

о том, что нам было нужно. Избави Боже сделать это, пока не будут соблюдены известные любезности.

У них дело стоит на последнем плане, и к нему нужно приступить как бы между прочим, а то, в самом лучшем случае, он вежливо укажет, например, пойти направо, когда путь лежит налево.

Зато если вы все выполните так, как полагается, то любой из них не только вам точно все укажет, но даже с большой готовностью, если сможет, сам будет вам помогать в достижении намеченной вами цели.

Мы, зная эту их черту, присев к нему, начали говорить о красоте местности, о том, что мы здесь впервые, о состоянии его духа в этих условиях и т. д., и только много позже я сказал, как бы между прочим: «Нам для одной цели понадобились такие-то деревья, но нигде в окрестностях мы их не находим».

И тогда он на это ответил, что очень сожалеет, что не знает, где их можно найти, так как сам недавно в этой местности, но что, может быть, об этом знает один почтенный старик, его учитель, живущий сейчас же за этим бугром в пещере, который здесь давно и хорошо знает окрестности.

Он встал, чтобы сейчас же пойти к нему, но доктор Сары-Оглы его остановил и спросил, может быть, было бы возможно нам лично увидеть этого уважаемого учителя и самим и расспросить у него о нужных нам деревьях.

Он ответил: «Конечно можно. Пойдем вместе. Он человек уже почти святой и всегда всем готов помочь».

Идя к нему, мы еще издали увидели сидящего в тени деревьев на поляне человека; и наш проводник, не дожидаясь нас, ускоренным шагом пошел к нему и, поговорив с ним о чем-то, начал махать нам, чтобы мы подошли.

Подойдя, мы увидели старика; выполнив нужные приветствия, мы сели возле него. В это время подошел и сел еще один человек из местных обитателей, который, как после оказалось, был тоже учеником этого почтенного «ез-езунавурана».

Лицо этого старика нам показалось таким добрым и не общечеловеческим, что мы без всякой обычной «манипуляции» и предисловия, не утаив ничего, рассказали, кто мы, что с нами случилось и как думаем выбраться из этой местности; также сказали о причине нашего захода к нему.

Он очень внимательно выслушал нас и, немного подумав, сказал, что эта речка, на берегу которой мы остановились, есть приток реки Читраль, которая впадает в реку Кабуль, а та, в свою очередь, – в Инд.

Чтобы выбраться отсюда, есть много дорог, но все они длинные и трудные.

Если мы сумеем двигаться таким образом, как задумали, и если сумеем благополучно миновать берега, где живут народы не любящие чужеземцев, то наш план будет самым лучшим из всех, который можно было бы придумать. А что касается деревьев, которые мы ищем, то, по его мнению, эти породы не годятся. Самое лучшее для этой цели – порода «кизил», и он добавил, что по дороге, по которой мы шли сюда, по левой стороне находится одна балка, где растут большие кусты кизила...

Он хотел еще что-то сказать, но в это время неподалеку вдруг раздался голос, от которого всегда у нормальных путешественников по телу пробегает дрожь. Старик хладнокровно повернулся в ту сторону, откуда раздался голос, крикнул особым образом своим старческим голосом, и немного погодя из кустарника вышел во всей своей красоте и мощности громадный серый медведь, неся во рту что-то.

Когда он направился в нашу сторону, старик опять что-то крикнул; медведь, смотря на всех сверкающими глазами, медленно подошел к старику и к ногам его бросил предмет, который он нес, повернулся обратно и исчез в кустах. Мы, в полном смысле этого слова, обалдели, и непроизвольно начавшаяся дрожь в нашем теле была настолько сильна, что, как говорится, не попадал «зуб-на-зуб».

Старик ласковым голосом объяснил нам, что этот медведь – его хороший приятель, который иногда ему приносит откуда-то «джунгару»<sup>[7]</sup>. Тот предмет, который медведь бросил к ногам старика, как раз была «джунгара».

Даже после успокоительных слов старика мы все еще не могли прийти в себя и в глубоком молчании смотрели друг на друга как бы умалишенными взглядами – такое множество вопросов просвечивалось в них.

Старик прервал наше оцепенение и сказал, тяжело поднимаясь с места, что так как сейчас подходящее время для его обычной прогулки, то если мы хотим, он с нами может пойти на ту балку, где растет кизил.

Сказав так, он, читая какую-то молитву, пошел первым, а мы все, в том числе и его ученики, последовали за ним.

Придя на балку, мы действительно увидели много кустов кизила и сейчас же все, с участием даже самого старика, приступили к рубке нужных нам деревьев, выбирая самые толстые.

Нарубив две хороших вязанки и таким образом покончив с этим делом, мы стали просить старика согласиться пойти с нами в наш лагерь, который

находится уже недалеко, и там разрешить одному из наших товарищей, который имеет специальную машинку, сделать с ее помощью очень скоро его точный портрет.

Старик вначале отнекивался, но его ученики помогли нам уговорить его, и мы, взяв наши вязанки, пошли на берег той реченьки, где осталась работать вся наша компания.

Придя туда, мы на скорую руку объяснили нашим, в чем дело, и профессор Скрыдлов со своим фотографическим аппаратом снял старика и тут же начал проявлять.

Пока Скрыдлов проявлял снимки, мы все, собравшись вокруг старика, сели в тени инжира, в том числе и Витвицкая с подвязанной шеей от мучившей ее горной болезни, которую она заболела месяц тому назад и которая выражалась зобом.

Увидя ее повязку, старик спросил, в чем дело.

Мы ему объяснили, и он, подзвав ее к себе и внимательно осмотрев и ощупав со всех сторон опухоль, велел Витвицкой лечь на спину и начал разными способами массировать опухоль и при этом шептать какие-то слова.

Мы все были неописуемо поражены, когда после двадцатиминутного массажа опухоль у Витвицкой начала на глазах у всех определенно исчезать, а в течение еще двадцати минут от этой громадной опухоли решительно ничего не осталось.

В это время подошел профессор Скрыдлов, кончивший проявление и печатание фотографических карточек старика; он также был страшно удивлен и тут же, простершись перед стариком, стал с несвойственным ему смирением умолять избавить и его от вот уже несколько дней мучившего его припадка давно существующей у него болезни почек.

Старик задал несколько вопросов о некоторых подробностях его болезни и сейчас же куда-то послал одного из своих учеников, который вскоре принес корень одного распространенного там мелкого кустарника.

Дав этот корень профессору, старик сказал:

– Вам надо, взяв на одну часть этого корня две части коры инжира, который можно достать почти всюду, хорошо сварить все вместе и в течение двух месяцев через день пить по стакану, как чай, перед тем как ложиться спать.

После этого он и его ученики стали разглядывать принесенные профессором фотографические карточки старика, которыми особенно его ученики были в одинаковой степени и поражены, и восхищены.

Мы предложили старику закусить с нами свежей козлиной ковормой с

похандными лепешками<sup>[8]</sup>, от чего он не отказался.

Разговаривая за едой, мы узнали, что старик был раньше «топ-баши» афганского Эмира, деда нынешнего, и что, когда ему было шестьдесят лет, он был ранен в одном восстании афганцев и белуджей против каких-то европейцев, после чего он вернулся на свою родину в Хорасан. Когда он совершенно оправился от ран, он не захотел больше возвращаться к своему посту, так как уже был в летах, и решил свое время и жизнь посвятить развитию души.

Сначала он имел общение с персидскими дервишами, потом, хотя и не долго, был баптистом, а после, вернувшись опять в Афганистан, поступил в один монастырь в окрестностях Кабула.

Когда он извлек из всего этого, что ему было нужно, и убедился, что люди ему больше не нужны, он стал искать уединенное место вдали от людей, и вот здесь он обрел такое место и теперь в обществе случайно встретившихся и пожелавших жить по его указаниям людей живет, ожидая своей смерти, так как ему уже девяносто восемь лет, а по теперешним временам редко кто переваливает за сто.

Перед уходом старика домой к нему обратился Елов, тоже с просьбой – не будет ли он так добр посоветовать что-либо для его глаз, так как вот уже несколько лет тому назад он заболел в Закаспийской области трахомой, и несмотря на всевозможное упорное лечение эта болезнь не прошла, а перешла в хроническую. «Хотя, правда, – прибавил он, – глаза не всегда сильно беспокоят меня, но по утрам они всегда залепляются выделениями, а перемена климата и песчаные ветра порядочно-таки мучительны».

Старик ему посоветовал натолочь очень мелко медный купорос и, моча слегка иголку в собственной слюне и обмакивая ее в этом толченом купоросе, ежедневно перед сном проводить ее между веками и делать это так в течение некоторого времени.

Когда, дав и Елову свой совет, старик встал и, сделав каждому из нас тот жест, который в тех местностях означает то же самое, что мы здесь называем «благословение», направился к месту своего жительства, мы все, даже наши собаки, пошли его провожать.

В то время, как мы по дороге продолжали разговаривать со стариком, Карпенко, не посоветовавшись ни с кем из нас, вдруг, обращаясь к нему на узбекском разговорном языке, сказал:

– Святой Отец! Раз мы волею судеб в такой необычайной обстановке столкнулись с вами, с человеком, в большом знании которого и в богатом опыте как в обычной жизни, так и в смысле приготовления себя для потустороннего бытия мы все без исключения уже убеждены без всякого

сомнения, то, может быть, вы не откажете преподать нам совет, конечно, если это вообще возможно, как надо жить и каких идеалов придерживаться, чтобы в конце концов смочь жить согласно Высшим начертаниям и как достойно человеку.

Почтенный старик, прежде чем ответить что-либо на такой странный вопрос Карпенко, начал оглядываться кругом, как бы ища чего-то, и, видимо, найдя, сразу направился туда, а мы побрели за ним. То, что он искал глазами, было свалившееся дерево.

Подойдя к нему, он сел, и только когда и мы разместились, частью на этом же дереве, частью просто на земле, он, обращаясь к нам всем, не торопясь стал говорить.

Его ответ на заданный Карпенко вопрос вылился в длинную, интереснейшую и глубокую по своему значению как бы проповедь.

Сказанное тогда этим стариком ез-езунавуран тоже будет мною приведено, но только в третьей серии моих писаний, в специальной главе под названием: «Астральное-тело-человека-и-его-закономерные-потребности-и-возможности».

А сейчас я коснусь результатов врачевания этого почтенного старика, которые я проверил через несколько лет расспросами.

У Витвицкой с тех пор ни разу не повторялись ни боли, ни другие проявления той болезни, которою она заболела тогда. Профессор Скрыдлов не знал, как выразить благодарность этому старику, который избавил его, вероятно навсегда, от страданий, которыми он мучился в течение двенадцати лет. А что касается Елова, то у него уже через месяц не стало трахомы.

После этого, для всех нас знаменательного события мы оставались там еще три дня, за какое время сколотили плот и приготовили все остальное так, как нами было намечено.

На четвертый день рано утром этот импровизированный плот был спущен на речку, и мы, устроившись на нем, двинулись вниз по течению.

Наш оригинальный плот вначале не везде мог продвигаться сам по течению, и нам приходилось местами его толкать, а местами даже переносить на руках, но чем дальше, тем речка делалась полноводнее и плоту становилось легче самостоятельно двигаться, иногда даже он летел как угорелый, неся нас всех на себе.

Вначале нельзя сказать, чтобы мы были покойны за нашу целость, особенно когда плот проходил по узким местам и ударялся о скалы, но позже, когда мы убедились в его крепости и в целесообразности идеального изобретения инженера Самсунова, мы совсем успокоились и начали даже

острить.

Это идеальное изобретение инженера Самсунова заключалось в том, что по его инициативе к этому плоту впереди и по бокам были прикреплены по два бурдюка, служившие как бы буферами в моменты столкновения со скалами.

На второй день плавания по реке у нас произошла перестрелка с какой-то шайкой людей, очевидно одного из племен, обитающих на берегах этой речки, и вот в этой перестрелке и был ранен Карпенко, а также и мой незаменимый друг, собака Филос.

Мой старый друг Филос, про которого я могу только повторить, что такого преданного друга у меня никогда больше не было, да и, наверно, как теперь я все больше и больше убеждаюсь, не будет, кончил свое существование от полученной раны через четыре месяца на моих руках, уже опять в Туркестане.

А Петр Карпенко через два года преждевременно умер в одном из городов Центральной России.

Мир праху этого необычайно душевного для своих товарищей человека!

## Профессор Скрыдлов

С начальных годов моей ответственной жизни моим другом, по возрасту на много лет старше меня, сущностным другом, был профессор археологии Скрыдлов, без вести исчезнувший во время самого большого волнения умов в России.

С ним я впервые встретился именно тогда, как я уже писал в главе «Князь-Юрий-Любоведский», когда я был взят им в качестве проводника по окрестностям Каира.

Во второй раз после этой первой встречи я видел профессора Скрыдлова в Старых Фивах, куда я совершил первое совместное с князем Юрием Любоведским путешествие и куда вскоре приехал также и он.

Тогда, живя вместе в течение трех недель в одной гробнице и разговаривая во время перерывов в работах по раскопкам на всякие отвлеченные темы, мы, несмотря на разницу лет между нами, постепенно так близко сошлись и сдружились, что, когда князь Юрий Любоведский уехал в Россию, мы не расстались, а решили предпринять вместе большое путешествие.

Мы тогда из Старых Фив отправились вверх по течению Нила до самых истоков его, откуда попали в Абиссинию, где прожили около трех месяцев, и потом оттуда вышли в Красное море и через Сирию попали на развалины Вавилона, где после четырех месяцев нашей совместной жизни он остался продолжать раскопки, а я вместе с двумя персами – торговцами старинными персидскими коврами, с которыми, случайно встретившись в одном ближайшем к Вавилону местечке, очень подружился на почве общего интереса к старинным коврам и распознаваний их, – отправился через Мешхед в Испагань.

После этого я с профессором Скрыдловым встретился через два года в городе Оренбурге, куда он приехал вместе с князем Любоведским и откуда должно было начаться наше совместное большое путешествие по Сибири уже в целях нужд общего характера, связанных с программой, начертанной все той же, мною несколько раз упомянутой, группой «искателей-истины».

После сибирского путешествия мы много раз опять встречались, как намеренно для совместных больших и малых путешествий по разным дебрям, главным образом Азии и Африки, и для кратковременных свиданий в целях требовавшегося личного обмена мнений, так и случайно.

Я опишу, и даже как можно подробнее, ту нашу встречу и

последовавшее за ней совместное путешествие, во время которого случился, так сказать, «перелом» его общей внутренней психики в том смысле, что в ней стали иметься результаты, исходящие не от одних только его мыслей, но также и от его чувствований и инстинкта, и последние даже стали первенствовать или, так сказать, «инициативировать».

На этот раз я с ним встретился случайно в России, как раз вскоре после моей предпоследней встречи с князем Любовецким.

Я ехал на Закавказье, и в буфете одной железнодорожной станции, когда я торопился докончить знаменитую, заведенную казанскими татарами для российских железнодорожных буфетов, «говяжью» котлету из конского мяса, вдруг кто-то сзади меня обнял. Оглядываюсь – вижу: мой старик.

Оказалось, что он едет тем же поездом, что и я, к своей дочери, жившей в то время на курорте в Пятигорске.

Встреча для нас обоих была радостная. Мы решили дальше ехать вместе, и мой профессор с удовольствием пересел из второго класса в третий, в котором, конечно, ехал я, и мы всю дорогу беседовали.

Он рассказал мне, как после того, как мы расстались на развалинах Вавилона, он поехал опять в Старые Фивы и в окрестностях занимался раскопками.

За эти два года он сделал массу интересных и ценных находок и под конец, очень соскучившись по России и своим детям, решил проветриться и вот, недавно вернувшись в Россию, прямо поехал в Санкт-Петербург, потом в Ярославль к старшей дочери, а сейчас едет в Пятигорск к младшей, которая за время его отсутствия «приготовила» ему двух внучат.

О дальнейшем и сколько времени он останется в России, он пока не знает.

Я в свою очередь рассказал ему, как я провел эти два года, как вскоре после того, как мы расстались, я, очень заинтересовавшись исламом, после больших трудностей, посредством многих хитростей попал в недоступные для христиан Мекку и Медину в надежде, проникнув в то, что имеется в этой религии скрытым, может быть, найти ответы на некоторые интересовавшие меня вопросы.

Но мой труд оказался напрасным, так как я там ничего не нашел, а только выяснил, что если и есть что-нибудь за этой религией, то это нужно искать не здесь, как все думают и уверяют, а в Бухаре, где с самого начала и было сконцентрировано все сокровенное, на котором базируется эта религия, и какое место стало являться центром и источником ее.

И так как интереса и надежды я не потерял, я тогда и решил поехать в Бухару вместе с одной группой сартов, приехавших в Мекку и Медину на

богомолье и возвращавшихся домой, с которыми мне удалось намеренно установить дружественные отношения.

Дальше я ему рассказал, какие обстоятельства мне помешали тогда отправиться прямо в Бухару, а именно как, приехав в Константинополь, я там случайно встретился с князем Любовецким, который меня попросил отвезти одну особу к его сестре в Тамбовскую губернию, откуда я в настоящее время и возвращаюсь.

Теперь же я думаю пока поехать в Закавказье повидаться со своими, а потом уже «свои-оглобли» повернуть по направлению к Бухаре и двинуться туда... «Вместе со своим старым приятелем Скрыдловым», – закончил он мою фразу.

Потом он сказал, что за последние три года несколько раз мечтал попасть в Бухару и в прилегающую к ней Самаркандскую область с целью выяснить некоторые археологические данные, связанные с Тамерланом, требующиеся ему для выяснения одного очень интересующего его археологического вопроса, и что как раз недавно он опять думал об этом, но все же никак не решался ехать туда один. Теперь же, слыша о том, что я еду туда, он с радостью присоединился бы, если я ничего не буду иметь против этого.

Вот тогда-то условившись, мы через два месяца встретились в Тифлисе и оттуда поехали в Закаспийский край с целью ехать в Бухару, но попали на развалины Старого Мерва, где прожили около года.

Прежде всего, для объяснения того, почему это так получилось, надо сказать, что уже давно до решения поехать вместе в Бухару у меня с профессором было много разговоров и предположений о том, чтобы когда-нибудь, каким-либо способом проникнуть в Кафиристан – именно в страну, куда в те времена попасть по своему желанию ни одному европейцу было совершенно невозможно.

Хотелось нам попасть туда главным образом потому, что, согласно всяким сведениям, полученным нами во время разговоров с разными людьми, у нас сложилось убеждение в том, что там мы могли бы получить ответы на множество интересующих нас вопросов, как психологических, так и археологических.

А когда в Тифлисе, перед отъездом в Бухару, мы стали запасаться всем необходимым для путешествия, в том числе и рекомендательными письмами, и нам пришлось встречаться и иметь разговоры с разными, в этом отношении компетентными людьми, то в результате всех этих разговоров и последующих совместных обсуждений у нас это желание проникнуть в Кафиристан – недоступную для европейцев страну – опять

возникло и до такой степени обострилось, что мы решили сделать все возможное, чтобы теперь же, после Бухары, непременно попасть туда.

Все наши имевшиеся до этого интересы как бы стусевались, и мы за все время нашего нахождения в пути к Туркестану только и думали и говорили о том, какие нужно было бы принять меры, чтобы осуществить этот наш смелый проект.

Определенный план, как именно попасть в Кафиристан, у нас созрел случайно при следующих обстоятельствах:

На Среднеазиатской железной дороге, во время остановки поезда на станции «Новый-Мерв», я пошел в буфет за кипятком для чая, и когда возвращался обратно в вагон – вдруг меня обнимает какой-то человек в текинском одеянии.

Как выяснилось, это был мой старый хороший знакомый грек, по имени Василиаки и по профессии портной, живший уже давно в городе Мерве.

Узнав, что я здесь проездом в Бухару, он начал горячо умолять меня сделать здесь остановку до завтрашнего поезда и присутствовать на большом семейном торжестве, которое состоится как раз сегодня вечером по случаю крестин его первенца.

Его просьба была так искренна и трогательна, что я не мог отказаться, как говорится, «наотрез» и, попросив его немного здесь подождать, сам, уверенный, что до отхода поезда остается мало времени, понесся вовсю, брызгая кругом кипятком, посоветоваться с профессором.

Пока я с трудом протискивался в темном проходе вагона между множеством входящих и выходящих пассажиров, профессор, заметив меня, начал еще издали, махая рукой, кричать:

– Я уже собираю наши вещи. Вернитесь скорее обратно и принимайте их из окна!

Как после оказалось, он, смотря в окно, видел сцену этой моей случайной встречи и слышал сделанное мне предложение.

Когда я с не меньшей торопливостью вернулся на платформу и начал принимать из окна вещи, то выяснилось, что наша поспешность была совершенно напрасной, так как поезд здесь будет стоять больше двух часов в ожидании запоздавшего поезда с ветки Кушка.

Вечером, после религиозного обряда крещения, во время ужина моим соседом оказался один старик, приятель хозяина дома, кочевник-туркмен, владелец большого количества овец породы «каракуль».

Разговаривая с ним о жизни вообще кочевников и об отдельных племенах людей, обитающих в Центральной Азии, мы заговорили также о

разных самостоятельных племенах, населяющих тот район, который в последнее время именуется Кафиристаном.

Продолжая беседу после ужина, во время которого совсем не экономилась русская водка, он, между прочим, как бы про себя выразил то свое мнение, которое мы с профессором Скрыдловым приняли как совет и в соответствии которого составили весь наш дальнейший план для того, чтобы осуществить наши намерения.

Именно он сказал, что, несмотря на получившееся у каждого обитателя этих местностей почти органическое нежелание вообще общаться с людьми, не принадлежащими к их собственным племенам, у них почти в каждом человеке, к какому племени бы он ни принадлежал, очень развито нечто такое, что само по себе образует в них чувство почитания и даже любви к людям, принадлежащим ко всяким другим народностям и племенам, посвятившим себя служению Богу.

После высказанной этим случайно встретившимся кочевником такой мысли, выявленной им, может быть, только благодаря «русской-водке», у нас всякие между собой обсуждения, как этой ночью, так и на следующий день, основанием своим имели такую идею, что мы можем проникнуть в эти края не под видом обыкновенных смертных, а под видом и одеянием людей, которым там оказывают особое почтение и которые имеют возможность, не возбуждая подозрения, всюду свободно передвигаться.

Результатом наших обсуждений и было то, что на другой день вечером, сидя в одной текинской чайхане Нового Мерва, где, между прочим, в это время предавались кейфу две компании туркмен-селадонов при участии «бачи», т. е. мальчиков-танцоров, главное назначение которых (как узаконенное местными законами, так и поощряемое законами покровительствующего в то время этой стране большого современного государства, России) то же самое, что на материке Европа выполняют узаконенные женщины с «желтыми-билетами», – мы в такой атмосфере категорически решили, что профессор Скрыдлов преобразится в почтенного персидского дервиша, а я буду выдавать себя за прямого потомка Магомета, т. е. за Сеида.

Для подготовки к такому маскараду требовалось очень много времени и спокойное, уединенное место; вот почему мы и решили устроиться в удовлетворявших этим требованиям развалинах Старого Мерва, где мы могли в то же время иногда, в целях отдыха, заниматься раскопками.

Подготовка же заключалась в том, что надо было выучить очень много персидских религиозных песнопений и поучительных сказаний прошлых времен, а также было необходимо отрастить волосы настолько, чтобы

походить на тех людей, за которых мы хотели себя выдавать; грим в данном случае совершенно исключается.

Прожив таким образом около года в развалинах Старого Мерва и оставшись наконец довольными как нашей внешностью, так и познаниями в религиозных стихах и псалмах, мы раз рано утром покинули ставшие нам как бы родными развалины Старого Мерва и, дойдя пешком до станции «Байрам-Али» Среднеазиатской железной дороги, сели в вагон и поехали в Чарджуй, откуда на пароходе отправились вверх по течению Аму-Дарьи.

Имея в виду, что по берегам этой, обожествляемой некоторыми народностями Центральной Азии реки, именованной в древние времена «Оксос», а ныне носящей название Аму-Дарьи, впервые зародилось на Земле начало культуры современной мысли, и так как во время моей поездки по ней в компании с профессором Скрыдловым с нами произошло необыкновенное для европейцев, но очень характерное для местных патриархальных нравов, еще не совсем подпавших под воздействие современной цивилизации, приключение, жертвой которого стал один в высшей степени добрый старый сарт, воспоминание о каком приключении впоследствии часто вызывало во мне чувство угрызения совести от того, что, наверное, только по нашей вине этот добряк, может быть, навсегда лишился своих денег, я хочу часть нашей дороги в страну, в то время для европейцев недоступную, описать немного подробнее и, кстати, сделать это описание немного в той форме, которую мне пришлось в юности своей изучить и которая, как «литературная-школа», возникла и процветала якобы именно здесь, на берегах этой великой реки, и называлась «созданием-образов-без-слов».

Река Аму-Дарья – продолжение реки Пяндж, которая берет свое начало главным образом с гор Гиндукуша и впадает в настоящее время в Аральское море, а раньше, по некоторым историческим данным, впадала в Каспийское море.

Эта река и в тот период, к которому относится данный рассказ, омывала границы многих государств – бывшую Россию, Хивинское Ханство, Бухарское Ханство, Афганистан, Кафиристан, Индийскую Англию и т. д.

Раньше по ней ходили особого рода плоты, но по завоевании края Россией на ней образовался речной флот из плоскодонных пароходов, которые, кроме выполнения военных целей, поддерживали товаро-пассажирское сообщение между Аральским морем и верховьями этой реки.

Итак, я начинаю, конечно тоже в целях моего отдыха, немного «мудрствовать» в форме упомянутой древней особой «литературной-

школы».

Аму-Дарья... раннее свежее утро.

Верхушки гор уже золотятся под лучами еще не взошедшего солнца. Постепенно ночная тишина и однообразный гул реки сменяются голосами проснувшихся птиц, животных, людей и стуком паровой черпалки.

На обоих берегах начали разводиться потухшие за ночь костры; задымилась труба паровой кухни, и удушливый дым сырого саксаула распространился повсюду. За ночь берега заметно изменились, хотя пароход стоит на том же месте. Сегодня десятый день, как он вышел из Чарджуя по направлению к Кирки.

Первые два дня он шел хотя медленно, но без задержки, а на третий день сел на мель и принужден был стоять целые сутки, пока Аму-Дарья силой своего течения не промыла песков, образовавших мель, и не дала ему возможность двигаться дальше.

Через полтора суток повторилось то же самое, но на этот раз вот уже третий день, как пароход стоит и не может двинуться дальше.

Пассажиры и паровая прислуга терпеливо ждут, когда смилуется эта самодурная река и отпустит их.

Такое явление здесь обычно. Река Аму-Дарья почти на всем протяжении своего русла течет по пескам; имея очень сильное течение и неравномерный объем воды, она всегда или промывает, или заполняет песками свои неустойчивые берега, и вследствие этого постоянно меняет свое русло, благодаря чему происходит образование мели там, где до этого была водоворотная глубина.

Пароходы вверх по течению идут очень медленно, особенно в некоторые времена года, зато летят вниз как угорелые, почти без действия машин.

Время проезда от одного пункта до другого, хотя бы приблизительно, определить заранее никогда нельзя.

Зная это, едущие вверх по течению обыкновенно запасаются на всякий случай провизией на целые месяца.

Время года, к которому относится описываемое наше путешествие по Аму-Дарье на этих плоскодонных пароходах, было самое неблагоприятное из-за ее маловодья: приближалась зима, сезон дождей прошел и таяние снегов на горах, откуда река главным образом берет свое начало, прекратилось.

Путешествие было не особенно приятно также и по причине того, что в это время года на этих пароходах происходит самый разгар товаро-

пассажирского передвижения: хлопок везде убран, убраны и высушены фрукты и овощи из благодатных оазисов, бараны породы «каракуль» уже рассортированы, и население пространства, где протекает Аму-Дарья, передвигается по ней; одни возвращаются в свои кишлаки, другие везут на базары свое сырье для обмена на нужные для недолгой зимы предметы, третьи едут на богомолье или к родственникам.

Вот почему на пароходе, когда мы ехали, пассажиров было очень много.

Среди них были и бухарцы, и хивинцы, и текинцы, и персияне, и афганцы, и представители многих других народностей Азии.

Среди этой колоритной или, как говорится, «разношерстной» толпы преобладали купцы: одни везли товары, другие отправлялись за сырьем на верховья реки.

Вот перс, торговец сушеными фруктами, вот армянин, едущий покупать на месте «киргизские-ковры», и поляк – агент по закупке хлопка для фирмы «Познанский»; здесь и русский еврей, скупщик каракулевых шкур, и латыш-коммивояжер с образчиками рамок из папье-маше и всевозможных украшений из дутого золота и искусственных цветных камней.

Много чиновников и офицеров пограничной стражи, закаспийских стрелков и саперов, возвращающихся из отпусков и командировок; тут и солдатка с грудным ребенком, едущая к мужу, оставшемуся на сверхсрочную службу и выписавшему к себе жену; тут и разъездной ксендз, едущий исповедовать по местам солдат-католиков.

Есть и женщины-барыньки: вот полковница с долговязой дочерью, возвращающаяся домой из Ташкента, куда она отвозила сына-кадета, чтобы отправить его в Оренбург в корпус учиться.

Вот жена ротмистра пограничной стражи, ездившая в город Мерв заказывать у тамошних модисток платье; вот жена военного врача, едущая из Ашхабада в сопровождении денщика навестить мужа, который служит одиноким только потому, что его теща не может жить «без-общества», которого нет на месте его службы.

Вот толстая дама с огромной прической, несомненно из искусственных волос, с массой колец на пальцах и с двумя громадными брошками на груди; ее сопровождают две миловидные девицы, называющие ее «тетей», но по всему видно, что они ей вовсе не племянницы.

Здесь также много русских «бывших» и «будущих» людей, едущих Бог весть куда и Бог весть зачем. Тут же несколько «арфянок» со своими

скрипками и контрабасом.

Вся эта масса людей в первый же день по выезде из Чарджуя как бы рассортировалась: так называемая «интеллигенция», «мещане» и «мужики», перезнакомившись друг с другом, вскоре стали чувствовать себя как среди старых знакомых и образовали отдельные группы.

Каждый член из перечисленных групп стал смотреть и относиться к пассажирам, принадлежащим к другим группам, или свысока-презрительно, или трусливо-заискивающе, но в то же время они не мешали друг другу устраиваться каждому по его желанию и привычкам, и понемногу так освоились и сжились с окружающей обстановкой, что казалось, будто никто из них никогда раньше иначе и не жил.

Ни задержки в пути парохода, ни теснота никого не беспокоили, а наоборот, все так приспособилось, что вся эта поездка была как бы ряд пикников.

Как только выяснилось, что на этот раз пароход сел на мель основательно, постепенно почти все пассажиры вышли на берег.

К концу дня на обоих берегах появилась масса палаток, устроенных из чего попало, и дымилось множество костров, и после весело проведенного с музыкой и пением вечера большинство пассажиров осталось ночевать на берегу.

Наутро жизнь пассажиров началась так же, как и накануне. Одни разводили костры и варили кофе, другие кипятили воду для зеленого чая, третьи отправлялись на розыски саксаула, готовились удить рыбу, переправлялись в лодках на пароход и обратно, перекликались с парохода на берег или с одного берега на другой, и все делалось спокойно, не спеша, так как знали, что, когда будет возможно двинуться дальше, большой пароходный колокол за час зазвонит и все успеют вернуться на пароход.

В том отделении парохода, в котором устроились мы, поместился рядом с нами один старик сарт.

Видно было, что он из богатых, так как в числе своих вещей он имел много мешков с деньгами.

Не знаю, как теперь, но в то время в Бухаре и в соседних с нею государствах никакой крупной монеты не было.

Тогда в Бухаре единственно крупной монетой была так называемая «таньга» – неодинаково отрубленные кусочки серебра, которые равнялись приблизительно половине французского франка.

Сумму больше пятидесяти франков надо было уже носить непременно в специальных мешках, что было, особенно для путешественников, очень стеснительно.

Если имелись в этой монете тысячи и если приходилось их возить с собою, то буквально требовались десятки верблюдов или лошадей, чтобы перевозить деньги с места на место.

В очень редких случаях употреблялся следующий способ:

Имеющееся количество таньги давалось какому-нибудь бухарскому еврею, а тот давал записку к своему знакомому, тоже еврею, живущему в том месте, куда надо было ехать, и последний, с вычетом суммы за хлопоты, возвращал то же количество таньги.

Итак, у города Кирки, последнего пункта плавания нашего парохода, мы сошли с него и, пересев на нанятый «кобзырь»<sup>[9]</sup>, отправились дальше.

И вот, когда мы отъехали довольно далеко от Кирки, во время одной остановки уже за Термезом, когда профессор Скрыдлов вместе с рабочими сартами сошел с кобзыря и пошел в недалеко находящийся кишлак за провизией, к нашему кобзырю подошел другой кобзырь с пятью сартами, и они, не говоря ничего, начали выгружать со своего и нагружать на наш двадцать пять больших мешков, наполненных таньгой.

Я не сразу понял, в чем дело; только после того, как перегрузка была окончена, я со слов самого старшего из них понял, что он был пассажир того же парохода, на котором и мы ехали, и когда все слезли и на нашем месте остались эти мешки с таньгой, он, уверенный, что они забыты нами, узнав, куда мы отправились, решил скорее догнать нас и отдать нам, очевидно, по рассеянности забытую таньгу, и тут же добавил, сказав:

– Я решил непременно догнать вас, так как и со мною раз в жизни это самое случилось, и потому я очень хорошо понимаю, как плохо очутиться в чужом месте без этой заготовленной таньги, а мне, – продолжал он, – ничего, что на одну неделю опоздаю в свой кишлак: буду считать, что наш пароход лишний раз сел на мель!

Я не знал, как ответить и что сказать этому чудаку; все это было слишком неожиданно для меня, я мог только притвориться плохо понимающим по-сартски и ждать возвращения профессора, а пока стал угощать его и сопровождавших его рабочих водкой.

Увидя возвращающегося Скрыдлова, я немедленно поплыл к нему навстречу, якобы помочь ему перегрузить провизию, и рассказал, в чем дело.

Мы решили не отказываться от этих денег, но непременно узнать адрес этого еще не испорченного человека, желая послать ему в благодарность за его труды «пешкеш», а деньги потом передать ближайшему посту русской пограничной стражи с указанием названия парохода и времени его последнего рейса, а также по возможности подробно объяснить им всякие

факты, могущие послужить к выяснению личности ехавшего с нами сарта, забывшего на пароходе эти мешки с таньгой.

Так мы и поступили.

Вскоре после этого случая, кстати сказать, на мой взгляд, никогда в среде современных европейцев не могущего произойти, доплыв до знаменитого города, связанного с именем Александра Македонского, ныне превращенного в обыкновенный афганский форт, мы окончательно сошли на землю и, войдя в заранее обдуманную ролю, дальше уже продолжали наш путь пешком.

Проходя из одной местности в другую, сталкиваясь с людьми разных группировок, мы наконец дошли до центрального поселения «афридиев», считающегося сердцем Кафиристана.

Дорогой мы всюду выполняли все, что требовалось от дервиша и Сеида, т. е. я пел по-персидски религиозные стихи, а профессор, как говорится, «с-грехом-пополам» отбивал на «бубне» соответствующий ритм и собирал в нем подаяния.

Я не буду описывать наш дальнейший путь и множество связанных с ним необычайных приключений, а перейду к описанию той нашей случайной встречи, неподалеку от упомянутого поселения, с одним человеком, которая корнем изменила все наши предположения и намерения и дала совсем другое направление, как в смысле нашего дальнейшего передвижения, так и в смысле нашего, как говорится, «внутреннего-мира».

Когда мы вышли из поселения афридиев с намерением двигаться по направлению края Читраль, то в первой же другой, тоже довольно многолюдной местности на базаре ко мне подошел какой-то старик в одежде местного жителя и тихонько сказал мне на чистом греческом языке:

– Вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Я совершенно особо-случайным образом узнал, что вы грек. Мне не нужно знать, кто вы и зачем вы здесь. Мне только приятно будет поговорить с вами и видеть, как дышит земляк, так как вот уже пятьдесят лет, как я не видел человека, рожденного на той земле, где родился я!

Своим голосом и выражением глаз этот старик произвел на меня такое впечатление, что я сразу проникнулся к нему полным доверием, как к родному отцу, и ответил тоже по-гречески:

– Сейчас говорить здесь, по-моему, неудобно, мы можем подвергнуться, по крайней мере я, большой опасности, и потому надо подумать, где можно было бы говорить свободно, не опасаясь подвергнуться нежелательным последствиям; может быть, вы или я придумаем способ или найдем соответствующее место для этого, а пока

могу только сказать, что я сам буду несказанно рад этому случаю, так как от общения в течение многих месяцев с людьми, чуждыми моей крови, устал до изнеможения.

После этого он, не говоря больше ни одного слова, пошел своей дорогой, а я с профессором продолжали заниматься своим делом.

На следующий день другой человек, уже в одежде монаха одного очень известного в Центральной Азии монастыря, вместо подаяния сунул мне в руку какую-то записку.

Я прочел эту записку, когда мы пришли в «ашхану», где имели обыкновение закусывать; она была написана на греческом языке, и из ее содержания я узнал, что вчерашний старик был тоже монах из числа так называемых «освободившихся» того монастыря и что мы можем беспрепятственно прийти в этот их монастырь, где уважают людей, хотя бы и другой народности, но тоже стремящихся к Единому Богу, являющемуся создателем всех без различия народностей и племен.

На другой же день мы с профессором отправились в этот монастырь, где в числе других нас встретил и тот самый старик.

После обычных приветствий он повел нас на прилегавший к монастырю косогор, где мы, сев на обрывистом берегу протекавшего ручья, стали закусывать тем, что он принес из монастыря.

Когда мы уселись, он, кушая, сказал:

– Здесь нас никто не услышит и не увидит, и мы сможем говорить совершенно спокойно обо всем, что нашей душе угодно.

Из разговора выяснилось, что он итальянец, а греческий язык знает потому, что мать его была гречанкой, и в детстве, по ее настоянию, он говорил почти только на этом языке.

Он был когда-то идейным миссионером христианства и долгое время жил в Индии, и раз, когда он отправился по миссионерским делам в Афганистан, его во время прохождения одного перевала взяли в плен люди из племени афридиев.

После этого он много раз переходил из рук в руки в качестве раба и попадал к разным народностям, населявшим эти местности, а под конец попал сюда, тоже как пленник одного человека. Этому своему последнему хозяину он оказал какую-то услугу, и кроме того, так как во время долгого пребывания своего в этих обособленных странах он сумел зарекомендовать себя человеком беспристрастным, смиренно признающим и подчиняющимся всяким установившимся, выковавшимся веками местным условиям жизни, благодаря хлопотам этого последнего своего хозяина ему дали полную свободу и обещание устроить так, чтобы он мог всюду по

этим странам, подобно местным «власть-имущим» обывателям, передвигаться, куда его душе будет угодно; но он, вследствие того, что случайно столкнулся как раз в это время с некоторыми адептами «Мирового-Братства», которые стремились к тому же, о чем он и сам всю жизнь свою мечтал, и они допустили его в свою среду, никуда не захотел уезжать отсюда, а остался жить здесь вместе с ними в этом их монастыре.

Так как у нас все более и более увеличивалось доверие к брату, патеру Джиованни – мы стали так его величать после того, как узнали, что он раньше был католическим священником и на родине прежде его звали Джиованни, – то мы сочли нужным признаться, кто мы такие в действительности и почему выдаем себя за других.

Поняв нас и отнесшись, как это было заметно, поощрительно к нашему стремлению, он немного задумался и потом, сделав на лице добрую, никогда не забываемую улыбку, сказал:

– Хорошо! В надежде, что результаты ваших исканий будут благодатными и для моих компатриотов, я сделаю все, на что могу быть способным, чтобы помочь вам достичь поставленной себе цели...

Осуществление на деле такого его обещания началось с того, что он в тот же день выхлопотал для нас у кого следовало разрешение оставаться жить при их монастыре до тех пор, пока мы точно не выясним и не решим, что и как дальше будем делать в этих краях.

На другой же день мы перешли на жительство в монастырь и стали пока наслаждаться отдыхом, который был действительно необходим после стольких месяцев напряженной жизни.

Мы жили там так, как нам хотелось, свободно ходили везде и всюду по монастырю, кроме одной постройки, где жил главный Шейх и куда ежедневно по вечерам допускались лишь адепты этой обители, уже достигшие предварительного «освобождения».

С патером Джиованни мы почти ежедневно ходили на то место, где в первый день нашего посещения монастыря вместе закусывали, и там мы с ним подолгу беседовали.

Во время таких бесед отец Джиованни рассказывал нам, между прочим, очень много относительно, так сказать, «внутренней-жизни» тамошних братьев и касательно установившихся устоев их обычной жизни, связанных с этой их «внутренней-жизнью», и раз, говоря о разных, еще издавна организованных так называемых «братствах», имеющих во множестве в Азии, он разъяснил нам немного подробнее и о своем «Мировом-Братстве», в какое братство, как оказалось, имелся доступ всякому человеку, к какой бы религии он раньше ни принадлежал.

Как мы после установили, среди адептов этого монастыря действительно были и бывшие христиане, и иудеи, и магометане, и буддисты, и ламаисты, и даже один шаманист.

Их всех здесь соединял «Бог-Истина».

Все братья монастыря жили так дружно, что, несмотря на специфические черты и свойства представителей разных религий, мы с профессором Скрыдловым никак не могли узнать, к какой религии принадлежал тот или другой брат.

Отец Джиованни много говорил нам также о вере и о том, к чему стремятся все эти разные братства.

Он так хорошо, понятно и убедительно говорил об Истине, о вере и о возможности претворить в себе такую веру, что раз профессор Скрыдлов не мог удержаться и с возбуждением удивленно воскликнул:

– Патер Джиованни! Я не могу понять, как вы можете здесь спокойно оставаться и не возвращаться в Европу, хотя бы на вашу родину Италию, чтобы дать там людям хотя бы тысячную часть той всюду проникающей веры, какую вы сейчас вселяете во мне...

– Эх, дорогой профессор, – ответил отец Джиованни, – видно, вы психику людей не так хорошо понимаете, как вопросы археологии.

Передать людям веру нельзя. Вера возникает в человеке и увеличивается в своем действии не от результатов автоматической познаваемости, т. е. не от получающегося автоматического констатирования высоты, широты, толщины, формы и веса, или от восприятия чего-либо зрением, слухом, осязанием, обонянием или вкусом, а от «понимания».

Понимание – это эссенция, получающаяся от намеренно узнанных сведений и лично испытанных всяких переживаний.

Например, если бы мой любимый брат сейчас пришел сюда ко мне и очень просил бы меня дать ему хотя бы десятую часть моего понимания, и я сам всем своим существом хотел бы это сделать, то при всем моем самом горячем желании не мог бы дать ему и тысячной части этого понимания, так как он не имеет тех знаний и переживаний, которые я в моей, совсем случайно так сложившейся жизни узнал и пережил.

Нет, профессор, в сто раз легче, как говорится в Священном Писании, «пройти-верблюду-через-ушко-иголки», чем передать другому образовавшееся в себе свое понимание о чем бы то ни было.

Я прежде тоже думал, как вы, даже выбрал для себя деятельность миссионера, чтобы учить всех вере Христовой.

Мне хотелось всех сделать такими же счастливыми, каким я

чувствовал себя от веры в учение Иисуса Христа, но желать это сделать, так сказать, «прививкой» веры словами – это все равно, что желать насытить хлебом другого только взглядом на него.

Понимание приобретается, как я уже сказал, от совокупности намеренно узнанных сведений и личных переживаний, а знание – это только автоматическое в известной последовательности запоминание слов.

Кроме того, что невозможно, даже при всем желании своем, передать другому свое внутреннее, от времени и благодаря сказанным условиям образовавшееся понимание, существует еще, как я недавно вместе с другими братьями нашей обители установил, и такой закон, что качественность воспринимаемого в момент передачи чего-либо другим зависит, как для знания, так и для понимания, от качественности образовавшихся данных этого говорящего.

Для приблизительного понимания только что мною сказанного я приведу вам для примера как раз тот факт, из-за которого у нас и возникло намерение исследовать и в результате выяснить себе такой существующий закон.

Надо сказать, что у нас в братстве есть два очень старых брата: одного зовут брат Ахл, а другого – брат Сез.

Эти братья добровольно взяли на себя обязанность периодически посещать все монастыри нашего братства и объяснять разные аспекты Сущности Божества.

У нашего братства имеются четыре монастыря: один из них – наш, второй – в долинах Памира, третий – в Тибете, а четвертый – в Индии. Вот эти братья Ахл и Сез постоянно ходят или ездят по этим монастырям и проповедуют словом.

У нас они бывают раз или два в год.

Приход этих братьев в нашу обитель считается у нас самым большим событием.

В те дни, когда тот или другой здесь, у каждого из нас душа переживает чисто райские наслаждения и умиления.

Речи этих двух братьев, хотя оба почти в равной степени люди святые и говорят об одних и тех же истинах, производят разное действие как на всех наших братьев, так, в частности, и на меня.

Когда говорит брат Сез – это, действительно, как пение райской птицы; от сказанного им совсем, так сказать, «выворачивается-нутро», становишься как бы зачарованным.

Его речь «журчит» как речка, и ничего больше в жизни не хочется, как только слышать голос брата Сеза.

А когда говорит брат Ахл, его речь в это самое время производит действие почти обратное; он говорит плохо, невнятно – очевидно, от старости; никто не знает, сколько ему лет. Брат Сез тоже очень стар – говорят, ему под 300 лет, но он еще бодрый старик, а у брата Ахла уже заметна старческая слабость.

Насколько речь брата Сеза производит сильное впечатление, настолько это впечатление постепенно как бы улечучивается, и в конце концов у слышавшего ее решительно ничего не остается.

Речь же брата Ахла хотя вначале почти не производит впечатления, зато после самая суть его речи с каждым днем все более и более принимает как бы определенную форму и всецело вливается в сердце и остается там навсегда.

Когда мы проконстатировали это и начали со всех сторон выяснять, почему именно это так, то в результате пришли к единогласному заключению, что речи брата Сеза исходят только от его ума и потому действуют на наш ум, а речи брата Ахла исходят от его бытия и действуют на наше бытие.

Да, профессор, знание и понимание – две вещи совершенно разные. К бытию может привести только понимание, а знанием является имеющееся в нем проходящее наличие: новое знание вытесняет старое, и в результате получается как бы переливание из пустого в порожнее.

Надо стремиться понимать; только это может привести к нашему Господу Богу.

А чтобы мочь понимать происходящие вокруг нас закономерные и незаконномерные явления природы, надо, во-первых, сознательно воспринимать и ассимилировать множество сведений, касающихся как объективной истины, так и событий, происходивших в действительности у нас же на земле в прошлом, а во-вторых, надо быть носителем множества результатов от всяких вольных и невольных переживаний.

Мы с патером Джиованни имели еще много подобных, никогда не забываемых бесед.

Из множества экстраординарных, никогда в голову современным людям не приходящих вопросов, возбужденных и разъясненных тогда нам этим редким, какого в современной жизни почти не встретишь, человеком – патером Джиованни, одно его разъяснение, последовавшее за данным профессором Скрыдловым в предпоследний день нашего пребывания в этом монастыре вопросом, по глубине вложенных в него мыслей и возможности его значения для современных людей уже достигших ответственного возраста, представляет громадный интерес для всех.

Вопрос профессора Скрыдлова, вырвавшийся у него как бы из глубины души, был задан им после того, как патер Джиованни в разговоре с нами к слову сказал, что, прежде чем рассчитывать попасть под закономерные воздействия и влияния Высших Сил, абсолютно необходимо иметь душу, которую возможно приобрести только вольными и невольными переживаниями и намеренно приобретаемыми сведениями о событиях, имевших место в прошлом в действительности, и потом очень проникновенно добавил, что это, в свою очередь, возможно почти исключительно в молодости, когда получаемые от Великой Природы определенные данные еще не израсходованы на ненужные фантастические цели, кажущиеся благими только благодаря ненормально установившимся условиям жизни людей.

Профессор Скрыдлов после этих слов глубоко вздохнул и с явным отчаянием воскликнул:

– Что же теперь нам делать?! И как дальше жить?!

Вот на такое восклицание Скрыдлова тогда патер Джиованни, немного помолчав, и высказал те замечательные мысли, которые я считаю необходимым воспроизвести по возможности дословно.

Я их, как относящиеся к вопросу о душе, т. е. третьей самостоятельно оформливающейся части общего наличия человека, помещу в главе под наименованием «Божественное-тело-человека-и-закономерные-потребности-и-возможные-проявляемости-его», тоже только в третьей серии моих писаний, в дополнение к тем двум главам этой же серии, которые я уже решил и обещал посвятить – одну тому, что было сказано устами почтенного персидского дервиша в смысле указаний и советов относительно тела, т. е. первой самостоятельно оформливающейся в общем наличии человека части, а вторую – тому, что было разъяснено устами старца «ез-езунавуран» относительно второй самостоятельно оформливающейся части человека, а именно – его духа.

За все время нашего пребывания в том монастыре, кроме бесед с патером Джиованни, мы неоднократно обменивались мнениями и с другими адептами этого братства, с которыми дружески сошлись благодаря содействию все того же взявшего нас под свое отеческое покровительство патера Джиованни.

В общем в той обители мы пробыли около полугода и покинули ее не потому, что нам нельзя было больше оставаться там или что нам этого хотелось, а только потому, что совокупность всех воспринятых нами впечатлений в конце концов настолько переполнила нас, что казалось – еще немного, и мы лишимся рассудка.

Наше пребывание в этой обители дало нам так много ответов на интересовавшие нас как психологические, так и археологические вопросы, что, как нам тогда казалось, искать нам больше будет нечего – по крайней мере, в течение долгого времени, – и мы не продолжали дальше намеченный нами путь, а вернулись в Россию почти по той же дороге, что и пришли.

Вернувшись вместе опять в Тифлис, я расстался с профессором; он по Военно-Грузинской дороге отправился в Пятигорск к младшей дочери, а я поехал в Александрополь к родным.

После этого я с профессором Скрыдловым не встречался довольно продолжительное время, но переписывались мы постоянно.

В последний раз я его видел на втором году мировой войны в Пятигорске, где он гостил у дочери.

Я никогда не забуду того последнего разговора, который мы имели с ним, сидя на верхушке горы Бештау.

Я в это время жил в Ессентуках, и раз, когда мы встретились с ним в Кисловодске, он предложил мне вспомнить старину и когда-нибудь подняться на гору Бештау, находящуюся недалеко от Пятигорска.

По прошествии около двух недель после этой встречи мы действительно в одно прекрасное утро, взяв с собою провизию, отправились из Пятигорска пешком к подошве этой горы и начали подъем с ее трудной стороны, по скалам, именно со стороны известного монастыря, который находится у подошвы этой горы.

Этот подъем, хотя и считался всеми выдавшими его людьми очень трудным – и действительно был не из легких, – но для нас обоих, после тех подъемов на горы, по которым нам приходилось карабкаться и сползать во время наших прежних многочисленных совместных путешествий по дебрям Центральной Азии, представлялся, как говорится, «детской-забавой». Несмотря на это, мы от этого подъема все же испытали большое удовольствие и почувствовали себя после однообразной городской жизни, хотя и ненадолго, в своей, так сказать, настоящей сфере, уже сделавшейся для нас почти природной.

Когда мы достигли вершины горы, перед нашими глазами, несмотря на сравнительно небольшую ее высоту, предстала, благодаря ее месторасположению в отношении окружающих пространств, панорама действительно необычайной красоты и простора.

Вдали на юге величественно выступали снежные вершины Эльбруса с большой цепью Кавказских гор, вырисовывавшихся по обеим его сторонам.

Под нами виднелись, как в миниатюре, многочисленные поселения,

города и деревни почти всего района Минеральных Вод, а сейчас же внизу с северной стороны выступали из глубины разные части Железноводска.

Кругом царила тишина.

На горе никого не было и никого не ожидалось, так как обычная легкая дорога, ведущая сюда с северной стороны, была видна на много километров как на ладони, и на ней никого не было видно.

А что касается дороги с южной стороны, по которой мы пришли, то редко встречаются смельчаки, поднимающиеся по ней.

На верхушке горы стояла будка – очевидно, для продажи пива и чая, но в этот день в ней тоже никого не было.

Мы сели на один из выступов верхушки горы и стали закусывать.

Каждый из нас был очарован величием природы и думал свои думы.

Вдруг мой взгляд остановился на лице профессора, и я увидел, что из глаз его текут слезы.

– Что с вами, старина? – спросил я его.

– Ничего, – ответил он, вытирая глаза, и после добавил: – Вообще, за последние два-три года я, в смысле невладения автоматическими проявлениями моего подсознания и инстинкта, превратился почти в женщину-истеричку.

Такое явление, как сейчас, со мною за это время происходило уже много раз.

Очень трудно объяснить, что во мне творится, когда я вижу или слышу что-либо величественное, не подлежащее сомнению в том, что оно вытекло из осуществлений нашего создателя творца, но у меня всегда при этом сами собой текут слезы. Я плачу, т. е. плачется тогда не от горя, нет, а как бы от умиления; я стал таким постепенно после встречи с патером Джиованни, помнишь, которого мы, к моему обывательскому несчастью, встретили вместе в Кафиристане.

После этой встречи весь мой как внутренний, так и внешний мир стал для меня совершенно другим.

В моих убежденных в течение всей моей жизни понятиях произошла сама по себе как бы переоценка всех ценностей.

До этой встречи я был человеком, всецело поглощенным моими личными собственными интересами и удовольствиями, а также интересами и удовольствиями моих детей.

Я всегда был занят думами, как бы лучше удовлетворить свои потребности и потребности детей.

Раньше, можно сказать, всем моим существом владел эгоизм, все мои проявления и переживания вытекали из моего тщеславия; встреча с

патером Джиованни все это убила, и с тех пор постепенно возникло во мне то «нечто», которое и привело всего меня к тому несомненному убеждению, что кроме житейской суеты есть «что-то-другое», что, во-первых, и должно являться целью и идеалом всякого более или менее мыслящего человека, а во-вторых – что именно только это «другое» может сделать человека действительно счастливым и дать ему что-либо реальное, а не то фантастическое, каким «добром» он в обычной жизни всегда и во всём заполнен.

Следующая глава была включена в первое издание книги «Встречи с замечательными людьми» с целью осветить неизвестный аспект жизни Гюрджиева, а именно его борьбу с материальными трудностями, сопровождавшими работу по осуществлению его дела.

## Материальный вопрос

8 апреля 1924 года, в день открытия отделения Института Гармонического Развития Человека в Нью-Йорке, друзьями и некоторыми французскими учениками был устроен Гюрджиеву ужин в одном из русских ресторанов.

После ужина большинство присутствующих во главе с Гюрджиевым собрались на квартире Мисс Р. на 49 стрит. Здесь, за поданным нам любезной хозяйкой кофе с принесенным откуда-то доктором Б. ликером наша беседа затянулась почти на всю ночь.

Г-н Гюрджиев говорил в основном через переводчиков – г-на Лильянци и мадам Версилловскую, – отвечая на всевозможные задаваемые нами ему вопросы главным образом на философские темы.

Во время краткого перерыва, когда мы ели арбуз – который прибыл из Буэнос-Айреса и был большой редкостью в то время года даже в Нью-Йорке, – доктор Б., владелец большого модного санаториума, имевший репутацию весьма практичного человека, внезапно повернулся к г-ну Гюрджиеву со следующим вопросом:

– Скажите, пожалуйста, господин Гюрджиев, на какие средства существует Ваш Институт и какие приблизительно его обороты?

Последовавший за этим ответ Гюрджиева, к нашему удивлению, случайно вылился в длинный рассказ.

Поскольку рассказ этот раскрыл неожиданную сторону борьбы, которую он вел на протяжении всей своей жизни, я и решил его изложить, ничего в нем не меняя, а так, как было говорено.

Сделанная мною запись рассказа сверена мной с записями г-на Ф., стенографировавшего все беседы и лекции Гюрджиева в Америке, а также записана с помощью других присутствующих, слушавших с таким интересом и так внимательно, что почти каждый из них запомнил рассказ во всех подробностях.

Я надеюсь, что сделанная мною запись рассказа не противоречит желаниям г-на Гюрджиева, который за свою бытность в Америке даже специально поручал стенографически записывать его лекции и разговоры, чтобы, как он говорит, экономить ему время при ответах на часто повторяющиеся, все одни и те же вопросы со стороны новых слушателей.

Г-н Гюрджиев свой рассказ начал так:

– Заданный Вами вопрос, уважаемый доктор, всегда очень

интересовал многих более или менее знакомых со мной людей, но я, не желая посвящать кого бы то ни было в это дело, никогда на него не отвечал или отговаривался шутками.

Вокруг этого вопроса создалась даже масса комических легенд, которые явно показывают вопиющий идиотизм их создателей и которые все больше дополняются новыми фантастическими подробностями по мере того, как они распространяются повсеместно среди таких же паразитов и бездельников обоих полов. Например: что я получаю деньги от какого-то оккультного центра в Индии, или что Институт поддерживается братством черной магии или содержится легендарным грузинским князем Мухранским, или что мне, между прочим, также известен секрет философского камня, и потому деньги, сколько угодно, я делаю алхимическим способом, или, как в последнее время много говорили, средства отпускаются мне большевиками и многое другое в том же духе.

Действительно, до сих пор даже самые близкие мне люди точно не знают, откуда брались и берутся деньги на эти колоссальные расходы, которые я несу вот уже много лет.

Я не находил нужным серьезно говорить об этом вопросе, т. е. о денежной части Института, потому что у меня не было никаких иллюзий относительно посторонней помощи, и разговоры об этом вопросе казались мне напрасной тратой времени или, как говорится, переливанием из пустого в порожнее.

Но сегодня на этот ваш вопрос, который мне так часто задавали и который успел уже мне порядком надоесть, я желаю ответить, по той или иной причине, не то чтобы шутя, но более искренне.

Мое желание сегодня ответить несколько серьезно является, как мне кажется – и я почти в этом уверен, – результатом того, что, став волею судеб (или скорее из-за глупости власть-имущих в России) бедным как церковная мышь, я принял решение приехать в эту «долларо-урожайную-страну», и здесь, вдыхая воздух, насыщенный вибрациями людей, которые мастерски сеют и пожинают эти доллары, я, как чистокровная охотничья борзая, напал на след верной и большой добычи, и я эту возможность не упущу.

И так как я сейчас сижу среди вас – людей, раздобревших на так называемом долларовом жире – и чувствую себя возбужденным от автоматического поглощения этих благотворных эманаций, я намерен этим своим ответом, так сказать, «состричь» немного с некоторых из вас.

Итак, в приятных условиях, предоставленных нам хозяйкой с гостеприимством, редким в наши дни, я воспользуюсь этими счастливыми

обстоятельствами для мобилизации всех возможностей для деятельности моего мозга, а также моей «говорящей-машины» и ответу на этот, опять заданный мне сегодня вопрос таким образом, что в каждом из вас должно зародиться подозрение, что мой карман является сам по себе благодатной почвой для посева долларовых семян и что, прорастая там, эти доллары приобретают свойство приносить их сеятелям то, что может стать, в объективном смысле, настоящим счастьем их жизни.

Итак, мои дорогие, пока еще безусловно уважаемые доллар-имущие!..

Еще задолго до того, как я впервые начал осуществление на практике моих идей и планов Института, я разработал их всесторонне, и конечно также и материальную сторону ее я тщательно обдумал, хотя и считал ее не главной, но тем не менее очень важной и одной из наиболее трудных.

При осуществлении этих планов ожидалась масса препятствий, находившихся в связи с психологическими идеями, которые должны были проводиться в жизнь и на основании которых должно было базироваться это небывалое до сегодняшнего дня учреждение. Поэтому необходимо было, хотя в материальном отношении, быть свободным, чтобы иметь больше шансов для их преодоления.

К тому же еще тогда опыт мне показывал, что богатые люди этими вопросами так серьезно не интересуются, чтобы поддержать это дело, те же, которые интересуются, при всем своем желании многого в этом отношении сделать не смогут, так как на это нужны большие деньги, а потому для осуществления моих планов полностью, как я их себе намечал, прежде всего надо было с этой стороны обеспечить себя и только потом начать думать о выполнении психологических задач.

Вот почему я с определенного времени поставил себе задачу создать нужный капитал и стал отдавать больше времени, чем делал это раньше, зарабатыванию денег.

То, что я сейчас сказал, должно, по всей вероятности, возбудить полное недоумение среди большинства из вас, американцев, которые в настоящее время считаются повсеместно превосходными дельцами. Теперь вы, наверное, спросите, как это я мог – сказано-сделано – заработать такие большие деньги, и, следовательно, вы наверное получили впечатление некоторого куражения с моей стороны.

Да, действительно, это звучит странно.

Чтобы вы могли представить себе, хотя бы приблизительно, почему и как я это мог сделать и откуда у меня была такая уверенность, я должен вам рассказать кое-что издалека. Я должен сказать, что обстоятельства моей жизни сложились так, что еще до того, как я посвятил себя составлению

капитала, я много раз занимался коммерческими и другими делами, и всеми, кто имел со мной дело в этой сфере, считался большим дельцом.

И более того, я должен вам рассказать кое-что о моем воспитании в период детства, которое, с точки зрения приобретенного мной опыта, как можно более соответствует идеалу, который оформился во мне касательно воспитания, благодаря чему я мог ранее – и, возможно, если бы была необходимость, даже еще сейчас – обставить любого дельца и, возможно, даже вас, американцев.

Рассказать вам о некоторых деталях моего воспитания будет особенно уместно, так как мы собрались сегодня, чтобы отпраздновать открытие учреждения, которое имеет основной целью правильное, гармоническое воспитание человека, тем более что оно базируется на экспериментальных данных, собранных в течение многих лет и тщательно проверенных мною – именно тем человеком, который посвятил почти всю свою личную жизнь изучению сущностного вопроса воспитания, ставшего таким болезненным в настоящее время, и который, воспитанный людьми с нормально развитой совестью, стал способен всегда, в любых обстоятельствах сохранять беспристрастность.

Самым сильным намеренным влиянием, оказанным на меня, было влияние моего отца, у которого был свой особый взгляд на воспитание.

Я мог бы написать целую книгу о всех прямых и косвенных методах моего отца, которые вытекли из его оригинальных взглядов на воспитание.

Как только появились во мне признаки более или менее правильного понимания, он начал, между прочим, рассказывать мне всевозможные необыкновенные сказки, которые непременно приводили к серии сказок о плотнике, хромом Мустафе, таком ловкаче, который умел делать все и раз даже сделал летающее кресло.

Таким образом и другими «настойчивыми-процедурами» мой отец воспитал во мне, наряду с желанием быть похожим на этого плотника-ловкача, неудержимую потребность всегда мастерить что-нибудь новое. Поэтому все мои детские игры, даже самые обыкновенные, окрашивались такими мечтами, что я был человеком, который все делает не так, как другие, а своим особенным способом.

Эта склонность, хотя и не совсем оформившаяся, которую мой отец косвенно привил моей натуре с раннего детства, позже, в юношеские годы, когда я попал под руководство моего первого наставника, получила более определенную форму, так как бывшие у меня до того наклонности случайно совпали в отдельных аспектах с его идеями воспитания, и я продолжал, вдобавок к моим школьным обязательствам, заниматься

разными работами под его личным руководством.

Самый главный прием воспитания моего первого наставника заключался в следующем: как только он замечал, что я приобретал определенную ловкость в каком-то деле и оно начинало мне нравиться, он немедленно заставлял меня бросить его и приняться за другое.

Как я понял гораздо позже, целью его было не то, чтобы я обучился всяким ремеслам, а чтобы я развил в себе способность преодолевать трудности, которые представляет всякая новая работа. Действительно, с этого времени каждое дело для меня имело смысл и интерес не само по себе, а постольку, поскольку я его не знал и не мог делать.

Короче говоря, благодаря их оригинальным взглядам на воспитание, эти два человека, которые сознательно или даже бессознательно – в данном случае это неважно – взяли на себя мое подготовление к ответственному возрасту, зародили в моей натуре определенное субъективное качество, которое развивалось постепенно в течение моей жизни и в конце концов зафиксировалось в форме потребности часто менять свое дело. В результате я приобрел, пусть даже автоматически, теоретические и практические способности заниматься различными ремеслами и коммерческими предприятиями, и мое понимание увеличивалось, так как я постоянно приобретал широкий кругозор и опыт в разных областях знания.

Я даже добавлю, что, если сегодня я считаюсь в разных странах человеком глубокой компетентности во многих областях знания, я этим обязан, в частности, этому моему раннему воспитанию.

Благодаря находчивости, широте взглядов и, прежде всего, здравому смыслу, которые с самого раннего возраста были развиты во мне правильным воспитанием, я мог схватывать из всей информации, которую я приобрел намеренно или случайно в последующей моей жизни, самую суть каждой области знания, а не просто накапливать пустой хлам, который является неизбежным результатом, среди современных людей, повсеместного использования этого их известного метода воспитания, который называется зазубриванием.

Таким образом, с самого раннего возраста я уже был хорошо оснащен и способен зарабатывать достаточно денег, чтобы обеспечивать мои насущные потребности. Тем не менее, так как я еще совсем молодым заинтересовался этими абстрактными вопросами, которые вели к пониманию смысла и цели жизни, и этому посвятил все свое время и внимание, я не направил мои способности к зарабатыванию денег на эту самоудовлетворяющую цель существования, на которой, благодаря ненормальному воспитанию, сосредоточены все сознательные и

инстинктивные стремления современных людей, и в особенности вас, американцев, но только время от времени обращался к зарабатыванию денег, и только в той мере, насколько это было необходимо для моего обыденного существования и для выполнения необходимого, чтобы достичь цель, которую я перед собой поставил.

Происходя из небогатой семьи и не будучи материально обеспеченным, я был вынужден зарабатывать эти действительно презренные и злостные деньги для неизбежных потребностей. Но зарабатывание денег никогда не отнимало у меня много времени, так как благодаря правильному воспитанию я выработал в себе находчивость и здравый смысл и во всех житейских обстоятельствах уже был, что называется, стреляный воробей.

Характерной иллюстрацией этой сноровки может служить случай, как я однажды, ради небольшого пари, открыл экспромтом очень оригинальную мастерскую. Хотя такие подробности удлинят мой рассказ, но я думаю, что благодаря этому чудесному ликеру – он чудесный, между прочим, потому что он был приготовлен не в обычных установленных на земле условиях, а на море, на старой барже вблизи берегов Америки, – это покажется вам нескучным.

Это было как раз перед нашей последней большой экспедицией через Памир в Индию, организованной нашим содружеством «искатели-истины», членом которого я был с самого первого дня его основания.

Еще за год или два членами нашего содружества была решена эта экспедиция и сборным пунктом был назначен Чарджуй в Закаспийской области, где все будущие участники экспедиции должны были собраться ко 2 января 1900 года и откуда мы должны были двинуться сперва вверх по Аму-Дарье.

Так как до этого срока оставалось порядочно времени, но не столько, чтобы уехать далеко, я, будучи в это время в Александрополе, куда время от времени наезжал пожить немного с родными, пожив там свою порцию, не уехал далеко, как обыкновенно, а остался на Кавказе и стал держаться между Александрополем и Баку.

В Баку в это время существовало общество, состоявшее преимущественно из персиян, изучавшее древнюю магию. Я долгое время состоял свободным членом этого общества и часто бывал на их собраниях.

События, которые привели к случаю, о котором я собираюсь вам рассказать, случились как раз в Баку.

Однажды в воскресенье я пошел на базар.

Надо сказать, что хождение по восточным базарам всегда было моей

слабостью: когда я бывал в местах, где бывают базары, я обязательно шел туда и очень любил рыться в разном хламе в надежде найти что-нибудь особенное.

Купив на этот раз какую-то старинную вышивку, я, уже при выходе из самой толкучки, увидел прилично одетую, но очень печальную на вид молодую женщину, что-то продававшую.

По всему было видно, что это не профессиональная торговка и, наверное, продает свои вещи из нужды. Я подошел и увидел, что она продает фонограф Эдисона. И вот, печальное выражение глаз этой женщины вызвало во мне жалость, и потому, хотя денег у меня было не ахти сколько, я недолго думая купил эту совершенно ненужную мне вещь и потащил эту тяжесть, машину со всеми ее принадлежностями, в караван-сарай, где я остановился. При разборе в ящике оказалась масса валиков, большей частью поломанных; из уцелевших валиков только часть была записана, часть же чистая.

Я прожил в Баку еще несколько дней, и, так как мои деньги подходили к концу, надо было подумать о их зарабатывании.

Одним серым утром я сидел на постели еще не одетый, раздумывая, за что бы взяться, когда случайно попавшийся мне на глаза фонограф навел меня на мысль использовать его, и я немедленно составил себе план действий.

Я ликвидировал все свои дела и в тот же день сел на пароход и через сутки был в Закаспийском Крае. Через пять дней, приехав в Красноводск, я пустил свой фонограф в ход делать деньги.

Надо сказать, что тогда фонограф еще не был там известен, и тамошние жители впервые увидели это чудо.

Я уже сказал, что при нем имелись и чистые валики. Найдя текинца, уличного музыканта и певца, я заставил его спеть и сыграть несколько любимых местным населением вещей, а на остальные валики я рассказал ряд пикантных анекдотов на туркменском языке.

Затем, приделав еще две слуховые трубки к имевшимся четырем – помните, первыми выпущенными в продажу были фонографы со слуховыми трубками, – я отправился с фонографом на базар, где открыл свою оригинальную лавочку.

Я назначил плату 5 копеек с трубки, и вы поймете, каков был результат, если я скажу, что все время, особенно в базарные дни, почти не было ни одной минуты, чтобы какая-нибудь трубка была свободной. Этими пяточками к концу дня собиралось столько, сколько, наверное, не делала оборота самая большая тамошняя фирма.

После Красноводска я поехал в Кизил-Арват, откуда меня с моей машиной даже возили в аулы к богатым туркменам, и за такие гастроли я получал порядочное количество таньги и раз даже два очень хороших текинских ковра.

Заработав и здесь хороший куш, я сел в поезд, чтобы с этой же коммерцией поехать в Асхабад, но в поезде случайно встретил одного из членов нашего содружества, с которым я заключил пари, и так моя фонографическая карьера неожиданно закончилась.

Встретившийся товарищ была неподражаемая бесстрашная г-жа Витвицкая, всегда ходившая в мужской одежде, один из постоянных участников всех наших трудных экспедиций по разным дебрям – в сердце Азии, Африки и даже Австралии и соседних с ней островов.

Она тоже должна была участвовать в предполагаемой экспедиции и, живя последнее время в Варшаве и будучи свободной, она сначала поехала в Андижан, погостить это время у сестры, бывшей замужем там за одним представителем фирмы «Познанский», и, кстати, отдохнуть в ожидании срока сбора в Чарджуе.

Дорогой мы с ней много разговаривали, и между прочим я ей рассказал и о своей последней профессии.

Сейчас не помню, как и о чем у нас с ней завязался спор, но только то, что наш спор закончился пари, по которому я должен был известным образом в определенный срок заработать известную сумму.

Это пари и ее так серьезно заинтриговало, что она решила не только остаться со мной, чтобы увидеть, как я выполню пари, но даже взялась мне помогать и поэтому не поехала в Андижан, а вместе со мной слезла в Асхабаде.

Признаться, эта задача, которую я на себя взял, и меня так заинтересовала, что во мне разгорелся задор: во что бы то ни стало выполнить ее блестяще.

Уже в поезде я начал готовиться к своей задаче и тут же составил следующее объявление:

*ПЕРЕДВИЖНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ проездом остановилась здесь на очень короткое время, и потому торопитесь делать заказы и приносить все, что у вас имеется для починки и переделки.*

Починяем швейные и пишущие машины, велосипеды, граммофоны, музыкальные ящики, электрические, фотографические, медицинские и

другие аппараты, газовые и керосиновые лампы, стенные часы, всякие музыкальные инструменты: гармонии, гитары, скрипки, тари; замки и оружия всякого рода.

Починяем, переделываем, оббиваем и полируем всякую мебель как у нас в мастерской, так и на дому.

Чиним, полируем и настраиваем пианино, рояли и фисгармонии.

Также устанавливаем и чиним электрическое освещение, звонки и телефоны.

Чиним и обтягиваем новой покрывной зонты.

Починка детских игрушек, кукол и всяких резиновых вещей.

Моем, чистим и починяем ковры, шали, меха и др.

Выводим всякие пятна.

Реставрируем картины, фарфор и всякую посуду.

При мастерской имеется хорошо оборудованный гальванопластический кабинет для золочения, серебрения, бронзирования, никелировки и оксидирования.

Лудим все. Лужение и никелирование самоваров в 24 часа.

Принимаем заказы на всевозможные вышивки гладью, крестом, синелью, перьями, бисером и гарусом.

Выжигаем по дереву, печатаем узоры по коже и ткани.

Мастерская принимает заказы на гипсовые и алебастровые изделия: статуэтки, фигурки домашних и диких животных, фрукты и др., а также снимает посмертные маски.

Принимаем заказы на искусственные цветы из воска, бархата, хлеба и цветной бумаги для букетов и венков, на шляпы и бутоньерки.

Принимаем заказы на каллиграфию, печать и иллюстрацию визиток, поздравлений и приглашений.

Принимаем заказы на корсеты и бандажи; переделываем из старых в новые.

Дамские шляпы по последним парижским моделям.

И т. д., и т. д.

Приехав в Асхабад, устроившись с квартирой и взяв от полиции разрешение на печатание и раздачу объявлений, я на другой же день снял в центре города помещение под мастерскую, состоявшее из магазина, выходившего на улицу, и сзади него двух больших комнат; кроме того, имелось нечто вроде сарая и маленький дворик.

Купив самые необходимые инструменты, на скорую руку кустарно соорудив батарею Бунзена и приспособив из старых лоханей несколько

ванн для гальванопластики, я повесил над входом большую вывеску, написанную красными буквами на белом полотне:

*АМЕРИКАНСКАЯ ПЕРЕЕЗДНАЯ МАСТЕРСКАЯ*

здесь на очень короткое время  
делает, переделывает, починяет все.

И на другой день, когда объявления были готовы, мы наклеили их по стенам с помощью расклейщика, а остальное роздали по рукам.

**ТУТ-ТО И НАЧАЛОСЬ!**

С первых же дней начали асхабадцы приносить свои вещи на починку.

Господи, чего только не приносили в это время – многое, до того не только не виданное, но и не слыханное мною.

Словом, все, начиная от машинок для выдергивания седых волос и машинок для очистки вишен от косточек для варенья, кончая мельницами для молки извести, чтобы посыпать потеющие места на теле, и специального утюга для глажения париков и т. п.

Надо знать тамошние местные условия, чтобы лучше представить себе картину.

Эта область Закаспия и прилегающая к ней часть Туркестана стали заселяться, собственно, только за последние несколько десятилетий перед тем, и новые города образовались преимущественно по соседству со старыми азиатскими, так что в настоящее время почти все города этих областей состоят из двух: старого азиатского и рядом с ним нового русского, живущих каждый своей самостоятельной жизнью.

Население этих новых городов состоит из армян, евреев, грузин, персов и др., но главным образом – русских, преимущественно чиновников или военных в отставке, которые закончили службу в этом регионе.

Здесь, благодаря природным богатствам края и честности еще не испорченного современной цивилизацией местного населения, этот пришлый люд стал быстро богатеть, но, будучи до этого невежественным, он и здесь, при отсутствии какого бы то ни было просветительного влияния со стороны тоже невежественного правительства, остался таким же, и наряду с начавшейся, сильно развивавшейся торговлей, которая принесла им материальное благополучие, совершенно отсутствовало какое бы то ни было развитие интеллектуальной или технической сторон жизни.

Европейская, быстро развивавшаяся за последнее время цивилизация этих мест почти не касалась, а доходила туда только урывками через газеты и журналы, и то в искаженном виде, благодаря фантастическим

преувеличениям журналистов, которые вообще – и в особенности тогда в России – совершенно неспособны иметь даже приблизительное понимание реальной сути вещей, о которых они пишут.

Эта случайно разбогатевшая публика, благодаря свойству всех выскочек: подражать всему «культурному» и «модному», чем в данном случае было европейское, – черпая сведения об этой культуре из книг и русских газет, в свою очередь являвшихся исковерканным подражанием этой культуре, для наблюдателя представляла подчас комическую и вместе с тем печальную карикатуру.

Итак, при внешнем материальном благополучии и отсутствии настоящей внутренней культуры, тамошние обыватели постоянно играли в цивилизованных людей.

Нигде так не следили за модой, как в этих краях, все считали себя обязанными не отставать от века ни в чем и потому приобретали и жадно выписывали всякие новые изобретения и все, что относилось к жизни культурного джентльмена – конечно, только то, что доходило по газетным объявлениям.

Зная эту слабость тамошней публики, все иностранные торговцы, особенно немцы, сбывали туда массу никуда не годных или скоро портившихся вещей. Комизм доходил до того, что вы могли встретить в числе рекламируемых предметов специальную особую машинку для зажигания обыкновенных спичек.

При выписке таким образом вещей, отчасти уже с самого начала негодных, представлявших, так сказать, только бутафорию или действительно скоро портившихся, и за отсутствием на местах каких бы то ни было технических мастерских, в каждой семье накоплялись вороха испорченных вещей.

Была еще другая причина, почему там оказалась такая масса вещей для починки. Уклад жизни на Востоке и, в частности, в России был таков, что все раз приобретенное сохранялось и не продавалось, даже по миновании надобности или при порче, да и некому было продавать; притом очень развита была привычка сохранять вещи, как память о чем-нибудь или о ком-нибудь.

Таким образом в каждом доме на чердаках или в сараях собиралась поразительная масса хлама, переходившего даже по наследству.

Узнав, что объявилась такая мастерская, где чинят все, что угодно, они поволокли ко мне черт знает что, в надежде воскресить и использовать давно бесполезно лежавшие вещи, как например: дедушкино кресло и бабушкины очки, и прадедушкину балалайку, и прабабушкины часы, и

несессер, подарок крестного папаши, и одеяла, под которыми спал архиерей, когда у них гостил, и звезду, пожалованную отцу Шахом персидским и т. д.

Все это мною чинилось.

Во всяком случае, ни разу не было, чтобы какая-нибудь вещь не была принята или возвращена непочиненной.

Даже если за починку какой-нибудь вещи предлагали ничтожную, не оправдывавшую починки сумму, я брался за исправление, если эта вещь была незнакомой и мной еще не чиненной, интересуясь уже не деньгами, а самой трудностью или незнакомством с этого рода работой.

Наряду с действительно испорченными никудашными вещами стали приносить в починку массу новых вещей, не нуждавшихся в починке, а не действовавших только по невежеству и неумению обращаться с вещью при отсутствии примитивных технических познаний, словом, по дурости.

В это время был разгар быстрого распространения повсюду новых технических изобретений, как то: швейных машин, велосипедов, пишущих машин. Все это там с увлечением выписывалось и покупалось, но при первой порче, за отсутствием на местах мастерских и техников, вещь переставала служить.

Я вам расскажу некоторые из многих характерных примеров такого невежества и наивности, которыми я, конечно, не упускал возможности воспользоваться, и без всяких угрызений совести.

Как сейчас помню одного богатого толстого армянина, который раз, пыхтя и обливаясь потом, в сопровождении дочери, притащил мне «чинить» свою швейную машину, которую он, по его словам, купил недавно в бытность свою на Нижегородской ярмарке в приданое дочери.

Машина эта вначале казалась кладом, просто не налюбоваться – так чисто и скоро шила, – как вдруг ни с того ни с сего, к великому его огорчению, как он выразился, «пошла-задним-ходом».

Осмотрев машину, я нашел ее в совершенной исправности.

Надо сказать, что некоторые системы швейных машин рядом с рычагом, регулирующим шов, имеют другой такой же, который при перестановке меняет направление подавателя, и таким образом те части машины, которые подают материю вперед, при перестановке рычага двигаются в обратном направлении. Очевидно, кто-нибудь, нечаянно дотронувшись, сдвинул рычаг, и теперь, вместо того чтобы материя подавалась вперед, она тянулась назад.

Я сразу увидел, что исправить машину значило только передвинуть рычаг на старое место. Как вы думаете, сделал ли я это сразу? Нет. Видя в

нем пройдоху-армянина и узнав из его слов, что он торговец каракулевыми шкурками, я, зная этих типов, был уверен, что он не одного текинца или бухарца – которые доверчивы как дети – провел, чтобы набить себе карманы, и я решил отплатить ему той же монетой и о причине «порчи» машины понес ему такую ахинею, что чуть ли не несколько шестерников надо было переменить, чтобы она стала опять шить, конечно, при этом ругая на чем свет стоит современных недобросовестных фабрикантов-заводчиков.

Словом, я содрал с него 12 рублей 50 копеек, обещав исправить машину в три дня, но, конечно, еще он уйти не успел, как она уже была исправлена, занумерована и поставлена с готовыми вещами.

Вот другой случай. Приходит ко мне какой-то офицер и с очень важным видом говорит мне: «Ступай в Канцелярию начальника области и скажи старшему писарю, что я приказал, – кстати сказать, тогда русские офицеры иначе ни с кем не говорили, как приказывая, – показать тебе пишущие машины, а ты, посмотревши, скажешь мне, в чем дело».

И ушел, не сказав ни кто он, ни что он.

Повелительный тон его меня и удивил, и взбесил. Я решил пойти, главным образом, чтобы узнать, что это за птица, и, может быть, найти способ когда-нибудь подложить ему свинью, что я, признаться, тогда очень любил делать, очень ядовито умея наказывать нахалов, и всегда под личиной наивности и невинности.

В тот же день, придя в канцелярию и найдя старшего писаря, я объяснил ему причину своего прихода.

Тут выяснилось, что ко мне приходил сам адъютант.

Пока я осматривал указанные мне писарем пишущие машины, которых оказалось три, словоохотливый писарь, уже ставший моим приятелем из-за предложенной ему папироски и рассказанного мною пикантного анекдота из офицерской жизни, успел объяснить мне следующее:

Машины эти, недавно полученные из Петербурга, вначале отлично работали, но потом одна, вслед вторая и третья стали постепенно одинаковым образом портиться, а именно останавливалась передача ленты, и, как ни старались и адъютант, и заведывающий хозяйством, и все остальные, никто ничем помочь не сумел, и вот уже три дня, как бумаги пишутся опять от руки.

За это время я уже успел осмотреть машины и понять, в чем дело.

Не знаю, как устроено у машин теперешних систем, но раньше в некоторых системах ленточные катушки двигались от давления пружины,

помещавшейся в задней нижней части машины в особой коробочке и заводившейся верчением этой коробочки.

Ввиду медленного движения катушек и порядочной длины пружины, завода хватало на долгое время, но все же время от времени его нужно было возобновлять.

И вот, очевидно, при получении машин пружины их были полностью заведены, но с течением времени завод кончился, и теперь их нужно было просто завести, чтобы они продолжали действовать по-прежнему.

Но при такой системе завода, т. е. без ключа или ручки, незнающему было трудно сообразить или догадаться.

Конечно, я писарям ничего этого не сказал, но, приняв их приглашение пообедать с ними и поев хороших казенных щей и каши, я поехал к себе на своем допотопном, без дутых шин велосипеде.

К вечеру ко мне вновь зашел адъютант и своим повелительным тоном спросил: «Ну что, разобрался? Почему эти новые машины отказываются работать?»

Задолго до этого я уже успел съесть собаку в искусстве играть роль. И вот, сделав на лице выражение, которое настоящие актеры зовут «почтительное-смирение-и-робкое-благоговение», в высокопарных технических выражениях я ему доказал совершенство этой системы машин во всех отношениях, за исключением одной их части, переделка которой хотя сложна и серьезна, но, к сожалению, необходима. Эту работу я оценил почти в четверть стоимости самой машины.

На другой день эти совершенно исправные машины были торжественно, чуть не целой командой во главе с тем же адъютантом принесены в мою мастерскую.

Я их, конечно, очень серьезно принял и заявил, что машины никак не могут быть готовы раньше десяти дней. Огорченный адъютант стал меня просить сделать поскорее, так как работа в канцелярии из-за них почти остановилась.

Наконец, я соглашаюсь поработать ночами и одну машину так и быть сдать послезавтра, но взамен прошу от него любезности приказать солдатам приносить остатки пищи со штабного котла для моих трех поросят (которых перед этим я случайно купил и поместил в своем двореке).

Через два дня одна машина была «готова», а остальные я обещал в конце недели.

Кроме благодарности и 18 рублей, полученных мною за починку каждой машины, солдаты ежедневно приносили корм моим пороссятам и

ухаживали за ними в продолжение трех месяцев, пока я оставался в Асхабаде и пока мои поросята не превратились в свиней.

Я, конечно, объяснил писарям, что нужно будет делать, когда пружина ослабнет, но в чем заключалась моя «починка» они, по-видимому, так и не поняли.

Подобные истории повторялись много раз и в Мерве, куда я позже перевел мастерскую и продолжил заниматься такими же работами еще два месяца.

Однажды ко мне приходит инспектор местной гимназии (или не помню, как называлось тамошнее училище) и просит починить электрическую машину для физических опытов.

Это была та избитая так называемая «статическая» машина, которая при вращении давала искры и которую в то время каждая школа почему-то почитала своим долгом иметь, и на своих так называемых уроках физики учителя важно и как бы священнодействуя производили на ней «опыты», т. е. крутили машину, а детей одного за другим заставляли дотронуться до шаров лейденских банок, и гримасы детей, вызываемые болью, приводили их в нескончаемый хохот, который эти педагоги считали «отлично-способствующим-пищеварению».

Итак, этот инспектор тоже выписал такую машину, получил ее недавно из Петербурга от немецкой фирмы «Сименс и Гальске» в разобранном виде, и хотя с помощью других учителей собрал ее по приложенному руководству, но при всем их старании они желаемой искры от нее добиться не могли, и в конце концов инспектор был принужден обратиться в мою мастерскую.

Я сразу увидел, что все исправно, за исключением того, что два диска, составляющие главную часть машины, чуть-чуть неправильно установлены один против другого. Нужно было просто, ослабив гайку оси, слегка передвинуть один из кругов, что я мог бы сделать в одну минуту. Но я заставил этого почтенного педагога, учившего других тому, чего не знал сам, четыре раза прийти в мастерскую, пока я «исправлял» его машину, и заплатить 10 рублей и 75 копеек за «заряд» заряженных лейденских банок.

Словом, такие случаи повторялись чуть не ежедневно за все время существования мастерской. Всегда идя навстречу беднякам, я не считал грехом пользоваться дуростью этих людей, незаслуженно, только в силу своего положения ставших местной интеллигенцией, а на самом деле по сущности интеллигентности стоявших намного ниже поработанного ими местного населения.

Но самым оригинальным, и вместе с тем выгодным, случайно в это

время оказалось корсетное дело.

Как раз в этот сезон в Париже корсетная мода резко изменилась: до того носили очень высокие корсеты, а тут стали носить совсем низкие.

Так как эта новая мода была уже известной по модным журналам, но сами корсеты по дальности этих мест в продаже еще отсутствовали, то многие женщины приносили свои старые корсеты: нельзя ли, дескать, из них как-нибудь сделать модные.

Благодаря этому корсетному делу я попал на золотую жилу. Это произошло следующим образом:

Один раз для корсета одной толстой еврейке, которой нужно было укоротить и расширить ввиду прогрессирующей талии владелицы, понадобился китовый ус. После долгих поисков, в одном магазине, в котором его тоже не оказалось, приказчик посоветовал мне просто купить целый корсет, вышедший из моды, так как наверное хозяин магазина продаст его по цене кости.

Я так и сделал, обратился к хозяину, но, пока я торговался с ним, у меня в голове созрел другой план, и я купил у него не один корсет, как я предполагал, а все имевшиеся в магазине 65 старомодных корсетов по 20 копеек вместо обычной цены в 4–5 рублей, и вслед за этим я поторопился закупить корсеты во всех магазинах Асхабада, платя даже по более низкой цене, так как всякий с радостью уступал, чтобы хоть что-нибудь выручить из этого уже вышедшего из моды и совершенно ненужного товара.

Не ограничившись этим, я на другой же день отправил старика-еврея, отца двух служивших у меня мальчиков, по всем городам прилегающей Средне-Азиатской железной дороги с точной инструкцией закупать старомодные корсеты, сам же с плоскогубцами и ножницами сел фабриковать модные корсеты.

Делалось это очень просто: отмечалась карандашом линия, где требовалось срезать, а именно сверху больше и чуть-чуть снизу; затем по этой линии плоскогубцами ломались косточки и ножницами срезывалась материя, а дальше работавшие у меня девочки, во главе с Витвицкой, отпоров тесемки с отрезанных концов, снова обшивали ими укороченные корсеты. Оставалось только продеть половину прежнего шнура, и был готов для продажи корсет «миньон» по последней парижской моде. Таким образом фабриковалось штук 100 корсетов в день.

Самый комизм получался в том, что владельцы магазинов, узнав про метаморфозу своих так дешево проданных корсетов, принуждены были, ввиду большого спроса, скрипя зубами покупать их у меня обратно, но уже не по 10–15 копеек, а по цене три с половиной рубля за корсет.

Представьте себе: таким образом мною было куплено и продано корсетов в городах Красноводск, Кизил-Арват, Асхабад, Мерв, Чарджуй, Бухара, Самарканд и Ташкент более шести тысяч.

Такой успех, не имеющий никакого соотношения с масштабами предприятия, стал возможен не только благодаря невежеству и наивности этого местного, так сказать, «пестрого» населения или даже моей хорошо развитой находчивости и моей приспособляемости ко всякого рода ситуациям, но главным образом из-за моего безжалостного отношения к этим слабостям, присутствующим во мне как в каждом, которые, через повторение, образуют в человеке то, что называется ленью.

Интересно заметить, что в этот период произошел процесс функционизации моего общего наличия процесс, необъяснимый с точки зрения обыкновенной науки и повторявшийся в течение моей жизни неоднократно. Этот процесс заключался в урегулировании темпов входящей и выходящей энергии, которое позволяло мне почти не спать неделями или даже месяцами и в то же время проявлять деятельность, которая не только не уменьшалась, но наоборот, ее интенсивность даже увеличивалась.

В последний раз, когда это состояние повторилось, я был так заинтересован этим явлением, что оно стало для меня, т. е. для самосознательных частей моего наличия, вопросом, по значению равным определенным другим вопросам, которые зародились во мне задолго до этого и разрешение которых стало с того времени целью и смыслом моей жизни.

Я даже намереваюсь после разрешения вопросов, связанных с основной программой Института, и когда у меня снова будет возможность посвятить половину моего времени моим субъективным интересам, первым делом выяснить этот вопрос.

Эта пока еще непонятная особенность общей функционизации моего организма может быть очень ясно увидена в ситуации, которая существовала в описываемый мной период.

Почти в течение целого дня заказчики, одни словоохотливее других, тащили мне вещи для починки или возвращались, чтобы забрать починенное, и большая часть этого времени уходила на прием и выдачу вещей. В перерывах между посетителями мне едва хватало времени, даже в спешке, на покупку нужных частей и различных материалов, и работать приходилось главным образом ночью.

В течение всего периода существования мастерской мне приходилось

разделять мое время следующим образом: день для посетителей и ночь для работы.

Должен сказать, что в этой работе мне много помогала Витвицкая, очень скоро наспециализировавшись на обтяжке зонтиков, переделке корсетов, на дамских шляпах и особенно на искусственных цветах, и два мальчика-еврея, из которых один, постарше, был занят чистой подготовкой для гальванизирования металлических вещей и полировкой их после, а другой, младший, был на побегушках и главным образом разводил и раздувал огонь в горне.

Напоследок у меня были и очень помогали шесть учениц из местных патриархальных семей, чьи родители, желая дать им «полное-воспитание», послали их в мою универсальную мастерскую учиться изящным рукоделиям.

Словом, вначале нас было четверо, но впечатление со стороны по количеству выполнявшейся работы было такое, что там, в задней половине магазина, работают несколько десятков мастеров разных специальностей.

Над дверью, ведущей в заднее помещение, конечно, висела надпись, гласившая, что посторонним вход строго воспрещен.

В Асхабаде мастерская просуществовала три с половиной месяца, и за это время я заработал около 7500 рублей. Знаете, что тогда значила такая сумма?

Для сравнения надо вспомнить, что жалованье среднего российского чиновника составляло 33 рубля 33 копейки в месяц, и с такой суммой ухитрялся жить не только одинокий, но и имеющий семью, иногда с кучей детей, а жалованье офицеров первых чинов в 45–50 рублей считалось большими деньгами, и мечтой каждого молодого человека было достигнуть такого жалованья.

Мясо тогда стоило 6 копеек фунт, хлеб 2–3 копейки, хороший виноград 2 копейки, а в рубле – 100 копеек.

7500 рублей – это уже считалось настоящим богатством.

За время существования мастерской встречалось много случаев, когда можно было больше нажать на каком-нибудь постороннем деле. Но так как в пари входило, между прочим, условие не зарабатывать денег не чем иным, как делами, относящимися к ремеслам, и теми маленькими коммерческими комбинациями, которые случайно и неизбежно будут с ними связаны, то я ни разу не поддался такому искушению.

Пари было давно выиграно уже в Асхабаде, и заработано в четыре раза больше условленного, но я думал продолжать это дело, но уже в другом городе.

Здесь почти все было уже ликвидировано, Витвицкая уехала к сестре, и я собирался уехать через три дня в Мерв.

Все, что я вам уже рассказал, будет, я думаю, достаточно, чтобы составить идею о том, что я хотел сделать для вас понятным этой историей, а именно, что эта специфическая черта общей психики человека, которая является идеалом для вас, американцев, и которую вы зовете «коммерческая-жилка», может даже существовать и может быть более высоко развита – вместе с другими жилками, которых у вас, американцев, нет – среди народностей, живущих на других материках.

Тем не менее, чтобы дать вам полную картину моей деятельности в этот период, не мешает рассказать еще одну коммерческую комбинацию, которую я осуществил перед самым отъездом из Асхабада.

Надо сказать, что вскоре после открытия мастерской я также объявил, что покупаю всякие старые вещи.

Сделал я это по двум причинам. Первая – то, что очень часто при починках требовалось заменить какую-нибудь часть новой. Вначале я для этого находил запасную часть на складах или покупал на толкучке испорченные вещи и частями их пользовался для замены. Но очень скоро я все мне нужное на складах перекупил, а на толкучке тоже не стало ничего нужного, и я решил прибегнуть к такому объявлению. Второе – можно было надеяться, как и случалось часто, что среди вещей, которые приносили или приглашали купить на дому, попадет что-нибудь редкое и ценное.

Словом, я был тогда также и старьевщиком.

И вот, в один из последних дней перед моим отъездом встречает меня на базаре один грузин, подрядчик по доставке провианта войскам (я знал его еще с Тифлиса, где он раньше держал буфет на одной из станций Закавказской железной дороги), и предлагает мне купить у него несколько старых железных кроватей, которых было у него в избытке.

Вечером я зашел к нему. Мы спустились в подвал, чтобы посмотреть сложенные там кровати, но там стоял такой ужасный запах, что невозможно было долго оставаться, и, кое-как осмотрев их, я почти выбежал оттуда, и уже на улице мы переговорили о цене. Тут же я узнал, что запах шел от находившихся там селедок, двадцать бочек которых он как-то случайно купил в Астрахани для поставки офицерским собраниям; при сдаче первых же двух бочек местному собранию артельщик при вскрытии их нашел селедки испорченными и забраковал их, и подрядчик, боясь испортить свою установившуюся репутацию, не захотел предлагать их дальше, а привез домой, поставил в погреб и почти забыл о них.

Простояв там три месяца, они, очевидно, окончательно испортились, и только теперь, когда весь дом ими пропах, он волей-неволей собрался как раз завтра их выбросить.

Его огорчало то, что мало того, что он на них уже потерял, надо еще заплатить, чтобы их поскорее вывезли на свалку, а то де, чего доброго, санитарная комиссия узнает, придет да еще оштрафует.

Пока он рассказывал, у меня по привычке, образовавшейся за это время, начала работать мысль, нельзя ли путем какой-нибудь комбинации из этого дела извлечь выгоду.

Я стал рассуждать сам с собой так: «У него двадцать бочек испорченных селедков, которые нужно выбросить вместе с бочками, но самые бочки, пустые, стоят по меньшей мере рубль штука. Вот только если бы найти способ опорожнить их даром, а то ведь заплатить за вывоз будет стоить почти столько же».

И вдруг меня осенило: ведь наверное селедки, тем более испорченные, годятся на удобрение. Я подумал, что легко могу найти огородника, который с удовольствием возьмет их даром, с тем чтобы, опорожнив и выполоскав, доставить бочки ко мне в мастерскую. Обкурив их, я сейчас их продам, так как бочки в большом спросе, и таким образом в течение получаса я заработаю по крайней мере рублей двадцать, и никому от этого не будет вреда, кроме пользы; даже грузин, который уже потерял на товаре, теперь, по крайней мере, сэкономит на вывозе.

Решив так, я сказал грузину: «Если Вы мне еще немного уступите на кроватях, я Вам устрою вывоз этих бочек, так что это Вам ничего не будет стоить». Он согласился, и я обещал завтра же утром избавить его от этого источника холеры.

Заплатив за кровати, я тут же нагрузил их на подводы и, кстати, забрал одну нескрытую бочку селедков, чтобы в случае надобности показать огороднику или бондарю; приехав в мастерскую, мы выгрузили и сложили все в сарай.

Как раз в это время у меня находился старик-еврей, отец работавших у меня мальчиков, который обыкновенно заходил по вечерам поболтать, а иной раз даже помогать работать своим сыновьям.

Я уселся во дворе покурить, и вдруг мне пришла в голову мысль попробовать дать селедки свиньям, бывшим еще у меня – не будут ли они есть, и я, не рассказывая ни о чем, попросил старика помочь мне вскрыть бочку.

Открыв бочку и понюхав, мой старик-еврей сделал такое блаженное лицо и воскликнул: «Ох, вот понимаю, вот это селедка! Давно, давно такой

не видал, с тех пор как попал в этот проклятый край!»

Меня это озадачило.

Сам я, живя большей частью на Востоке, где сельдей не едят, если и приходилось мне их есть, не различал, какие считаются хорошими, так как для меня они все пахли одинаково скверно, и потому я не мог не поверить еврею, тем более что он был резник и когда-то у себя на родине в Ростове имел лавку, где торговал и селедками.

В то же время сразу я ему не поверил и спросил, не ошибается ли он в качестве селедков, на что он даже обиженно ответил: «Что Вы, что Вы, это настоящая выдержанная, такая-то селедка», – не помню, как он ее назвал.

Все еще не доверяя ему, я сказал старику, что я случайно купил партию этих селедков и что у нас есть такая примета, что если при самом вскрытии товара хоть кто-нибудь сколько-нибудь купит, то и вся продажа будет удачной, и потому нужно сейчас же, чтобы не стояло до утра, кому-нибудь продать хоть несколько селедков, и я спросил его, может ли он это сделать тотчас же.

Таким путем я хотел убедиться в правильности мнения старика, тогда и поступить соответственно.

Вблизи моей мастерской жило много евреев, большинство при своих магазинах. Был уже вечер, магазины уже закрывались. Как раз против моей мастерской жил часовых дел мастер, некто Фридман. Его и позвали первым, и он, без всяких разговоров, с большим удовольствием купил целый десяток, заплатив не торгуясь по 15 копеек за пару.

Следующим покупателем был содержатель аптекарского магазина на углу, купивший сразу полсотни.

По тону разговора этих покупателей я убедился, что мой старик был прав, и на другое утро, чуть свет, наняв подводы, привез к себе все бочки, кроме двух, вскрытых раньше и действительно окончательно испортившихся, от которых и шел этот ужасающий запах и которые я отправил на свалку.

Остальные восемнадцать бочек оказались не только годными, но и полными самого лучшего сорта селедками.

Очевидно, как солдат-артельщик, приемщик офицерского собрания, так и поставщик-грузин, случайно прибравший эту партию, сам родом из Тифлиса, где селедков не любят, оба имели столько же понятия в них, сколько и я, т. е. никакого, и сочли их испорченными на основании особого запаха, и грузин поставил на этом деле крест.

В три дня с помощью старика-еврея, которому я платил по полкопейки за селедку, чему он был невероятно счастлив, эти селедки были

распроданы оптом и в розницу.

К этому времени я ликвидировал и все остальные мои дела.

Накануне отъезда я пригласил этого грузина, в числе многих других моих знакомых, на прощальный ужин и за столом рассказал, как было дело, и, вынув деньги, хотел поделиться с грузином моим хорошим заработком, но тот, придерживаясь тамошних коммерческих принципов, отказался принять деньги, говоря, что уступил мне товар, уверенный в его полной негодности, и если после оказалось другое, то это мое коммерческое счастье, а его оплошность, и потому он считает непорядочным пользоваться моей любезностью.

Мало того, на другой день, когда я уезжал в Мерв, в вагоне среди моих вещей оказался козий бурдюк с вином от этого грузина.

После этого прошло еще несколько лет, полных всевозможных приключений, связанных с массой неожиданностей и случайностей, в течение которых я работал безустанно, приготавливая все необходимые условия для достижения основной цели моей жизни, и должен был достаточно часто заниматься всякими денежными делами.

Хотя последующие годы представляют большой психологический и жизненно-практический интерес, я сейчас об этом периоде рассказывать не буду, так как это отвлекло бы нас от вопроса, поднятого сегодня вечером, тем более что я намереваюсь написать целую книгу о годах, посвященных этим поискам.

Скажу только, что, когда я поставил себе задачу составить капитал, я имел уже большой опыт и уверенность в себе, и с того момента моя интенсивная деятельность, направленная специально на зарабатывание – хотя это основное человеческое стремление само по себе мало меня интересовало, – имела результаты, которым бы позавидовали даже ваши лучшие эксперты по долларным делам.

Я занимался разнообразными предприятиями, подчас очень крупными: принимал участие в казенных и частных подрядах по разным железнодорожным и шоссейным постройкам и по поставкам, имел разные магазины, сельскохозяйственные предприятия, содержал рестораны, имел кинематограф, участвовал в нефтяных и рыбных промыслах, организовал пригон скота из Кашгарии в Россию и мн. др., делая это одновременно и разновременно.

Но моим главным предпочтительным делом была торговля коврами и антикварными вещами, которая, будучи очень прибыльной, тем не менее оставляла мне свободу выбирать место жительства и часы работы.

В конце концов, после четырех-пяти лет горячей работы, в конце 1913 года, когда я все это оставил и приехал в Москву, чтобы начать практическое осуществление того, что я считал своей священной задачей, я имел наличными деньгами около полутора миллиона рублей, не считая двух бесценных коллекций, состоявших одна из редких ковров, а другая – из фарфора и китайской эмали клуазоне.

Казалось, что это богатство давало мне возможность уже больше не думать о материальной стороне дела и быть достаточно самостоятельным, чтобы на практике осуществить идеи, которые уже оформились в моем сознании и на которых должен был быть основан мой Институт, а именно: я желал создать вокруг себя условия, которые бы постоянно, через неизбежное трение между совестью и автоматическими проявлениями его натуры напоминали человеку о смысле и цели его существования.

Это было приблизительно за год до мировой войны.

В Москве и несколько позднее в Петрограде ряд прочитанных мною лекций привлек большое число представителей интеллигенции и науки, и круг лиц, заинтересовавшихся моими идеями, стал быстро расти.

Следуя моему замыслу, я затем начал осуществление своих планов по созданию Института.

Одновременно с другими предпринятыми мною шагами для проведения в жизнь задуманного я начал понемногу заготавливать все могущее оказаться нужным: приобрел недвижимость, сделал заказы в разных европейских странах на то, что нельзя было достать в России, приобрел необходимые инструменты и другие вещи и даже подготавливал издание собственной газеты.

В самом разгаре этой организационной работы разразилась война, и мне пришлось, как тогда казалось, временно все приостановить в надежде в скором времени продолжать, как только улягутся политические события.

К этому времени уже половина заготовленного мною капитала была израсходована на эту подготовительную организацию.

Но война разгоралась, надежды на скорое успокоение становилось все меньше и меньше, и я принужден был оставить Москву и переехать на Кавказ, чтобы выждать успокоения.

Однако, несмотря на то, что политические события полонили все умы, в некоторых слоях общества интерес к моему делу все увеличивался, и в Ессентуки, где я в то время жил, начали съезжаться не только из близких мест, но из Петрограда и Москвы лица, действительно интересовавшиеся моим делом, и мало-помалу обстоятельства стали требовать, чтобы, не дожидаясь возвращения в Москву, организовать здесь.

Но и здесь события вскоре приняли такой оборот, что стало невозможно не только работать, но и жить, не имея уверенности, что останешься в живых завтра.

Район Минеральных Вод, где мы жили, стал центром междоусобий. Мы очутились между двух огней.

Города стали переходить из рук в руки: сегодня они в руках большевиков, завтра – казаков, а послезавтра попадают в руки добровольцев или еще какой-нибудь новообразовавшейся партии.

Иной раз бывало, что, встав утром, не знаешь, под чьим начальством сегодня находишься, какой политики держаться, выйдя на улицу.

За все время, что я жил в России, это был период самого страшного нервного напряжения.

Приходилось думать не только о продуктах, которые в то время доставались с большим трудом, но и беспокоиться о жизни сотни людей, находившихся на моей ответственности.

Особенно меня нервировало положение двух десятков из моих учеников – как они начали себя называть – призывного возраста. Ведь люди, молодые и постарше, мобилизовались каждый день: сегодня их брали на службу большевикам, завтра добровольцам и т. д.

Такое постоянное напряжение долго продолжаться не могло, и надо было, во что бы то ни стало, найти какой-нибудь выход.

Однажды ночью, когда стрельба была сильнее обыкновенного и из соседних комнат до меня доносилось эхо обеспокоенных разговоров моих товарищей, я серьезно задумался.

Пока я размышлял, как бы выйти из этого тупика, я по ассоциации вспомнил одно из изречений мудрого Молла Наср-Эддина, которое задолго до этого стало для меня «идеей-фикс», а именно: «Во-всех-житейских-обстоятельствах-всегда-стремись-соединить-приятное-с-полезным.»

Надо сказать, что уже давно для пополнения моих исследований по археологии, связанных с некоторыми моими целями, я имел специальную нужду в разыскании местонахождения и сети некоторых так называемых дольменов, которые дошли до нас с очень древних времен и находятся в определенных местах почти на каждом материке.

Я знал наверняка, что они есть во многих местах на Кавказе, и даже знал примерно, где некоторые из них находились, по указаниям официальной науки. Также, хотя у меня никогда не было достаточно времени, чтобы систематически исследовать этот регион, я тем не менее никогда не упускал возможность во время моих частых поездок на Кавказ и Закавказье, когда это не мешало в поиске достижения моей основной цели,

увидеть их.

В результате моих личных исследований я вполне уверился, что в местах между восточным побережьем Черного моря и Кавказскими горами, особенно в перевалах, где я никогда до этого не бывал, находились, поодиночке или в небольших группировках, дольмены определенного типа, которые меня особенно сильно интересовали.

И вот, будучи отрезан от всего света и остановленный в своей деятельности создавшимся положением, я решил это время использовать для специальной экспедиции в эту часть на Кавказе, чтобы разыскать и исследовать эти дольмены и одновременно спасти себя и людей, находившихся на моей ответственности, от могущих быть неожиданностей.

Недолго думая, на следующий день я напряг все свои силы и возможности, чтобы с помощью нескольких людей, более или менее полусознательно или бессознательно мне преданных, которые имели связи со всякими в тот момент власть-имущими, выхлопотать и официально организовать научную экспедицию по Кавказским горам.

Получив разрешение и приобретя путем различных комбинаций все нужное для такого путешествия, выбрав среди всех тех, которым было наиболее рискованно оставаться в районе Минеральных Вод, обеспечив оставшихся, я уехал двумя партиями, которые должны были встретиться в назначенном месте.

В первой партии было двенадцать человек из Пятигорска, во второй – я сам и около двадцати человек из Ессентуков.

Официально эти две группы считались совершенно независимыми и не имеющими общего между собой.

Не имея реального представления об условиях, которые преобладали тогда в стране, надо обладать особенно богатым воображением, чтобы хотя бы приблизительно представить себе, что значило организовать научную экспедицию в такое время, да еще официально.

Я намеревался выехать из Ессентуков и по населенным местам доехать до горы Индюк, что недалеко от Туапсе, и оттуда начать свои исследования по линии в 40–100 верстах от Черноморского побережья в направлении на юго-восток.

Для первого этапа путешествия я с большими трудностями выхлопотал у большевиков, бывших тогда у власти, два вагона. В это время было трудно не только достать два вагона, но и одному проехать по железной дороге было немыслимо вследствие постоянного передвижения войск.

С большими трудностями поместив в эти вагоны 21 человека с

бесчисленным количеством приобретенного для экспедиции снаряжения, как то: палатки, инструменты, оружие, провиант, две лошади, два мула, три двуколки, – мы тронулись.

Проехав в вагоне до Майкопа и ввиду невозможности двигаться дальше по железной дороге, так как она была за день до этого разрушена новообразовавшейся группировкой бунтарей под названием каких-то «Зеленых», наша экспедиция двинулась дальше пешком и на лошадях, и не по направлению к Туапсе, как я предполагал первоначально, а завернув в сторону, по направлению к Белореченскому перевалу.

Пока мы ехали по населенным местам до того пункта, где начинается ненаселенная местность, нам пришлось по крайней мере пять раз переходить позиции между большевиками и добровольцами.

Теперь, когда это уже в прошлом и когда я вспоминаю задним числом, как благополучно сумел преодолеть эти трудности, я не могу не испытывать чувства настоящего удовлетворения. Действительно в то время творились чудеса.

Как будто я с моими людьми находился под сверхъестественным покровом, что пристрастие и массовый гипноз ненависти одних к другим, овладевшие массами особенно в это время, не касались нас.

Как будто мы были не от мира сего, казались безразличными как одним, так и другим. Отношение всех партий к нам было одинаковое, все считали нас совершенно нейтральными, да так и было.

Окруженный озверевшими от ярости людьми, готовыми разорвать друг друга из-за малейшего куса, я двигался среди этого хаоса совершенно открыто, ничего не скрывая и не прибегая ни к каким обманам, и в расцвете так называемой реквизиции вещей во всем ее блеске у обеих сторон, у нас не было реквизировано ни одного платка – ни даже двух бочонков со спиртом, которые, ввиду большой нехватки, были предметом всеобщей зависти.

Когда я вам сейчас все это рассказываю, чувство справедливости, той самой справедливости, которая является результатом моего понимания психики людей, подверженных подобным событиям, обязывает меня отдать должное тем из большевиков и добровольцев, большинство из которых без сомнения уже умерли, чье благожелательное, хотя и несознательное и чисто инстинктивное отношение к моей деятельности способствовало успеху этого моего опасного предприятия.

Действительно, если мне удалось благополучно выбраться из этого – в полном смысле слова – ада, это было не единственно по причине моей хорошо развитой способности различать и использовать малейшие

перемены в слабостях психики людей, одержимых психозом подобного рода, так как в условиях, при которых развивались эти полные неожиданностей события, я был бы неспособен, даже поддерживая день и ночь самую активную бдительность, все предусмотреть и принять соответствующие меры.

По моему мнению, нам удалось спастись, потому что в общих наличиях этих людей, хотя и во власти психического состояния, в котором исчезают последние остатки разумности, инстинкт, присущий каждому человеку – различать добро от зла в объективном смысле, – не совсем отсутствовал, т. е. инстинктивно чувствуя в моей деятельности живой зачаток этого священного импульса, который один способен дать настоящее счастье человечеству, они способствовали, насколько могли, процессу осуществления того, что я предпринял задолго до войны.

Ни разу за все пережитое время нам не встретилась ситуация – ни с большевиками, ни с добровольцами, – из которой я бы не нашел выхода.

Здесь я добавлю, между прочим, что, если когда-нибудь в будущем жизнь людей опять потечет нормально и специалисты будут исследовать события, похожие на те, что случились в России, разные документы, которые выдавались мне с обеих сторон для защиты моих интересов и имущества, наверное, когда-нибудь будут служить доказательствами необычайных явлений, могущих происходить во время таких массовых психозов.

Среди многочисленных сохранившихся у меня документов одна бумага до комизма оригинальна. На одной стороне этой бумаги написано:

*«Предъявитель сего такой-то такой-то Гюрджиев имеет право ношения повсеместно револьвера такого-то за номером таким-то, в чем подписями с приложением такой-то печати удостоверяется.*

Председатель совета  
рабочих и солдатских депутатов: Рухадзе.  
Место выдачи: Ессентуки  
Секретарь: Шандаровский»,

а на обороте той же бумаги написано:

*«Такой-то такой-то Гюрджиев имеет право ношения такого-то револьвера под указанным на обороте номером, что подписями с приложением казенной печати удостоверяется.*

За Генерала Деникина: Генерал Гейман  
Начальник штаба: Генерал Давидович-Нашинский  
Выдано в Майкопе, число...»

После громадных усилий и многих препятствий, через разоренные станицы мы добрались, наконец, до деревни Камыши, последнего населенного пункта на границе с Кавказскими горами, за которым уже нет колесных дорог.

Здесь, на скорую руку запасшись продуктами, какими возможно, бросив на произвол судьбы наши двуколки, нагрузив вещи частью на лошадей и мулов, частью взяв на себя, мы двинулись дальше.

Перевалив первую гору, мы впервые вздохнули свободно, хотя тут начались трудности самого путешествия.

Об этой части экспедиции из Камышей через Белореченский перевал в Сочи по диким местам цепи Кавказских гор, которая длилась около двух месяцев и была наполнена странными и даже необыкновенными происшествиями, я ничего говорить не буду, так как, согласно дошедшей до меня информации, описание этого нашего побега «на-край-ада-кромешного» через почти непроходимые дикие перевалы этих гор, а также нашего успешного исследования дольменов и всех видимых и скрытых богатств этого региона уже подробно описано и несомненно скоро будет напечатано некоторыми из членов этой уникальной научной экспедиции, которые впоследствии вернулись в Россию и сейчас отрезаны от остального мира.

Кстати сказать, эта экспедиция в научном отношении дала даже неожиданно хорошие результаты, чему главным образом способствовал случайно подобранный состав ее членов – в совокупности располагавших всесторонними познаниями, – который не мог быть более подходящим для целей нашей экспедиции, и они очень успешно помогли мне разрешить вопрос дольменов. Среди них были хорошие специалисты по археологии, медицине, зоологии, астрономии, горный и др. инженеры и др.

Я только добавлю, что из всех моих впечатлений за время этого путешествия самым замечательным была красота мест от Камышей до Сочи – особенно начиная со спуска к морю, – которые действительно заслуживают высокопарное название «рая-земного», часто приписываемое так называемой интеллигенцией другим частям Кавказа.

Местность эта, в общем находящаяся недалеко от населенных мест и вполне пригодная для сельского хозяйства и водных курортов, как ни

странно, совершенно не заселена, несмотря на растущую необходимость в землях подобного рода.

Когда-то эти места были населены черкесами, которые 40–50 лет тому назад поголовно переселились в Турцию. С тех пор они заброшены, и человеческая нога не прикасалась к ним.

На пути попадаются когда-то идеально обработанные земли, чудные фруктовые сады, хотя уже заросшие и одичавшие, но дающие еще столько фруктов, что это могло бы служить питанием и сейчас десяткам тысяч человек.

И вот, почти через два месяца, изнемогающие от усталости и почти без провианта, мы достигли города Сочи на берегу Черного моря.

Здесь, так как некоторые члены нашей экспедиции за время того, что можно было назвать нашим «путем-на-Голгофу», не только показали себя не на высоте, но и проявили качества, не соответствующие нашей большой цели, я решил проститься с ними и продолжил путешествие с оставшимися по колесным дорогам в Тифлис, где, несмотря на то бурное время, под управлением грузинских меньшевиков-демократов все еще существовал относительный порядок.

С начала организации Института в Москве и до момента приезда в Тифлис прошло четыре года. Вместе с временем уходили и деньги, тем более что деньги за последнее время начали идти не только на расходы по организации дела, но и на многое, не входившее в прежние расчеты.

Дело в том, что события в России, с ее колоссальными пертурбациями и внешней и внутренней междоусобной войной, выбили всех людей из колеи жизни, так все смешали и запутали, что вчерашние обеспеченные и богатые люди оказались сегодня ни с чем, и в таком же положении очутились многие из примкнувших к Институту, ставшие мне за этот период, благодаря их искренности и соответствующим проявлениям, как родные, и пришлось помогать для жизни почти двум сотням людей.

Еще в худшем положении оказались многие из моих родных и родственников, которых мне пришлось не только материально поддерживать, но и приютить со всеми их семьями, так как местности, где большинство их жило, например Закавказье, были окончательно разгромлены и разорены как междоусобиями, так и турецким наступлением.

Чтобы вы могли представить себе это общее положение ужасов, я опишу вам одну из многих картин, пережитых мною.

Я жил в Ессентуках, где в то время было еще относительно спокойно.

Я там имел и содержал два общежития для моих родственников и

последователей моих идей: одно в Ессентуках, доходившее до 85 человек, а другое, до 60 человек, – в Пятигорске.

Дороговизна с каждым днем увеличивалась, и доставать продукты, даже за большие деньги, и удовлетворять нужды общежитий становилось все труднее и труднее, и сводить концы с концами мне удавалось лишь с большими трудностями.

В одно дождливое утро, когда я был занят мыслями, как быть и что будет дальше, у моего подъезда остановились две странные повозки, с которых спустилась куча чего-то, очень мало похожего на людей.

Я смотрел из окна и сразу не понял, что это такое, но, постепенно приглядевшись, увидел, что это люди, но вернее не люди, а какие-то скелеты с горящими глазами, покрытые какими-то лохмотьями, босые, с ногами в язвах и ранах. Их всех оказалось 28 человек, в том числе 11 детей от одного года до девяти лет.

Люди эти оказались моими родственниками, и в числе их была моя родная сестра с шестью малолетними детьми.

Как выяснилось потом, они жили в Александрополе, где за два месяца до того началось турецкое наступление. Так как в то время ни почта, ни телеграф не действовали, все были отрезаны один от другого, и они узнали о наступлении, когда турки были уже под городом. Слухи об этом наступлении вызвали там неопишумую панику.

Представляете ли вы себе, что испытывает человек, уставший и до предела измученный, знающий наверное, что наступающий неприятель, будучи сильным и вооруженным, будет беспощадно и без разбора вырезывать не только мужчин, но и женщин, и стариков, и детей (это там в порядке вещей).

Вот в такой панике мои родственники, вместе со многими другими узнав о приближении врага за час до его прихода, в ужасе бросились бежать, кто в чем был, не успев захватить решительно ничего.

Потеряв голову, они бросились бежать наугад, и даже сначала не в том направлении. Только когда они остановились от усталости и немного пришли в себя, они поняли свою ошибку и побежали по направлению к Тифлису через горы, по непроходимым местам и, после двадцати долгих, мучительных, голодных и холодных дней, наконец еле живыми добрались до Тифлиса.

Узнав там, что я живу в Ессентуках и что сообщение между двумя городами было еще открыто, они, наняв кое-как с помощью знакомых фургоны, поехали по Военно-Грузинской дороге ко мне и приехали в таком ужасном виде, что их узнать нельзя было.

Представьте себе положение меня, увидевшего эту картину – единственного человека, который должен был их приютить в это и без того уже трудное время. Всех их надо было лечить, одеть, обуть и на ноги поставить.

В результате всех этих непредвиденных расходов, после обеспечения людей, оставшихся в регионе Минеральных Вод, и расходов на экспедицию, в момент приезда в Тифлис у меня кончились запасные средства. Ушли не только наличные деньги, но также все ценности, которые мне с женой, во время наших постоянных передвижений, удавалось возить с собой.

Что касается коллекций, которые я собирал на протяжении многих лет, то часть их была ликвидирована в самом начале хаотических событий в России некоторыми из моих учеников из обеих столиц, которые позже присоединились ко мне со своими семьями в Ессентуках, а большая часть, включая две редкие коллекции, о которых я уже сказал, оставалась в Москве и Петрограде, и ею не только нельзя было воспользоваться, но неизвестно было, что с ней случилось.

Уже на второй день моего пребывания в Тифлисе дела приняли такой оборот, что я оказался без копейки в кармане и должен был просить жену одного из моих людей одолжить мне или просто отдать последнее ее кольцо с бриллиантом чуть больше одного карата, которое я немедленно продал, чтобы вечером все могли поужинать.

Да еще моя болезнь, которую я захватил во время моего путешествия по Кавказским горам, где приходилось сносить огромную разницу температур между днем и ночью, в Тифлисе осложнилась, но лежать было нельзя: с температурой, доходившей до 40°, я должен был бегать по городу, так как нужно было во что бы то ни стало найти выход из положения.

В это время в Закавказье было общее затишье дел и торговли. Единственно только торговля старинными и новыми восточными коврами еще процветала. Будучи хорошо знаком с этим делом, я сразу же остановился на нем.

И вот, выбрав несколько подходящих человек из учеников, приехавших со мной, и родственников, находившихся до того времени в Тифлисе, я приспособил их помогать мне и очень скоро организовал настоящее ковровое предприятие.

Организация его состояла в том, что часть моих помощников, разъезжая по Тифлису и по ближайшим городам, разыскивали и покупали всевозможные ковры, другие их чистили и мыли, а третьи их чинили, и затем эти ковры сортировались, часть продавалась в розницу, часть –

партиями на месте же, часть отправлялась в Константинополь.

На третьей неделе это ковровое предприятие начало приносить деньги, достаточные не только для жизни, но даже еще и оставалось. Ввиду таких доходов и очевидных больших перспектив этого предприятия во мне зародилось желание временно открыть мой Институт здесь – не дожидаясь успокоения и моего возвращения в Москву, тем более что я всегда намеревался открыть отделение Института в Тифлисе.

Итак, продолжая мое ковровое предприятие, я начал заниматься организацией Института, но быстро понял, что, как в Тифлисе в это время был большой квартирный кризис, будет невозможно самому найти подходящее помещение, и обратился за помощью к грузинскому правительству.

Грузинское правительство пошло нам навстречу и направило городского голову Тифлиса с указанием любым способом помочь мне найти помещение, «достойное-важного-учреждения-такого-большого-общественного-значения», и предоставить его в мое полное пользование.

Голова и несколько членов городского совета, которые интересовались моей работой, действительно, усердно старались найти соответствующее помещение, но при всем их желании не могли найти ничего подходящего, и дали пока временное помещение с обещанием скоро предоставить постоянное и соответствующее.

Таким образом в Тифлисе, уже в третий раз, началась организация Института, с ее хроническим приобретением инвентаря и прочего необходимого материала.

Здесь в Тифлисе многие были глубоко затронуты переменами в условиях их существования и чувствовали необходимость обратиться к другим ценностям, и вследствие этого уже через неделю после открытия Института в этом временном помещении все специальные классы были заполнены, и в два-три раза больше людей записалось на классы, которые я надеялся начать, как только у нас появится большее помещение.

В этих временных, совершенно неподходящих помещениях, в непомерно тяжелых условиях, «работа-над-собой» начала набирать жизнь. Разделив учеников на несколько групп и организовав часы работы с раннего утра до позднего вечера, классы продолжались несколько месяцев.

Но правительство все тянуло с выполнением своего обещания, а в имевшемся помещении стало невозможно продолжать работу, и в то же время устойчивость грузинского правительства сильно пошатнулась.

Начавшийся кризис продуктов, наступление на Тифлис большевиков и все вместе это взятое привели к тому, что мне надоело, наконец, тратить

мое время и энергию на борьбу в таких условиях, и я решил не только ликвидировать все в Тифлисе, но даже порвать все связи с Россией и переселиться за границу и основать мой Институт в какой-нибудь другой стране.

Ликвидировав за бесценок все имущество Института в Тифлисе и обеспечив по возможности оставшихся близких мне людей, я с большими трудностями с тридцатью человеками перебрался в Константинополь.

К отъезду из Тифлиса заработанная сумма была довольно значительной, так что, после обеспечения оставшихся и за покрытием расходов по переезду в Константинополь, жизнь за границей я считал обеспеченной на порядочное время.

Но грузины этими деньгами, заработанными несколькими людьми буквально в поте лица, воспользоваться не дали.

Дело в том, что в это время местные деньги для других государств ничего не стоили, а валюту достать нельзя было, и потому уезжавшие за границу брали с собой вместо валюты бриллианты и ковры. Я вместо денег заготовил себе несколько драгоценных камней и двадцать редких ковров и, выполнив всю официальную процедуру для вывоза их, передал своим для перевозки.

Но при выезде из Батума, несмотря на то что имелись все оправдательные документы на уплату всех пошлин и налогов, так называемый Грузинский Особый Отряд, придравшись незаконным мошенническим образом, отобрал у моих людей, предположительно на время, почти все ковры, которые они везли.

Пока мы потом из Константинополя принимали меры к возврату ковров, Батум был занят большевиками, а тот мошеннический отряд со своими главарями разбежался, и о коврах не стало ни слуху ни духу. Из двадцати этой участи избегли только два ковра, провезенные одним из членов Института, финляндским подданным, в дипломатическом чемодане, врученном ему Финляндским консульством.

Таким образом, по приезде в Константинополь я оказался почти в таком же положении, как по приезде в Тифлис.

Я имел в своем распоряжении только два бриллиантика и два упомянутых коврика.

Если их продать, даже по хорошей цене, со столькими людьми денег хватило бы на очень короткое время, и, кроме того, почти вся наша одежда была обношена, так как в Тифлисе, когда мы там жили, ничего нельзя было достать, а ходить, в чем мы были, здесь в Константинополе, где жизнь была более или менее нормальной, было невозможно.

Но мне повезло, я сразу напал на несколько удачных дел.

В числе этих дел была перепродажа в компании с одним приятелем, моим земляком, большой партии икры.

Затем я принял участие в продаже одного парохода, и финансы опять поправились.

Пока еще в Тифлисе, я окончательно отказался от мысли создания фундаментального места моей деятельности в России, но не знал еще хорошо условий и уклада жизни в Европе, чтобы решить, в какой стране обосноваться. Тем не менее, поразмыслив, Германия, по своему центральному положению и культурному уровню, о котором я столько слышал, казалась мне страной наиболее подходящей для обоснования.

Но, задержавшись в Константинополе из-за вечного денежного вопроса, такого болезненного для всех, у кого нет дяди в Америке, мне пришлось еще в течение нескольких месяцев заниматься там всякого рода делами, чтобы иметь достаточно денег для отъезда.

Тем временем, для продолжения «работы» учеников, приехавших со мной, я нанял в квартале Пера, где проживают почти все европейцы, единственное большое помещение, которое я мог найти, и в любое свободное от дел время руководил классами движений, которые начались в Тифлисе, устраивая каждую субботу публичные демонстрации, чтобы ученики привыкли не стесняться в присутствии посторонних.

Местные турки и греки, которые собирались в большом количестве смотреть эти демонстрации, проявили огромный интерес к движениям и к музыке, которую я сочинил специально для них, а также к различной деятельности, которой занимались мои ученики в подготовке будущей работы Института в Германии, и число поступавших ко мне просьб присоединиться к работе не переставало расти. В то же время всеобщая ситуация в Европе оставалась нестабильной, взаимное недоверие между правительствами сделало получение виз за границу очень сложным, курс валют сильно колебался день ото дня, и все мои проекты находились под угрозой.

Поэтому я решил расширить поле моей деятельности в Константинополе и организовать публичные лекции, чтобы осветить различные аспекты моих основных идей, а также открыть курсы, посвященные изучению трех областей человеческого проявления, а именно: движений, музыки и живописи – в их связи с объективной наукой.

Таким образом, я опять с головой погрузился в горячую работу, продолжая зарабатывать деньги любым возможным способом в Константинополе, а также в Кадикее на противоположном берегу Босфора,

который я пересекал почти каждый день. Все оставшееся время я посвящал организованным мною классам, в которых теперь участвовало много новых учеников, так что единственные свободные моменты для составления плана серии лекций, которые должны были читаться специально подготовленными учениками, я находил во время поездок туда и обратно на пароме либо в трамвае.

В такой лихорадочной деятельности я прожил около года, пока не пришли долгожданные визы, к которому времени хроническая дыра в моем кармане, от постоянного потока через него денег, наконец начала как бы заделываться и что-то даже начало собираться в складках.

Так как в это время мудрствования Младотурков начинали приобретать специфический запах, я решил – не дожидаясь разных прелестей, которые не замедлили бы проявиться в связи с этими мудрствованиями – как можно скорее убраться со своими людьми, чтобы спасти наши шкуры, и, быстро переведя мои классы в Кадыкей и поставив во главе некоторых из самых подготовленных моих новых учеников, я уехал в Германию.

Приехав в Берлин и устроив в различных отелях всех людей, которые путешествовали со мной, я снял в районе под названием Шмаргендорф большой зал, чтобы продолжать прерванную работу, и затем начал немедленно путешествовать по Германии, разъезжая по разным местам, где различные знакомые нашли подходящие здания для Института.

Посмотрев некоторые из них, я в конце концов остановил свой выбор на здании Геллерау, что под Дрезденом, специально построенном и оборудованном с размахом для нового культурного движения, о котором в последнее время много говорилось, под названием «система-Далькроза».

Найдя это помещение и его оборудование более или менее подходящими для основания и дальнейшего развития главного отделения Института, я решил приобрести его в собственность, но, пока я вел переговоры с владельцем, получил предложение от группы англичан, интересующихся моими идеями, открыть основной Институт в Лондоне, причем они брали на себя расходы и хлопоты по организации.

Ввиду нестабильной финансовой ситуации, вызванной продолжавшимся кризисом во всех странах, которая затронула как меня самого, так и тех, с кем я имел дело, соблазнившись этим предложением, я поехал в Лондон, чтобы на месте познакомиться ближе с положением дел в этой стране.

Так как общий ход работы в Берлине под моим руководством имел для меня большое значение и любое длительное отсутствие было для него

вредным, а я не мог разрешить все вопросы, связанные с английским предложением, за короткое время, я решил путешествовать в Лондон каждые две или три недели на несколько дней, и каждый раз я ехал другим путем, чтобы познакомиться с другими европейскими странами.

На основании сделанных мною во время этих путешествий наблюдений я пришел к определенному выводу, что наилучшим местом для моих целей будет не Германия и не Англия, а Франция.

Франция произвела на меня впечатление страны, которая в то время была политически и экономически более стабильной, чем другие, и хотя ее географическое положение было менее центрально, чем Германия, все же ее столица, Париж, считалась «столицей-мира», и таким образом Франция казалась как бы перекрестком всех рас и национальностей на земле, следовательно, в моих глазах она представлялась наиболее подходящим местом для распространения моих идей.

В этом смысле Англия, с ее островным положением, не дала бы основному Институту никакой будущности, и он принял бы специфический характер узкого местного учреждения.

Потому, в одну из моих поездок в Лондон, окончательно отказавшись от основания там центра Института, я все же решил послать туда специально подготовленных инструкторов и нескольких учеников, которых они там брали на содержание, пока не откроется английское отделение основного Института.

Словом, в момент приезда во Францию, что было летом 1922-го – да, за покрытием всех расходов по переезду я имел 100 000 франков.

Устроив в Париже временное общежитие для учеников и наняв для занятий временное помещение (школу Далькроза), я стал искать возможности и место для Института.

После долгих поисков, из многочисленных, найденных под Парижем поместий самым подходящим оказалось имение Ле Приорэ, недалеко от знаменитого замка в Фонтенбло под Парижем.

Но владелица, которая унаследовала имение от одного известного адвоката, не соглашалась сдать его в аренду, желая как можно быстрее продать из-за огромных расходов на содержание, и уже в то время имея несколько покупателей, она затягивала переговоры, проявляя себя согласно тенденции, которую современные метеорологи сформулировали бы как «то-ли-дождик-то-ли-снег-то-ли-будет-то-ли-нет». С моей стороны, как вы прекрасно понимаете, плачевное состояние моих финансов не давало мне возможности купить.

После многих хлопот и долгих переговоров она, наконец, согласилась

отложить продажу имения на год, с тем чтобы в течение времени я смог купить, а пока я арендовал его за 65 000 франков в год, с условием, что если я в течение полугода не куплю, она после этого срока может продать имение в сторонние руки, и я буду обязан освободить его немедленно.

Арендовав, я сейчас же с пятьюдесятью учениками въехал в имение. Это было 1 октября 1922 года. С этого момента и началась для меня, в специфически европейских, совершенно мне незнакомых условиях, самая сумасшедшая пора моей жизни.

Когда я прошел через ворота Приорэ, это было, как будто сразу за старым швейцаром меня приветствовала «Госпожа-Серьезная-Проблема». Жизнь в Париже в течение трех месяцев со стольким числом людей и платеж за аренду имения поглотили все имевшиеся у меня 100 000 франков.

Не имея франка в кармане, надо было содержать учеников, а главное – сразу затратить массу денег на устройство и приобретение необходимого для размещения такого количества людей, тем более что число учеников еще увеличилось понаехавшими из Лондона, благодаря несостоявшемуся открытию отделения там. Ни обстановка, ни хозяйство имения не были рассчитаны на такое число живущих.

Мое положение особенно затруднялось тем, что, приехав в Париж, я не говорил ни на одном из западноевропейских языков.

Еще выехав из Батума, я несколько беспокоился насчет языков, но в Константинополе беспокойство мое оказалось напрасным, так как языки, бывшие там в ходу: и турецкий, и армянский, и греческий, – я знал хорошо, но с Берлина уже начались затруднения, а тут в Париже, поставленный в необходимость добывать средства для покрытия колоссальных расходов, я более чем когда-либо ощутил свою зависимость от незнания европейских языков и в то же время не имел ни одной минуты, чтобы заняться их изучением.

Делать же дела через переводчиков было очень трудно, особенно коммерческие, где требуется улавливание настроения и игра на психике дельца, и даже при хороших переводчиках долгие паузы, требуемые самим переводом, уничтожают весь эффект сделанного до этого, не говоря уже о трудности передачи интонаций, очень важных во всяких коммерческих переговорах.

А у меня даже не было хороших переводчиков, так как все ученики, из числа которых я брал себе в помощники, и переводчики, были из других стран и знали французский язык так, как вообще иностранцы, особенно русские, знают его, т. е. умеют вести только легкий салонный разговор, да и

то не во Франции, а мне нужен был все время настоящий французский язык для серьезных деловых переговоров.

Да! Столько нервов мною было потрачено в эти два года только за те моменты, когда я чувствовал, что переводится не так, как сказано, что без сомнения хватило бы на деятельность сотни маклеров-новичков на нью-йоркской бирже.

Ввиду того что нужны были и сразу большие деньги на первоначальное обзаведение, а заработать их сразу было невозможно, я стал искать возможности достать деньги пока займы на самое необходимое, с тем чтобы потом, наладив работу Института таким образом, чтобы посвящать половину времени зарабатыванию денег, постепенно выплатить долг.

Это мне удалось сделать в Лондоне, где я занял у разных лиц из группы интересовавшихся Институтом. Это был первый раз, что я отступил от тех основных принципов, которые я положил в основу дела 15 лет тому назад и все время проводил так стойко. Я говорю о принципах осуществления дела как единоличного предприятия, в основе независимого от посторонней материальной помощи.

Могу смело сказать, что, несмотря на колоссальные расходы наряду со всевозможными происшествиями, неудачами и потерями, происходившими не по моим ошибкам, а по не зависевшим от меня политическим и экономическим обстоятельствам последних лет, я никому не обязан ни одной копеечкой, и все было сделано моим собственным трудом.

Много раз моими друзьями или интересующимися и сочувствующими моим идеям людьми предлагались в мое распоряжение суммы, но я ни разу не брал, даже в трудные моменты предпочитая одолеть трудность своими усилиями, чем изменить принципам.

Облегчив этим создавшуюся в тот момент трудность, я сам горячо взялся за дела. Моя работа в этот период была, можно сказать, нечеловеческая. Иногда приходилось работать буквально по 24 часа в сутки, ночь проводить в Фонтенбло, а день в Париже, или наоборот. Даже время проездов в вагоне у меня было занято писанием писем или переговорами.

Дела шли хорошо, но такая особенно интенсивная работа этих месяцев плюс непрестанная работа без отдыха за последние восемь лет настолько переутомили меня, что мое здоровье так сильно расшаталось, что я при всем желании и усилии уже не мог продолжать с той же интенсивностью.

Но несмотря на препятствия, мешавшие и тормозившие мою работу: плохое состояние моего здоровья, трудность ведения дел за отсутствием

знания языка и увеличившееся, согласно давно установившемуся правилу, пропорционально с числом друзей число врагов, – все же я за эти первые шесть месяцев успел сделать большую часть намеченного.

Так как для вас, современных американцев, единственно действенный толчок для притока мыслей – это знакомая картина списка доходов и расходов, я желаю, по крайней мере, просто перечислить для вас расходы, которые мне удалось покрыть с момента въезда в Приорэ и до отъезда в вашу Америку.

А именно, было сделано приблизительно следующее:

- куплена и уплачена половина стоимости большого имения плюс дана в задаток значительная сумма за маленький прилегающий участок;
- оплачены полностью затраты на первоначальное обустройство Института, включая: ремонт, переделки и приведение имения в порядок;
- приобретение новой обстановки имения и разного рода принадлежностей для дома;
- приобретение разного рода инвентаря, разного рода инструментов, начиная от медицинских, кончая сельско-хозяйственными и т. д.;
- приобретение «живого-инвентаря», как то: лошадей, коров, баранов, свиней, птицы и т. д.

К этому были добавлены значительные расходы на постройку, оборудование и приспособление здания, предназначенного, между прочим, для упражнений в движениях и для демонстраций – прозванного некоторыми *Study House*, а другими «театр».

Наконец, за этот период мне удалось, даже пока обеспечивая нужды гостей и учеников Института, возратить часть долга.

В этот период одним из главных источников дохода послу жило психологическое лечение нескольких сложных случаев алкоголизма и кокаинизма. Я был широко известен как один из лучших специалистов в этой области, и семьи этих несчастных предлагали мне иногда значительные суммы за то, чтобы я ими занимался.

Я особенно помню одну богатую американскую пару, доверившую мне их сына, считавшегося неизлечимым, которая внезапно удвоила условленную сумму от радости при его выздоровлении.

Вдобавок я вступил в долю с некоторыми дельцами и вместе с ними осуществил несколько финансовых операций и получил, например, значительную прибыль от перепродажи по неожиданно высокой цене целого пакета нефтяных бумаг.

Хорошую прибыль дали мне два открытых и налаженных с одним компаньоном и сейчас же перепроданных, после успешного открытия,

ресторана на Монмартре.

Мне даже странно сейчас, как я могу так легко перечислять эти заработки, когда я вспоминаю всегда их сопровождавшие внутренние испытания, потрясавшие все мое целое и требовавшие страшного напряжения моих сил.

В эти месяцы так складывались дела, что с 8 часов утра я должен был начинать дела, чтобы в 10–11 вечера кончать; и всю ночь приходилось проводить на Монмартре по делам ресторанов и совпадавшему с этим временем лечению одного пьяницы, который пьянствовал каждую ночь на Монмартре. Это был очень трудный случай, потому как он сам не хотел лечиться.

Кстати, интересно отметить, что моя внешняя жизнь этого периода, т. е. то, что я проводил все ночи на Монмартре, дала богатую пищу для разговоров о моей особе многим знавшим меня, видевшим меня и слышавшим о такого рода моей жизни.

Одни завидовали моей возможности кутить, другие мои кутежи осуждали. Во всяком случае, я своему злейшему недругу не пожелаю таких кутежей.

Словом, необходимость и важность окончательного устройства материальных трудностей Приорэ и надежда на скорое избавление от этих, ставших хроническими, материальных забот, чтобы наконец отдаться своей настоящей работе, т. е. научной стороне Института, которая по не зависящим от меня обстоятельствам откладывалась с году на год – все это заставляло меня делать сверхчеловеческие усилия, несмотря на сознание могущих быть последствий.

Но при всем моем нежелании остановиться, как говорится, на полпути, я и на этот раз перед самым концом принужден был остановиться, не доведя подготовку тех условий, которые единственно позволили бы осуществить основные задачи Института, до нужного завершения.

За последние несколько месяцев состояние моего здоровья было таково, что я принужден был сократить время работы, но когда начали со мной случаться явления, которых никогда со мной в жизни не бывало, признаюсь, я испугался и решил совершенно прекратить всякую активную, как умственную, так и физическую работу, но откладывал это со дня на день, до того дня, когда последняя моя простуда волей-неволей положила этому конец.

Кстати сказать, она была схвачена мною при очень оригинальных обстоятельствах.

Как-то я свои дела в Париже закончил рано, около 10 часов вечера, и

так как на другое утро мне нужно было быть в Приорэ, где я ожидал визита инженера, чтобы обсудить проект и стоимость бани, которую я намеревался соорудить, то я решил ехать туда сейчас же и рано лечь спать, чтобы хорошо выспаться, и потому, не заезжая никуда, даже на городскую квартиру, я поехал в Фонтенбло.

Погода была сырая. Я закрыл все окна автомобиля и всю дорогу чувствовал себя хорошо и даже в мыслях составлял проект устройства в Институте гончарной печи по древнеперсидскому образцу, которую я собирался соорудить.

Подъезжая к Фонтенблоскому лесу, через который идет шоссе, я, еще помню, подумал, что, наверное, будет туман, так как в этом месте в сырую погоду всегда стоит туман. Посмотрел на часы – было без четверти одиннадцать, открыл большой свет в фонарях и увеличил ход машины, чтобы скорее проехать это сырое место; дальше этого момента я не помню ничего, ни как ехал, ни что случилось.

Когда я пришел в себя, я увидел следующую картину: сижу в автомобиле, который стоит почти посередине дороги; кругом лес, светит яркое солнце; впереди автомобиля большой воз с сеном, а хозяин воза стоит у окна моего автомобиля с кнутом, которым бьет по стеклу и стуком которого я был разбужен.

Оказывается, что вчера, после того как я посмотрел на часы, я, отъехав около одной мили, заснул помимо моей воли, чего в жизни со мной не случилось, и спал до 10 часов утра.

К счастью, автомобиль стал так, как ему полагается стоять на дороге. Хотя движение здесь по этому шоссе и начинается с 6 часов утра, но, очевидно, все меня объезжали, не мешая мне спать, а этот воз по своей величине этого сделать не мог и, чтобы проехать, пришлось меня разбудить.

Хотя я в этих оригинальных условиях хорошо выспался, захваченная мною тогда простуда дает себя чувствовать еще до сих пор.

С этого дня, даже при насилии над собой, было очень тяжело требовать от моего тела производить какое-нибудь слишком большое усилие.

Волей-неволей пришлось остановить дела. Положение стало до предела критическим, и не только не стало возможным довести до конца необходимое, но и была опасность потерять уже достигнутое, так как подходили сроки необходимых платежей, которые без моей текущей работы невозможно было выплатить.

Надо было что-нибудь придумать.

В один день, когда я сидел на террасе известного среди иностранцев «Гранд-Кафе», размышляя о моих текущих делах и как они были затронуты состоянием моего здоровья, я рассуждал следующим образом: «Раз я не могу и при теперешнем состоянии здоровья не должен работать с интенсивностью, которой требует такое большое дело, а наоборот, должен, хотя бы только временно, позволить себе полный отдых, почему сразу не организовать давно запланированную поездку в Америку, не ожидая закончить подготовку к путешествию?»

Путешествие в Северную Америку, с его постоянными переездами по разным штатам, переменой обстановки, вдали от привычной обстановки и, следовательно, с новыми впечатлениями, создало бы желаемые условия, в согласии с моей установившейся субъективностью, для настоящего отдыха.

Тем более что, будучи далеко от места, где в настоящее время сосредоточены мои интересы, я буду свободен от определенной черты моего характера, знакомой мне слишком хорошо из часто повторяемого опыта во время моих путешествий по диким странам, которая побуждала меня, каждый раз, когда я был подвержен „доброжелательным-проявлениям“ божьих существ, как четвероногих, так и двуногих, как бы они меня ни дубасили, едва только почувствовав себя чуть-чуть лучше, встать опять на ноги и неудержимо втянуться в дело».

Чтобы бы вы могли себе представить, что я имею в виду под «не-ожидая-закончить-подготовку-к-путешествию», надо сказать, что с самого начала основания Института во Франции я начал готовить материалы, намеченные для серии лекций, которые должны были ознакомить людей с основными идеями Института и их применением в различных областях, а именно: в психологии, медицине, археологии, архитектуре и искусстве, а также к различным, как их называют, сверхъестественным явлениям.

К тому же я начал готовить учеников для серии демонстраций, которые я хотел дать во время турне по Европе и Америке с целью таким образом ввести в процесс повседневной жизни людей значение этих идей – до этого мной нераспространенных и основанных на материале, собранном в разных регионах Азии, недоступных обычным смертным, – и показать практические результаты, к которым они могли привести.

В конце этих размышлений на террасе «Гранд-Кафе» я решил отправиться немедленно, довольствуясь тем, что уже было подготовлено.

Я даже дал себе слово с момента выезда из Франции и до возвращения туда ничем серьезным не заниматься, как только хорошо есть, побольше спать да читать книги, которые по содержанию и стилю соответствуют духу и характеру историй Молла Наср-Эддина.

Я был готов отважиться на это рискованное предприятие, потому что я начинал надеяться, что мои ученики будут теперь способны организовать лекции и демонстрации в Америке без моего участия.

Одна из главных опасностей этого внезапного решения, сделанного мной с целью дать одновременно отдых мне и шансы на поправление положения Института – этого детища, зачатого и выношенного мною в невероятных трудностях, которое только начинало жить независимой жизнью, – вытекала из факта, что для успеха нужно было взять со собой не меньше сорока шести человек, которые в Америке, как во Франции, были бы, конечно, всецело на моей ответственности. Это был единственный способ решить этот болезненный материальный вопрос, но невозможно было не сознавать, что в случае если бы поездка не оправдала себя, то общее положение дел могло бы еще ухудшиться и даже привести к полной катастрофе.

Что значило в финансовом плане путешествие в Америку с сорока шестью людьми, вы, с вашей страстью совершать частые поездки в Европу, легко поймете даже без ваших рассуждений, и вы можете лучше взвесить серьезность этого сумасшедшего шага, если примете во внимание простой факт, что вы для путешествий меняете ваши доллары на франки, я же, наоборот, должен был менять мои франки на доллары.

В момент, когда я решил уехать, у меня имелись в запасе 300 000 франков, которые мною были приготовлены для предстоявшего 15 февраля взноса при окончательном подписании купчей на Приорэ, и тем не менее я решил эти деньги потратить на поездку и поспешно начал приготовления к отъезду.

Пока я занимался необходимыми приготовлениями, а именно: покупкой соответствующей одежды, визами, билетами на проезд, пошивом костюмов для танцев и т. д., – я сосредоточил все мое внимание на классах движений и увеличил число репетиций, которые проходили в уже законченном *Study House*.

Заметив опять, как были смущены участники в присутствии посторонних, я решил перед плаванием дать несколько демонстраций в Париже в *Théâtre des Champs-Élysées*.

Хотя я знал, что такая организованная в последнюю минуту затея должна была мне стоить порядочную сумму денег, я никак не ожидал, в какую пропасть она меня вовлечет.

Короче говоря, парижские демонстрации, билеты на пароход, оплата самых срочных счетов, обеспечение оставшихся при Институте в Европе и много оказавшихся непредвиденных расходов поглотили всю эту сумму,

300 000 франков, еще до моего отъезда.

Таким образом я оказался в последнюю минуту в свехоригинальном трагикомическом положении: все было готово для отъезда, но плыть я не мог; уехать же в такой дальний путь с таким количеством людей и не иметь на всякий случай запасных денег было, конечно, легкомысленно.

Эта ситуация проявилась во всем своем блеске как раз за три дня до назначенного отъезда.

И тогда, как случалось со мной уже не раз в критические моменты моей жизни, произошло совершенно непредвиденное.

То, что произошло, было одним из тех вмешательств, которые люди, способные мыслить сознательно – в наше время и особенно в прошедшие эпохи, – всегда считали знаком справедливого промысла Высших Сил, а что касается меня, я бы сказал, что это был закономерный результат упорной настойчивости человека в сведении всех его проявлений в соответствии с принципами, сознательно принятыми на себя в жизни, для осуществления определенной цели.

Это произошло следующим образом:

Сию я у себя в комнате в Приорэ и думаю, какую бы комбинацию придумать. В этот момент открывается дверь и заходит ко мне моя мать, которая несколько дней тому назад приехала с несколькими моими близкими с Кавказа, где они застряли там после моего отъезда из России, и теперь только мне удалось после многих хлопот вывезти их оттуда.

И вот она, войдя ко мне в комнату, протягивает мне какой-то небольшой сверток, говоря: «Избавь меня, пожалуйста, от этой вещи, которую мне надоело хранить».

Я сначала не понял, о чем она говорит, и автоматически развернул сверток, но, когда я увидел, что в нем было, я чуть не подпрыгнул от счастья.

Чтобы объяснить вам, что это была за вещь, могущая вызвать во мне в этот отчаянный момент такую радость, я должен вам сначала сказать, что, когда я обосновался в Ессентуках, волнение умов, распространившееся повсюду в России, вызвало в сознании каждого более или менее сознательного человека предчувствие неизбежных событий, и потому я послал за моей матерью в Александрополь, чтобы привезти ее ко мне, и позже, когда я отправился в экспедицию, о которой уже рассказывал, я доверил ее оставшимся в Ессентуках.

Затем я должен еще сказать, что в тот год, 1918-й, на Кавказе, как и во всей России, курс рубля падал ежедневно, и всякий имевший деньги превращал их в какие-нибудь ценности, как то: драгоценные камни и

металлы, антикварные вещи и т. д.; так и я свой наличный капитал держал в таких ценностях, которые я всегда носил при себе.

Уезжая на экспедицию, ввиду рискованности, особенно в пути, хранить при себе большие ценности (как раз в это время был самый разгар обысков, реквизиции и грабежей на каждом шагу), я роздал имевшееся у меня моим спутникам, в надежде, что даже в случае отобрания хоть у кого-нибудь что-нибудь уцелеет. При этом часть моих драгоценностей я роздал оставшимся в Эссентуках и Пятигорске, также несколько вещей я отдал матери; среди последних была одна брошка, незадолго до того купленная мною у великой княжны Марии Павловны, нуждавшейся в деньгах. Отдавая матери вещи, я между прочим указал ей на эту брошку, сказав, чтобы она ее особенно берегла, как представляющую особую ценность.

С тех пор я был уверен, что эта брошка или давно продана при нужде, или отобрана во время бесконечных переездов моей семьи, так как каждый город в то время был на милости шайки разбойников, ни к кому и ни к чему не имеющих уважения, и в конце концов 20 раз могла быть потеряна.

Короче говоря, я об этой брошке совсем забыл, и мысль включить ее в мои расчеты никогда бы не появилась ни в каком уголке моего мозга.

Оказывается, когда я давал ее матери и сказал беречь эту брошку особенно, она поняла, что эта вещь мне почему-то очень нужна и памятна, и ее надо беречь до возврата мне.

И все эти долгие годы она берегла ее как зеницу ока, даже не показывая никому из своих и постоянно нося ее на себе, зашитой в мешочке, как талисман, а теперь, приехав, она была рада наконец возвратить ее мне и избавиться от этой обузы.

Можете себе представить мое облегчение, когда я узнал эту брошку и немедленно понял, как я мог ее использовать?

Таким оригинальным способом и на этот раз обстоятельства урегулировались. На следующий день, имея в кармане такую вещь, я уже смело занял две тысячи долларов у своего знакомого, а эту вещь взял с собой в Америку, так как в Париже за нее предлагали только 125 000 франков, по-моему же, она должна была стоить гораздо дороже, в чем я и не ошибся, когда продал ее здесь в Нью-Йорке.

В этом месте своего рассказа Г-н Гюрджиев замолчал и, улыбаясь своей особой улыбкой, закурил сигарету. В тишине, которая воцарилась в комнате, Г-н Х. поднялся со своего места, подошел к Г-ну Гюрджиеву и сказал:

– Г-н Гюрджиев, после всех шуточных замечаний, что Вы посчитали

уместным сделать касательно материального вопроса, я уже не знаю, если это из-за особого порядка, в котором Вами сегодня была изложена Ваша история, из-за моей наивности или внушаемости, но, вне всякого сомнения, в этот момент я готов всем своим существом сделать что угодно, чтобы облегчить тяжелую ношу, которую Вы добровольно взвалили на себя.

И возможно, я буду даже ближе к правде, если скажу, что этот импульс возник во мне благодаря яркому впечатлению, которое я получил от всего Вашего рассказа: что, беря на себя эту высокую задачу, задачу, которая превосходит пределы сил обыкновенного человека, Вы были до сегодняшнего дня совершенно одиноки.

Позвольте вручить Вам этот чек, который составляет все, чем я располагаю на данный момент. Одновременно перед всеми здесь присутствующими я обязуюсь передавать Вам такую же сумму ежегодно до конца моей жизни, где бы Вы ни были и каковы бы ни были Ваши обстоятельства!

Когда Г-н Х. окончил говорить и, очевидно взволнованный, вытирал лоб платком, Г-н Гюрджиев встал и, положив руку ему на плечо, посмотрел на него своим пронизывающим, добрым и благодарным взглядом, который я лично никогда не забуду, и просто сказал:

– Спасибо Вам, мой с сегодняшнего дня Богом данный брат!

Но самое сильное доказательство огромного впечатления, произведенного рассказом Г-на Гюрджиева, было заявление некой Леди Л., которая, будучи проездом в Нью-Йорке, присутствовала на вечере как гостя Г-на Р. Она сказала внезапно с большой искренностью:

– Г-н Гюрджиев, это несколько случайно, что я присутствую на этой встрече в честь открытия отделения Вашего Института в Нью-Йорке и что мне выдалось услышать Вашу историю, которая меня глубоко заинтересовала. Но уже до этого у меня не раз была возможность слышать о Вашей деятельности и о благотворных идеях, которые Ваш Институт претворил в жизнь; и мне даже повезло быть допущенной на одну из демонстраций, организованных Вами каждую неделю в «Study-House» в парке в Приорэ, и своими глазами видеть некоторые другие поразительные примеры Ваших достижений. Вас, следовательно, не удивит, если я скажу Вам, что много думала о Вашей работе и всегда чувствовала желание быть Вам как-либо полезной. И теперь, услышав рассказ о Ваших неустанных усилиях и женской интуицией чувствуя правду того, что Вы приносите человечеству, я понимаю, как сильно Ваша деятельность парализована нехваткой того, что стало сегодня движущей силой в жизни людей – я имею в виду деньги; поэтому я тоже желаю

внести вклад в Ваш великий труд.

В сравнении с большинством людей я располагаю несомненно немалыми средствами, которые должны были бы мне позволить предложить Вам достаточно большую сумму. На самом деле, их хватает ровно на то, чтобы обеспечить установленный уровень жизни, соответствующий моему положению в обществе. Весь вечер я думала о том, что я могла бы для Вас сделать, и подумала о деньгах, которые я понемногу откладывала на черный день. В ожидании лучшего я решила предоставить половину этой суммы временно, без процентов, в Ваше распоряжение, до тех пор пока – не дай Бог – какие-нибудь серьезные происшествия не заставят меня воспользоваться этими сбережениями, так как никто не знает, что принесет завтрашний день!

Г-н Гюрджиев с добрым и серьезным выражением внимательно слушал слова Леди Л., исходившие из самого сердца. Затем он ответил:

– Благодарю, высокоуважаемая Леди Л. Я особенно ценю Вашу прямоту, и если я принимаю эту сумму, которая будет большим подспорьем в моей настоящей деятельности, я, в свою очередь, должен ответить Вам прямо. Приподняв один только раз завесу будущего, я могу Вам сказать с особенной благодарностью, что я смогу вернуть Вам эти деньги ровно через восемь лет, когда, хотя и в полном здравии, Вы будете наиболее нуждаться в том, что сегодня составляет, как Вы правильно сказали, движущую силу всего процесса человеческой жизни.

Г-н Гюрджиев замолчал на долгое время, как будто погруженный в тяжелые мысли. Внезапно он выглядел усталым. Его глаза на мгновение остановились на каждом из нас.

\* \* \*

Я теперь пересматриваю эту рукопись, составленную по записям моих учеников, сидя в ресторане под названием *Child's* в городе Нью-Йорке, на углу Пятой Авеню и 56-й стрит, в тех же самых условиях, в которых я всегда писал в течение последних шести лет, а именно в различных общественных местах, таких как кафе, рестораны, клубы или дансинги, так как проявления, противные моей натуре и недостойные человека, обычные в местах такого рода, кажется, оказывают благотворное влияние на продуктивность моей работы, и я не считаю поверхностным указать на особый факт, который вы свободны считать чистым совпадением или даже результатом сверхъестественного предусмотрения, а именно что без

всякого намерения с моей стороны, но, возможно, просто потому, что в моей работе как писатель я всегда подчиняюсь установленному порядку, я закончил проверку этого текста сегодня в том же самом городе, точно день в день семь лет спустя после вечера, который только что был описан.

Чтобы закончить этот рассказ, я просто добавлю на тему моей первой поездки в Америку, что, хотя это предприятие было по меньшей мере рискованным – с группой людей без цента в кармане и не говоря ни слова на местном языке, с программой, еще не оконченной, предложенных демонстраций и без всякой, как это водится, особенно в Америке, предварительной рекламы, – успех этого турне с демонстрациями с целью распространения результатов работы Института намного превзошел мои ожидания.

Я могу смело утверждать, что, если бы не большое несчастье, происшедшее со мною через несколько дней после моего возвращения во Францию, которое препятствовало мне вернуться в Америку через шесть месяцев, как я намеревался, все, что я осуществил на этом материке с помощью тех, кто меня сопровождал, позволило бы мне не только выплатить все мои долги, но даже обеспечить будущее существование всех, как уже действующих, так и тех, которые я намеревался открыть на следующий год, отделений Института Гармонического Развития Человека.

Но стоит ли сейчас об этом говорить?

Описывая этот период моей жизни, мне невольно вспоминается эта поговорка нашего дорогого Молла Наср-Эддина: «Снявши-голову-по-волосам-не-плачут».

Когда я писал эти последние слова, кто-то подошел и сел за мой стол.

Все мои знакомые без исключения знают условие, которое я ставлю всякому желающему со мной говорить и которое заключается в том, чтобы ждать, пока я не закончу писать и сам не начну беседу. Говоря мимоходом, хотя они всегда уважали это условие, я тем не менее очень часто ощущал, что, щепетильно выполняя это требование, некоторые из них скрипели зубами, как будто готовы были утопить меня в ложке новомодного лекарства.

Когда я закончил писать, я повернулся к пришельцу, и с первых его слов во мне началась серия размышлений и выводов, совокупность которых привела меня к категорическому решению. Если, заканчивая, я бы удержался говорить об этом категорическом решении и о приведших к нему размышлениях, я бы поступил против основных принципов, проходящих, как красная линия, через весь этот рассказ.

Чтобы понять мое положение в этот момент, нужно знать, что тот, кто присел ко мне за стол и, получив от меня требуемые инструкции, ушел, был не кто иной, как мой тайный партнер по продаже оптом антикварных вещей. Я говорю «тайный», потому что никто, даже среди моих близких, не знает об этом моем деловом знакомстве.

Я вступил в эти отношения с ним шесть лет назад, через несколько месяцев после моего несчастья, когда я был еще физически очень слаб, но с уже восстановившейся моей обычной способностью думать я начал сознавать во всей его наготе мое материальное положение на этот день, частью по причине огромных расходов на поездку в Америку, частью по причине затрат, связанных с серьезными болезнями моей матери и моей жены. Так как длительное лежание в постели становилось для меня все более невыносимым нравственным страданием, я начал поездки на машине, чтобы попытаться облегчить это страдание через восприятие разных впечатлений, а также с тем, чтобы разнюхать какое-нибудь дело, подходящее для моего тогдашнего состояния. В компании нескольких людей, которые постоянно меня сопровождали, я начал разъезжать повсюду, преимущественно по местам, где собирались русские беженцы в Париже.

И вот, таким образом, однажды в одном из знаменитых кафе в Париже ко мне подошел человек, которого я сразу не узнал, и только во время разговора я вспомнил, что много раз встречал его в различных городах Кавказа, Закавказья и Закаспия. Путешествуя из города в город по этим регионам, он занимался торговлей всякого рода антикварных вещей и знал меня, потому что почти повсеместно на Востоке я был известен как специалист по старинным вещам и очень хороший делец в коврах, китайском фарфоре и клуазоне.

Он сказал мне, между прочим, что ему удалось спасти определенный капитал от несчастья в России и что, пользуясь своим знанием английского языка, он занимается тем же делом в Европе.

Рассказывая мне о своих делах, он жаловался, что главная трудность заключалась в том, что в Европе рынок был наводнен всякого рода подделками, и вдруг спросил меня:

– Кстати, мой дорогой земляк, как насчет того, чтобы войти со мной в долю, хотя бы для определения качества и стоимости вещей?

В итоге нашей беседы мы заключили договор, по которому мое участие в этом предприятии на четыре года состояло в следующем:

Перед покупкой какой-нибудь вещи он должен был принести ее ко мне для оценки или, если они находились в местах, которые совпадали с

маршрутом моих поездок, которые я должен был совершать по многим причинам во время моей писательской деятельности, я бы сам шел ознакомиться с ними и условленным способом сообщал бы ему мое мнение.

И так это продолжалось некоторое время: он проводил весь год в разъездах по Европе, откапывая и покупая всякие редкости, которые он привозил в Америку и перепродавал дельцам по антикварным вещам, преимущественно в Нью-Йорке, а что касается меня, я только участвовал в их оценке.

Однако в прошлом году, когда кризис моего материального положения дошел до своего апогея, и в то же время это предприятие продолжало процветать, так как были найдены многие рынки сбыта и Европу наводнили товары подобного рода, у меня появилась идея восстановить мои финансы с помощью этого дела, и я решил увеличить как можно больше масштабы деятельности моего партнера.

С этой целью, вместо того чтобы позволить себе отдохнуть, как это было у меня в привычке за последние годы, перед и после моих утомительных путешествий, я начал посвящать все мое свободное время тому, чтобы найти способ занять деньги у различных людей, которые мне доверяли и с которыми я по той или иной причине имел отношения. Собрав таким образом сумму в несколько миллионов франков, я вложил ее целиком в это дело.

Ободренный развитием нашего предприятия и перспективой значительных доходов, мой партнер работал не жалея сил, раздобывая товар, и, как было условлено, прибыл в этом году в Америку с целой своей коллекцией за шесть недель до моего приезда.

К сожалению, однако, тем временем наступила общая экономическая депрессия, особенно затронувшая эту торговлю, и мы не могли больше рассчитывать ни на какую прибыль, ни даже надеяться вернуть наш капитал. И вот, он именно пришел сказать мне об этом.

Какие слова я должен использовать на этот раз, чтобы описать внезапное материальное положение, в котором я теперь находился, когда я только что назвал кризис прошедшего года как «дошедший-до-своего-апогея»?

Я не могу найти лучшего выражения, чем изречение Молла Наср-Эддина, которое в этот момент мне вспоминается: «Эх, не то чудо, что лысая дочь родилась у самой старой девы в деревне от этого мошенника муллы! Вот если бы слоновья голова и обезьяний хвост выросли у блохи, вот это было бы удивительно!»

А чтобы понять, почему мое материальное положение снова прошло через такой кризис, университетов не нужно заканчивать.

В прошлом году, когда у меня впервые появилась идея наладить с размахом мое антикварное дело в Америке, я считал и был полностью уверен, что это мое предприятие принесет такой доход, которого хватило бы не только на выплату всех моих накопившихся долгов, но и позволило бы мне, не завися ни от кого, напечатать первую серию моих писаний, которую я к этому времени рассчитывал закончить, и после этого посвятить все мое время второй серии. Но, к сожалению, этот непредвиденный американский кризис загнал меня, как сказал бы Молла Наср-Эддин, в такую «глубокую-галошу», что сегодня я не вижу почти никакого просвета.

В течение шести лет, чтобы подготовить материал для трех серий книг, которые я намеревался написать, я всегда и везде, в любых условиях и обстоятельствах, должен был «помнить-себя» и помнить о поставленной мной себе задаче, через осуществление которой я желал и все еще желаю оправдать смысл и цель моей жизни.

Я должен был поддерживать в себе без ослабления, пока испытывал всякого рода чувства, предельно интенсивный уровень внутренней деятельности, с тем чтобы не сливаться ни с чем, и должен был с беспощадным отношением к самому себе противиться любым изменениям в автоматически протекающем процессе мысленных и чувственных ассоциаций, требуемых для тех тем мысли, которые я разрабатывал за это время, и, наконец, я должен был заставить себя не пренебрегать и не пропускать ничто из того, что могло бы быть связано, логически соответствовать или противоречить какой-либо из бесчисленных серий отдельных идей, которые в их совокупности составляют вещество моих писаний.

В моей заботе выразить мои мысли в общедоступной форме моя психическая напряженность временами достигала такого уровня, что в течение необычно долгих периодов я забывал даже самые мои насущные потребности.

Но во всем этом самая болезненная для меня объективная несправедливость заключалась в том, что во время этой внутренней напряженности всех моих сил для передачи истинного знания людям, как в настоящем, так и в будущем, я должен был часто отрывать себя от этого состояния и ценой последних остатков энергии, накопленных с большим трудом во время коротких перерывов между часами интенсивной работы, придумывать различные сложные комбинации, чтобы отсрочить ту или иную выплату или ликвидировать тот или иной долг.

За время этих шести лет я устал до изнеможения не от писания, переписывания и снова пересмотра кучи рукописей, собранной в специально устроенном для моих архивов погребе, но от периодической необходимости проворачивать в моей голове всевозможные комбинации для отсрочки выплаты этих всевозрастающих долгов.

До последнего времени каждый раз, когда я нуждался в поддержке со стороны в деле, незначительном по сравнению с тем, для чего мое время было необходимым – поддержке, конкретно выраженной словом «деньги», – и когда я не получал ее, я все же мог еще с этим смириться, так как я понимал, что значение моей деятельности не могло быть ясно для всех, но теперь, когда значение и цель моей деятельности, благодаря тому, что я осуществил за эти шесть лет, могут быть признаны всеми, я не намерен больше с этим смиряться, но, наоборот, считаю себя оправданным с совершенно чистой совестью требовать, что каждый, кто подходит ко мне, не различая расы, веры, материального или социального положения, должен беречь меня как зеницу ока, с тем чтобы мои силы и время могли быть сохранены для деятельности, соответствующей моей индивидуальности.

И вот, вышеупомянутое категорическое решение, бывшее результатом этих серьезных размышлений после того, как мой тайный партнер покинул ресторан *Child's*, и принятое в соответствии с моими принципами, заключается в следующем:

Пока я нахожусь здесь, среди людей, которые не пострадали от катастрофических результатов последней великой войны и благодаря которым, конечно без всякого намерения с их стороны, я понесу значительные потери, я еще раз, сам, без инициативы других и, конечно, не прибегая ни к каким средствам, которые могли бы однажды вызвать во мне угрызения совести, воспользуюсь определенными способностями, оформившимися во мне в детстве благодаря правильному воспитанию, чтобы приобрести такую сумму денег, которая покроет все мои долги и вдобавок позволит мне вернуться на материк Европа и жить, ни в чем не нуждаясь, два или три месяца.

И делая это, я снова докажу на практике истину идей, изложенных в этом, только что мной пересмотренном рассказе, и вновь испытаю высшее удовлетворение, предназначенное человеку нашим общим отцом, сформулированное в древние времена египетским священником, который был первым учителем Святого Моисея, в словах: «самоудовлетворение-исходящее-от-достижения-ловкостью-с-осознанием-чистой-совести-себе-поставленной-цели».

Сегодня 10 января. Через три дня в полночь, в час, особо для меня памятный как время моего появления на свет, будет встречен Новый Год по старому стилю.

Согласно обычаю, установленному с детства, я всегда начинал с этого часа вести мою жизнь в соответствии с установленной заранее новой программой, неизменно основанной на определенном принципе, а именно помнить себя, насколько возможно, во всем и намеренно направлять мои проявления и также мои реакции на проявления других таким образом, чтобы достигнуть целей, выбранных мной на приходящий год. В этом году я поставлю себе задачу сосредоточить все способности, присутствующие в моей индивидуальности, чтобы смочь приобрести честно, своими собственными средствами, до моего предполагаемого в середине марта отъезда из Америки сумму денег, необходимую для ликвидации всех моих долгов.

Затем, вернувшись во Францию, я снова начну писать, но при единственном условии: что отныне я буду свободен от всех забот о материальных условиях, необходимых для моего образа жизни, уже установленного на определенном уровне.

Но если по какой-либо причине я не смогу осуществить эту поставленную себе самому задачу, тогда я буду вынужден признать иллюзорную натуру всех идей, изложенных в этом рассказе, а также мое сумасбродное воображение, и, верный своим принципам, я должен буду уползти с поджатым хвостом, как сказал бы Молла Наср-Эддин, «в-самые-глубокие-старые-галoши-которые-когда-либо-были-ношены-на-потных-ногах».

И в таком случае я категорически решу сделать следующее:

Напечатать лишь те рукописи, которые я только что пересмотрел в их окончательной форме, т. е. первую серию моих писаний и две главы второй, навсегда прекратить писать и, вернувшись домой, соорудить посередине газона под моими окнами огромный костер и бросить в него все оставшиеся мои писания.

После чего я начну новую жизнь, используя способности, которыми я обладаю, единственно для удовлетворения моего личного эгоизма.

В моем сумасшедшем мозгу уже вырисовывается план моей деятельности в такой жизни.

Я вижу себя, как я организую новый «Институт» со многими отделениями, только на этот раз не для Гармонического Развития Человека, а для обучения доныне неизвестным способам самоудовлетворения.

И нет никакого сомнения, что подобное дело пойдет как по маслу.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.com](#)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

---

**notes**

## **Примечания**

**1**

Рассказы Вельзевула своему внуку.

Слово «Имастунимастун» на древнеармянском языке означает «мудрец»; также этим словом титуловали всяких исторических замечательных личностей. Например, к имени Соломона и поныне присоединяют это слово.

Моллавали – это небольшая местность на юге Карской области, где делается «Маджари», совсем своеобразное, молодое, еще не бродившее вино.

4

Паяджи – это красильщик; человека такой профессии всегда можно узнать по синим до локтей рукам, никогда не отмывающимся от краски.

Джуппэ – специальный женский костюм у эрзерумских армян.

«Эрнос» означало что-то вроде «корпорации».

«Джунгара» – это род кукурузы, растущей в этих местах и заменяющей большинству тамошних людей пшеницу.

«Поханд» – это мука, приготовленная из жареного ячменя. Это самый вкусный хлеб из всех хлебов.

Кобзырь – это род плотов, деревянная основа которых закреплена на надутых воздухом бурдюках.